

ИЯ

Дэвид Герберт
Лоуренс

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Дочь
лошадника

Дэвид Герберт Лоуренс • Дочь лошадника





И
Л

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

David Herbert Lawrence

Дэвид Герберт Лоуренс

Дочь лошадника

Рассказы

Перевод с английского

*Составление и предисловие
Николая Пальцева*

Москва
«Известия»
1985

И (Англ)
Л81

Главный редактор Н. Т. Федоренко

Рецензент Д. Урнов

Обложка художника А. Махова

© Составление, предисловие, оформление, переводы на русский язык, кроме обозначенных знаком *, издательство «Известия», журнал «Иностранная литература», 1985.

Феникс из Ноттингема

Автор новелл, составивших лежащую перед читателем книжку, Дэвид Герберт Лоуренс родился в окрестностях промышленного Ноттингема в Средней Англии сто лет назад — 11 сентября 1885 года.

В начале 1910-х годов, вскоре после его дебюта в литературе, о писателе заговорили как о надежде молодой английской прозы нового века.

В 20-е годы его признали одним из властителей дум европейского «потерянного поколения» — наряду с Р. Олдингтоном и О. Хаксли в Англии, Ф. Скоттом Фицджеральдом и Э. Хемингуэем в США, Э. М. Ремарком в Германии и другими. В эти же годы познакомились с творчеством Лоуренса и читатели молодой Страны Советов: в переводах на русский язык вышло несколько его романов, в том числе «Сыновья и любовники»* и «Радуга» (в двух книгах)**.

Встреченные в СССР с живым интересом, эти издания со временем сделались библиографической редкостью. Далее, однако, последовала затянувшаяся на полстолетия и надолго пережившая английского писателя (Лоуренс умер от туберкулеза в Вансе, на юге Франции, 2 марта 1930 года) пауза — правда, не раз прерывавшаяся спорадическими публикациями его стихов в различных антологиях европейской поэзии XX века. О немногочисленности и случайном порой характере этих публикаций можно лишь пожалеть, если учесть, что за истекшие десятилетия лучшее из созданного Лоуренсом — прежде всего в романном и новеллистическом жанрах — заслуженно вошло в классику анг-

* Д. Лоуренс. Сыновья и любовники. Пер. Н. Чуковского. Л., «Прибой», 1927.

** Д. Г. Лоуренс. Семья Брэнгуэнов. Урсула Брэнгуэн. (Радуга) Пер. Н. Мининой. М., «Недра», 1925.

лоязычных литератур нашего столетия; образцы «большой» и «малой» прозы писателя издаются и переиздаются не только в Англии и США, но и в переводах на языки других народов мира. В послевоенный период в разных странах стремительно растет и критическая «лоуренсиана», существенный вклад в которую вносят советские литературоведы, исследующие сложное и противоречивое творчество этого крупного художника на фоне других значимых явлений его времени, с полным основанием констатируя плодотворность реалистической традиции Лоуренса, в 60—70-е годы ощутимо сказавшейся в творческом развитии многих английских прозаиков — в частности, представителей школы «рабочего» романа.

Что ж, тем более своевременной представляется лежащая перед нами книжка, задача которой — ввести теперешнее поколение советских читателей в непростой и необычный образный мир Лоуренса-новеллиста.

Новаторский вклад Лоуренса в литературу его времени традиционно связывают прежде всего с лучшими созданиями писателя в области романа. И это справедливо: сегодня, взглядываясь с внушительной дистанции в три четверти века в сложную и противоречивую эволюцию «большого жанра», трудно представить себе, каким стал бы современный роман в Англии, да и за ее пределами, не будь у его истоков лоуренсовских «Сыновей и любовников» (1913), «Радуги» (1915), «Влюбленных женщин» (1920), «Любовника леди Чэтерлей» (1928).

Действительность Англии первых десятилетий нашего века, с «пиками» ее духовных и нравственных кризисов, запечатлелась в этих романах емко и выразительно, демонстрируя ту степень эмоциональной причастности автора к изображаемому, какая сама по себе могла бы послужить веским контраргументом любого рода обвинениям в «формальных экспериментах».

Проза, поэзия, драматургия, эссеистика — вот основные грани таланта писателя. Десять больших романов, несколько

повестей, более полусотни новелл, десять сборников стихов, столько же пьес, три книги путевых впечатлений, несчетное множество эссе, рецензий, статей о литературе, искусстве, истории, философии — таков далеко не полный перечень завещанного Лоуренсом потомству. Естественно, не все из этого обширного наследия выдержало испытание временем; однако на каждом из лоуренсовских произведений лежит печать яркой и самобытной, хотя в мировоззренческом плане и весьма противоречивой, личности их создателя.

Художественный мир Лоуренса воплотился в его рассказах, создававшихся писателем на протяжении всего его пути в литературе (большая часть их была объединена им самим в трех авторских сборниках: «Прусский офицер», 1914, «Англия, моя Англия...», 1922, «Женщина, которая исчезла», 1928; впоследствии к ним добавились три посмертных сборника, составленных его друзьями и единомышленниками: «Любовь среди снопов», 1960, «Принцесса», 1971, «Мертвая петля», 1971), с не меньшей полнотой и очевидностью, нежели в его романах. Потому можно надеяться, что эта небольшая книжка поможет читателю не только познакомиться с одним из лучших образцов английской новеллистики первых десятилетий XX века, но и, сопоставив рассказы Лоуренса с новеллами других известных прозаиков страны — от ближайших лоуренсовских современников Джона Голсуорси, Джозефа Конрада, Джеймса Джойса до позднейших ярких представителей жанра, таких, как Грэм Грин, Сид Чаплин, Виктор Соден Притчет, Мюриэл Спарк, Джон Фаулз, Фрэнсис Кинг, Сьюзен Хилл,— вынести для себя наглядное представление о динамике развития этого жанра.

В английскую литературу 10-х годов Дэвид Герберт Лоуренс вошел, вызвав немалый переполох среди признанных авторитетов, как прозаик со «своей» темой и «своим», до той поры неизвестным широкой читающей публике героем. Этой темой явилась точно и убедительно воссозданная повседневная жизнь трудового населения родины молодого

писателя — промышленного Ноттингемшира; этим героем — типичный представитель «горняцкого сословия», представший во всей полноте своего классового и индивидуального облика, в неподдельном многообразии эмоционального и духовного мира, со своими привычками, вкусами, пристрастиями, со своим, отмеченным региональным своеобразием Средней Англии, языком. Можно с уверенностью сказать, что *такого* «объекта» художественного отображения, *такого* героя — увиденного и показанного как бы «изнутри», без тени прекраснородушной снисходительности, от века характеризовавшей отношение буржуазной интеллигенции к социальным «низам», — английская проза до Лоуренса не знала.

Истоки этой достоверности и этого демократизма лежали, разумеется, в биографии Лоуренса, рано осознавшего себя «пленником индустриализма». Ярмо «механической цивилизации», страстным протестом против которой одухотворено все зрелое творчество писателя, никогда не было для этого уроженца пролетарского Иствуда, четвертого ребенка в многодетной семье простого горняка, безликой абстракцией. Ее разрушительная «работа» проявляла себя во всем, что окружало маленького и юного Дэвида: в «бесформенном и безобразном окружении, безобразных идеалах, безобразной надежде, безобразной религии, безобразной любви, безобразной одежде, безобразной мебели, безобразных жилищах, безобразных отношениях между рабочими и работодателями». Косвенным образом проклятие «механической цивилизации» определило и его будущее: впервые сразивший Лоуренса в 16 лет туберкулез навсегда исключил для него возможность пойти по стопам отца и братьев, став потомственным шахтером, а затем, десятилетием позже, вынудил его оставить учительское поприще. Тем симптоматичнее, что труженики угольных шахт, в наибольшей, казалось бы, мере отягощенные бременем отчуждающего индустриализма, предстают со страниц «ноттингемских рассказов» писателя как люди с незаурядными внутренними ресурсами: от представителей «среднего класса» их вы-

годно отличает цельность природы, естественная гармоничность физического и духовного. Не случайно в цитированном эссе «Ноттингем и шахтерский край» — не столько автобиографии Лоуренса, сколько «очерке биографии» его родного Ноттингемшира — есть проникновенные строки об «интимном чувстве единства», сплывавшем горняков в глубине забоя; в опыте Лоуренса-художника это сокровенное ощущение общности окажется навсегда связано с обликом людей труда.

И все же силу эмоционального воздействия на читателя «ноттингемского цикла» нельзя до конца объяснить лишь богатством и свежестью личного опыта автора, нашедшего отражение в литературе. Для того чтобы высветить в единичном и повседневном типичность удела этих выхваченных из жизни героев, требовалось сильное и индивидуальное дарование, ощущение ее скрытой конфликтности. В трагикомически-бытовом преломлении эта конфликтность явлена в рассказе «Крестины» (1911, 1913) — по-своему исчерпывающем «групповом портрете» семейства пожилого шахтера-инвалида, передающего свое имя ребенку незамужней дочери, о чьем «грехопадении» судачат ханжи всего квартала.

Но, быть может, всего отчетливее талант молодого Лоуренса-новеллиста проявился в рассказе «Запах хризантем» (1911, 1914) — вершине «ноттингемского цикла». В скупом, но пронизанном предельным эмоциональным напряжением описании нескольких часов из жизни жены шахтера Элизабет Бейтс, в крещендо ее томительного беспокойства, разрешающегося роковым исходом, в неподконтрольном рассудку потоке неуместных воспоминаний и тщетных сожалений о несбывшемся, обуревающих ее у изголовья супруга, ушедшего из жизни в расцвете сил, в тяжелом, пряном аромате траурных хризантем — во всем этом едва ли не впервые в творчестве Лоуренса властно заявило о себе обжигающее дыхание трагедии.

Разрыв с фабульной условностью традиционного для большей части британской и американской прозы рубежа веков

«хорошо сделанного рассказа», перенос идейно-психологического центра новеллы в плоскость «внутреннего действия» явились ядром лоуренсовской полемики с коммерчески-развлекательными стереотипами популярного жанра. С несомненностью это обозначилось в «Прусском офицере» (1913, 1914). В этом рассказе (первоначально носившем название «Честь и оружие») индивидуально-психологическое оказывается возведено на уровень бытийного. Противоборствующие фигуры двух участников конфликта: офицера-аристократа, на стороне которого сила, закон, почти рабское повиновение подчиненных, и его денщика — молодого крестьянского парня в солдатской форме, побуждаемого к протесту смутным, косноязычным, но неистребимым инстинктом справедливости, — под пером Лоуренса, не утрачивая своей социально-типической конкретности, обретают масштабность библейских Давида и Голиафа. Можно лишь удивляться тому, сколь остра была врожденная аналитическая интуиция молодого англичанина, всего несколько месяцев успешного прожить в Германии и сумевшего прочувствовать и отобразить предельно антигуманный дух прусского милитаризма, его классовые и регионально-этнические корни.

Первая мировая война стала периодом тяжелых испытаний для Лоуренса-человека и решающего перелома для Лоуренса-писателя. Занявший с первых же ее дней открыто антимилитаристскую позицию, он расплатился за это дорогой ценой — цензурным преследованием и последующим запрещением романа «Радуга», где осуждение войн как логичного проявления буржуазного миропорядка было выражено прямо и недвусмысленно. По свидетельствам современников, к примеру, близкого друга прозаика, Ричарда Олдингтона (чей очерк о Лоуренсе читатель найдет в конце этой книжки), овладевший сознанием англичан шовинистический угар представлялся Лоуренсу чем-то вроде массового безумия. Пропась, разделявшая художника и официальную британскую государственность и мораль, все больше углублялась.

Стрессовая атмосфера военных лет укрепляет Лоуренса

в убеждении, что вся логика буржуазного общественного устройства в корне противоречит лучшему, что изначально заложено в природе человека: духу, чувствам, эмоциям, устремлениям. Но, радикально противопоставив личность этому обществу, индивидуальное — социальному и сделал однозначный выбор в пользу первого (в частности, декларируя, что единственным достойным искусства объектом является личностный, глубоко интимный мир индивидуума, его «частное бытие», в котором, по мысли Лоуренса, только и может раскрыться сокровенная многогранность человеческой натуры), писатель и сам оказался в плену индивидуалистического, по сути, миропонимания: пренебрежение к общественным аспектам существования персонажей опасно сузило общую картину мира, явленную в поздних его произведениях.

В рамках выдвинутой Лоуренсом поэтики частного бытия магическим кристаллом, выявляющим меру красоты и подлинной ценности личности, закономерно становится любовь. В изображении любовной страсти, сжигающей его персонажей, писатель и впрямь не знает себе равных среди современников-англичан. В новелле «Тень в розовом саду» (1908, 1913) она выступает как фактор страшной разрушительной силы, а в близкой по образному строю рассказам «ноттингемского цикла» новелле «Самсон и Далила» (1916, 1921) — как не менее мощный воссоединитель. В «Дочери лошади» (1916, 1921), коротком шедевре лоуренсовской любовной прозы, она предстает каким-то чудесным язычеством. Тут уж воистину, говоря словами поэта,

Влюбляется бог неприкаянный.
И хаос опять выползает на свет,
Как во времена ископаемых.

Она вырывается с силой вулканического извержения, в неистовом порыве дотеле неведомой обоим всепоглощающей страсти; и в безудержности их поцелуев слышатся «таянье Андов», шепоты звезд, сейсмические сдвиги неузнаваемо преображенной вселенной...

Надо было быть Лоуренсом, чтобы в страстности первого любовного объятия провидеть вспышку глобальной энергии, аккумулированной подспудным течением целых геологических эпох. Но недаром же в числе его учителей и предшественников был Уильям Блейк, столетием раньше с афористической четкостью обозначивший одну из вечных закономерностей всякого искусства («В одном мгновенье видеть вечность...»).

Как бы ни оценивал сам Лоуренс задачи и функции своего творчества, никогда еще, пожалуй, не удавалось писателю столь органично влить «частную» хронику крушения одной семьи средних земельных собственников в общий, надличностный цикл неостановимого движения нации, истории, бытия, как в философской по емкости обобщения, тяготеющей к повести или даже роману новелле «Англия, моя Англия...» (1915, 1921). У каждого из супругов, предстающих перед читателем, свои достоинства: на чаше весов Эгберта — гуманность, любовь к природе, артистический темперамент; на чаше весов Уинифред — верность мужу, преданность дому, чувство ответственности. И совсем не трудно, исходя из критериев житейски-бытовой целесообразности, целиком «оправдать» Уинифред, возложив все бремя вины на Эгберта: ведь не что иное, как его безответственное порхание по жизни, обрекло на пожизненную хромоту их ни в чем не повинную дочку Джойс...

Но критерии бытового свойства редко оказываются надежным мерилom, когда речь идет о вещах и явлениях, выходящих за пределы индивидуальной воли. А между тем именно ходом невидимых, неосязаемых и, по мысли Лоуренса, фатальных процессов изнутри высвечена конкретная история разобщения между некогда довольными друг другом и самими собой Эгбертом и Уинифред. Если очевидна безотчетная тяга Эгберта к саморазрушению (символизируемая непрочностью возводимых им в поместье дилетантских построек), то столь же несомненен и деструктивный характер воли Уинифред, возрастающий по мере того, как глубоко укорененное в ней чувство семейного долга перерастает в

пуританскую ограниченность и даже жестокость по отношению к мужу. Век интеллигентных рантье проходит; грядет торжество «новых людей» — таких, как отец Уинифред Годфри Маршалл: по-мужицки крепко стоящих на земле, понимающих толк в делах и с наивной серьезностью относящихся к деньгам. Этой неотвратимости утверждения на милой его сердцу почве старой, сельской Англии «столпов» промышленной цивилизации и утилитарно-прагматического духа, ими воплощаемого, Лоуренс не мог не сознавать, но как человек и художник не мог принять без протеста.

С тем большей язвительностью рисует их его художническое воображение. В одном из рассказов в маленькой деревушке на берегу Средиземного моря находит приют Джульетта, «отчужденная» героиня новеллы «Солнце» (1925), жена преуспевающего нью-йоркского бизнесмена. Здесь на лоне природы, пресыщенная мелочным тщеславием нравов и приличий больших городов, уставшая от выматывающей лихорадки потребления, учится она по-новому постигать меру вещей. И существом с какой-то другой, безнадежно отдаленной планеты скоро покажется ей собственный муж, приехавший навестить ее из-за океана, — этот стопроцентный представитель «механической цивилизации», начисто утративший связь с инстинктивной мудростью земли и царственной щедростью озаряющего ее солнца.

Духовное и физическое обновление, переживаемое Джульеттой, предстает в новелле как прямой итог приобщения героини к вечно живому миру природы, поэтизируемому со всей лирической яркостью дарования Лоуренса. В образе цветущей лимонной рощи, противопоставленной бесцветной будничности «цивилизованного» урбанистического быта, нашли зримое воплощение характерные для философии позднего Лоуренса символы веры, и прежде всего — идеал естественного человека. Разумеется, продемонстрированный в новелле «Солнце» способ бегства героини от унылой прозаичности отчужденного «общественного» существования иллюзорен, а само ее слияние с пантеистическим миром древнего, сохранившего следы исчезнувших цивилизаций Среди-

земноморья — метафора. Потому и прочитывается новелла как своеобразная «поэма в прозе», впечатляя музыкальным, по сути, контрапунктом сюжетного и символического планов, чисто поэтической ритмикой повествования, буйством образно-цветовой стихии, приводящим на память полотна Ван Гога.

Есть, однако, в палитре позднего Лоуренса и произведения, выполненные в иной, диаметрально противоположной «Солнцу» тональности. Как сможет убедиться читатель, познакомившись с такими необычными новеллами, как «Вещи» (1928), «Рубеж» (1924, 1928), «Победитель на деревянной лошадке» (1926), страстно ненавидимая писателем буржуазная система мирооценок и ее реальные носители отнюдь не исчезают из фокуса художнического внимания Лоуренса. Напротив, им прозаик адресует всю разящую язвительность своих гротескно-сатирических образов, непривычность которых может поначалу озадачить читателя, как она озадачивала некоторых из современников автора.

Между тем эта резкость сатирического рисунка предстает в верной историко-литературной перспективе, поскольку писатель сознательно пародирует здесь общеизвестные читающей публике его времени новеллистические «модели»: «рассказ о ясновидении» — в «Победителе на деревянной лошадке»; неизменно имевшие коммерческий успех повествования об «оживающих мертвецах» — в новелле «Рубеж». Но замысел этих рассказов глубже. В фокус видения художника попадают все новые и новые недуги пленников «механической цивилизации». Развенчивая манию быстрого, циничного обогащения («Победитель на деревянной лошадке», «Вещи»), за «частными» пороками своих соотечественников (да и представителей имущих классов других государств) Лоуренс открывает общее: удручающую выморочность буржуазно-потребительского образа жизни.

«Быть живым, быть живым человеком, быть цельным живым человеком — вот в чем суть» — под таким девизом прожил свою бурную и нелегкую жизнь Дэвид Герберт Лоуренс. Любимым рисунком писателя навсегда стало увиденное в

ранней юности на рекламном щитке конторы по изготовлению хирургических инструментов, куда он поступил учеником за тринадцать шиллингов в неделю, изображение легендарной птицы Феникс. С течением лет у английских издателей стало традицией украшать им новые издания лоуренсовских произведений.

Вглядываясь с дистанции времени в путь, пройденный этим большим и противоречивым художником в литературе Британии XX века, прослеживая разнообразные «маршруты» его книг, расходящихся по тысячам адресов заинтересованных читателей, живущих в разных странах мира, приходишь к убеждению, что Феникс, расправивший крылья в ноттингемском «гнезде» в сентябре 1885 года, живет и сегодня.

Николай Пальцев

Запах хризантем

I

Паровозик-кукушка с семью гружеными вагонами — состав номер четыре — приближался со стороны Селстона, держаась и лязгая железом. Он появился из-за поворота, угрожающе свистя, точно летел невесть на какой скорости, но его без труда обогнал жеребенок, в испуге выскочивший из зарослей дрока, которые все еще слабо золотились в ранних сумерках промозглого дня. Женщина, идущая по шпалам по ветке в Андервуд, отступила к живой изгороди и, отведя корзину вбок, стала смотреть на надвигающийся локомотив. Вагоны один за другим тяжело прогрохотали мимо, подпрыгивая на стыках, медленные и неуклонные, заперев сиротливо стоящую фигурку в ловушке между своими черными стенами и живой изгородью, и покатались дальше, к бесшумно облетающей дубовой роще; из кустов шиповника, что рос вдоль насыпи, выпорхнула стайка птиц, которые клевали там ярко-красные ягоды, и растворилась в сумраке, уже прокравшемся в дубраву. На открытых местах дым паровоза стлался по земле, цепляясь за жухлую траву. Поля лежали голые, заброшенные, болотистый луг возле заросшего камышом пруда опустел — куры, которые весь день гуляли в ольшанике, отправились на ночлег в свой сарайчик из просмоленных досок. За прудом темнел конус отвала, и в застывшем предвечернем свете кровавые языки пламени лизали его покрытые золой бока. За отвалом высились сужающиеся кверху кирпичные трубы и черный раскоряка — копер шахты Бринсли. На фоне неба быстро вращались два вертикальных колеса, судорожно стучали поршни паровой машины. Шахтеры поднимались на поверхность после смены.

Приблизившись к стрелке, за которой начинали ответвляться подъездные пути с рядами товарных платформ, паровозик засвистел.

Шахтеры брели точно тени, по одному или небольшими группами, расходясь после работы домой. У расчерченного шпалами полотна стоял низкий, приземистый домишко, от шлаковой дорожки к нему вели три ступеньки. Стены дома оплела старая виноградная лоза, ее узловатые ветки тянулись к черепичной крыше будто когти. Мощный дворик был обсажен пожелтевшими примулами. Длинная полоска сада за домом спускалась к заросшей кустами речке. В саду было несколько чахлых яблонь, еще какие-то деревья с побитыми холодом листьями, грядка лохматой капусты. По сторонам дорожки цвели растрепанные розовые хризантемы, словно брошенные на кусты розовые лоскутки. Из курятника под кровельным картоном, который стоял за домом, вышла, пригнувшись, женщина. Закрыла и заперла замком дверь, отряхнула белый передник и выпрямилась.

Женщина была высокая, красивая, с гордо посаженной головой и черными, тонко очерченными бровями. Гладкие черные волосы разделены ровным пробором. Несколько минут она внимательно всматривалась в идущих вдоль путей шахтеров, потом повернула голову в сторону речки. Лицо у нее было спокойное, застывшее, рот горько сжат. Женщина крикнула:

— Джон!— Никто не отозвался. Она подождала немного, потом спросила громко:— Где ты?

— Здесь,— ответил из кустов угрюмый детский голос. Женщина нахмурилась, взглядываясь в сумерки.

— Где «здесь»? У воды?— строго спросила она.

Мальчик не ответил, но вылез из малинника, ветки которого торчали вверх точно пучки розог. Он был лет пяти, маленький, крепенький. Вылез и, набычившись, встал перед матерью.

— А, ты был в малиннике!— с облегчением произнесла она.— Я думала, ты ушел к воде. Туда нельзя, ты ведь помнишь?

Мальчик молчал и не двигался с места.

— Ну хорошо, пойдем домой,— сказала мать чуть мягче,— темно уже. Вон дедушка едет.

Мальчик с хмурым видом медленно, нехотя двинулся к матери. На нем были курточка и брюки из толстой, грубой ткани, явно перешитые из старого мужского костюма.

На дорожке он стал обрывать мохнатые лоскутья хризантем и пригоршнями бросать лепестки на землю.

— Что ты делаешь, перестань!— сказала мать. Мальчик оставил хризантемы, и тогда она, вдруг пожалев его, сломила ветку с тремя-четырьмя бледными цветками и поднесла к лицу. Во дворе женщина хотела было кинуть ветку, но рука ее дрогнула, и она воткнула цветы за пояс. Задержавшись у трех ступенек, мать с сыном стали смотреть на шагающих домой шахтеров. Маленький состав надвигался все ближе. Вот паровоз прополз мимо дома и остановился против ка-литки.

Из паровозной будки высоко над женщиной высунулся машинист, коренастый, низенький, со шкиперской седой бородкой.

— Дашь мне чаю?— спросил он женщину ласково и оживленно.

Это был ее отец. Она сказала, что сейчас заварит, ушла в дом и тут же вернулась.

— Я не был у вас в воскресенье,— начал седебородый машинист.

— А я и не ждала тебя,— сказала дочь.

Машинист поморщился, потом спросил все так же ласково и беззаботно:

— Так, стало быть, ты слышала? Ну, и что думаешь?..

— Думаю, что очень уж скоро,— ответила она.

Мужчина с досадой дернул головой, услышав ее сдержанный упрек, потом заговорил просительно, но с затаенной жестокостью:

— А что прикажешь мне делать? Сидеть одному в пустом доме, что за жизнь для мужчины в мои годы? И уж раз я снова решил жениться, не все ли равно — раньше я женюсь или позже? Кому какое дело?

Женщина повернулась и ушла в дом, ничего не сказав.

Мужчина в будке упрямо нахмурился и стал ждать; вот она

появилась, неся чашку чая и хлеб с маслом на тарелке, поднялась по ступенькам и остановилась у подножки шипящего локомотива.

— Бутерброд не обязательно,— сказал отец.— А вот чай...— Он с наслаждением отпил из чашки.— Чай — это отлично.— Он сделал еще несколько глотков, потом сказал:— Слышал я, Уолтер опять пьет.

— Да разве он когда-нибудь бросал?— с горечью проговорила женщина.

— Он, говорят, похвалялся в «Лорде Нельсоне», что не уйдет, куда не спустит все до последнего гроша, а было у него целых полфунта.

— Когда это?— спросила женщина.

— В субботу вечером. Я точно знаю, люди не врут.

— Очень на него похоже.— Женщина с горечью засмеялась.— Мне он дает всего двадцать три шиллинга.

— Хорош, ничего не скажешь: тащит все деньги в кабак и напивается как свинья,— проговорил седобородый машинист. Женщина отвернулась. Отец допил чай и протянул ей чашку.— Ну вот,— вздохнул он, вытирая рот.— Теперь и на душе легче...

Он положил руку на рычаг. Паровозик напряжился, запыхтел, и состав с лязганьем покатил к переезду. Женщина снова посмотрела на пути. Темнота уже скрадывала рельсы и стоящие на них товарные платформы; мимо по-прежнему брели понурые серые фигуры. Торопливо стучал подъемник, затихал ненадолго и снова принимался стучать. Элизабет Бейтс несколько минут смотрела на однообразный людской поток, потом вошла в дом. Ее муж все не возвращался.

Маленькая кухня была наполнена светом горящего очага; в жерле тлела горка красных углей. Казалось, вся жизнь комнаты сосредоточена в беленом жарком очаге, в стальной решетке, отражавшей красное пламя. Стол был накрыт, в темноте поблескивали чашки. В дальнем углу, на ступеньке лестницы, ведущей наверх, сидел мальчик и строгал ножом деревяшку. Его почти не было видно в полумраке. Было половина пятого. Ждали только отца, чтобы сесть за стол.

Мать глядела, как ее сын, насупясь, строгают деревяшку, и думала, что молчаливость и упорство достались ему от нее, а поглощенность собой и безразличие к другим — от отца. Она неотступно думала о муже. Наверное, он прошел мимо дома, проскользнул незаметно мимо собственной двери и теперь пьянствует в трактире, а обед в ожидании его перестоял. Она взглянула на часы, взяла кастрюлю с картофелем и понесла во двор — слить воду. Сад и поля за речкой уже тонули в зыбком мраке. От земли в темноту повалил пар, она выпрямилась с кастрюлей и увидела, что за путями и полем, на дороге, уходящей вдаль по косоугору, зажглись желтые фонари. И снова она стала всматриваться в идущих шахтеров, которых становилось все меньше.

Огонь в очаге догорал, темнота на кухне сделалась красной. Женщина поставила кастрюлю на плиту, подвинула пудинг поближе к огню. И застыла без движения. Радостно, легко застучали на дорожке быстрые детские шаги. Кто-то начал возиться с дверной ручкой, и в кухню, снимая на ходу пальто, вошла девочка; стянула шапку с затылка на лицо, таща вместе с нею густые пшенично-золотые кудри.

Мать выбрала девочку за то, что пришла из школы так поздно: уже зима, темнеет рано, придется вообще не выпускать ее из дому.

— Что ты, мама, совсем светло! Ты вон даже лампу не зажгла, и папы еще нет.

— Да, его нет. А уже без четверти пять. Ты его не видела?

Лицо у девочки стало серьезным. Она грустно посмотрела на мать большими голубыми глазами:

— Нет, мама. А что? Думаешь, он уже поднялся наверх и прошел мимо, в Старый Бринсли? Не может быть, я бы его увидела.

— А он уж постарался, чтобы ты его не увидела,— с горечью возразила мать,— заранее все обдумал. Сидит сейчас в «Принце Уэльском», можешь не сомневаться. Что ему делать в шахте так поздно?

Девочка жалобно глядела на мать.

— Мам, давайте обедать?— попросила она.

Мать велела Джону садиться за стол, а сама еще раз открыла дверь и поглядела сквозь темноту за железнодорожные пути. Вокруг не было ни души: подъемник уже не стучал.

— Может, он задержался с подрывкой,— сказала она сама себе вполголоса.

Сели обедать. Джон на своем конце стола у двери почти растворился в темноте. Они не различали лиц друг друга. Девочка опустила на корточки у решетки, медленно поворачивая над огнем толстый ломоть хлеба. Мальчик, тень со смутным пятном лица, глядел на сестру, преображенную красным свечением.

— Как я люблю глядеть на огонь,— произнесла девочка.

— Любишь?— отозвалась мать.— Почему?

— Он такой красный, в углях столько пещерок... и так тепло, приятно, так хорошо пахнет.

— Надо будет угля подбросить,— сказала мать,— а то отец придет и начнет ворчать, что он, мол, целый день надрывается в шахте, а дома огня порядочного развести не могут. В трактире-то небось всегда тепло.

Несколько минут все молчали. Потом Джон капризно протянул:

— Ну что же ты, Анни?

— А что я? Огню ведь не прикажешь, чтобы горел жарче!

— Нарочно водит им туда-сюда, чтобы дольше не жарился!— проворчал мальчик.

— Не надо думать о людях плохо, сынок,— отозвалась мать.

Но вот в темноте захрустел на зубах поджаристый хлеб. Мать почти не ела. Она только пила чай и упорно о чем-то думала. Когда она поднялась, ее вскинутая голова казалась окаменевшей от гнева. Она посмотрела на пудинг, который стоял на огне, и ее точно прорвало:

— Какое издевательство — даже обедать домой не пришел! Пусть все сгорит, мне безразлично. Я приготовила обед, сижу жду его, а он мимо собственного дома в кабак!..

Она вышла во двор, набрала угля и стала кидать кусок за

куском в красный огонь; по стенам поползли тени, в кухне стало еще темнее.

— Ничего не видно,— проворчал ставший неразличимым Джон. Мать против воли рассмеялась.

— Ничего, мимо рта не пронесешь,— сказала она и вышла поставить совок за дверью. Когда ее силуэт снова появился на фоне беленой печки, мальчик повторил капризно и упрямо:

— Не видно ничего!

— Вот наказание!— с досадой вскричала мать.— Минуты без света посидеть не можешь, совсем как отец.

И все-таки она взяла с полки бумажный жгут, зажгла его и понесла к керосиновой лампе, висевшей в середине комнаты. Когда она подняла руки, живот ее слегка округлился, и стало видно, что она ждет ребенка.

— Ой, мама!— вдруг вскричала девочка, и мать замерла с колпаком в руке. Она стояла с поднятой рукой, обернувшись к дочери, красиво освещенная светом от медного отражателя.

— Что случилось?

— У тебя за поясом цветок!— проговорила девочка в восторге от необычного зрелища.

— Господи, только и всего!— с облегчением сказала мать.— А я подумала — пожар.— Она накрыла лампу колпаком и, помедлив, подкрутила фитиль. На полу зыбко колебалась бледная тень.

— Я хочу понюхать!— все с тем же восторгом попросила девочка, подходя к матери и прижимаясь лицом к ее переднику.

— Отстань, дурочка!— сказала мать и прибавила огонь. Свет как бы обнажил их тревогу, и женщина почувствовала, что вот-вот не выдержит. Анни все так же стояла, нагнувшись к ее фартуку. Мать с досадой выдернула из-за пояса цветы.

— Ой, мамочка, не надо!— вскричала Анни, ловя ее руку и пытаясь снова засунуть цветы за пояс.

— Что за глупости,— сказала мать, отворачиваясь. Де-

вочка поднесла к губам бледные хризантемы и прошептала:

— Как хорошо пахнут!

Мать отрывисто засмеялась.

— А я не люблю,— сказала она.— У меня всю жизнь хризантемы — и на свадьбе, и когда ты родилась; даже когда его в первый раз принесли домой пьяным, в петлице у него была рыжая хризантема.

Она посмотрела на детей. Они глядели на нее вопросительно, приоткрыв рот. Несколько минут она сидела молча, покачиваясь в кресле. Потом снова взглянула на часы.

— Без двадцати шесть! Нет, уж теперь-то он не придет,— бросила она небрежно, с язвительной горечью,— теперь его приведут. Будет сидеть в кабаке. Ввалится весь грязный, в угольной пыли, но я его мыть не стану. Пусть спит на полу... Господи, какая же я была дура, какая дура! Знать бы, что буду жить в этой грязной дыре, среди крыс, а он будет как вор красться мимо собственного дома. На прошлой неделе два раза пришел пьяный, сегодня опять загулял...

Она оборвала себя, встала и принялась убирать со стола.

Прошел час, может быть, больше; дети притихли, поглощенные игрой, придумывая все время что-то новое, робея матери, страшась возвращения отца. Миссис Бейтс сидела в кресле-качалке и шила безрукавку из толстой кремовой байки; когда она отрывала от ткани кромку, раздавался как бы глухой стон. Она трудилась над шитьем, прислушиваясь к голосам детей, и мало-помалу гнев ее утомился, улегся, он лишь время от времени открывал глаза и зорко наблюдал, настороженно слушал. Порою казалось, что он и вовсе смирился, сжался в комок,— вдали раздавались шаги по шпалам, мать замирала с шитьем, резко поворачивалась к детям сказать «Ш-ш-ш!», но вовремя спохватывалась, и шаги стучали мимо, не вырвав детей из мира игры.

Наконец Анни вздохнула и покорилась усталости. Она больше не могла играть, ей не хотелось даже смотреть на шлепанцы, изображавшие товарные платформы.

— Мама!— со слезами в голосе позвала девочка, не сумев облечь в слова свою жалобу.

Из-под дивана выполз Джон. Мать подняла глаза от шитья.

— Хорош,— сказала она,— погляди на свои рукава.

Мальчик оглядел рукава, но ничего не сказал. Вдали за путями раздался чей-то хриплый крик, и тревога всколыхнулась в комнате, и, лишь когда двое шахтеров прошли, переговариваясь, она опала.

— Пора спать,— сказала женщина.

— А папа еще не пришел,— плаксиво протянула Анни. Но мать держалась стойко.

— А он и не придет, его принесут бесчувственного, как бревно.— Это значило, что скандала нынче вечером не будет.— Пусть спит на полу, пока не проспится. На работу завтра все равно пойти не сможет.

Она протерла детям лица и руки влажным полотенцем. Дети совсем присмирели. Молча надели ночные рубашки и стали молиться, мальчик невнятно бормотал. Мать глядела на своих детей, на спутавшиеся завитки пшеничных шелковистых волос на затылке дочери, на черноволосую голову сына, и сердце ее разрывалось от гнева на их отца, который причинял им всем столько горя. Дети уткнулись лицом ей в юбку, ища утешения.

Когда миссис Бейтс спустилась вниз, кухня поразила ее необычной пустотой, сгустившимся ожиданием. Она снова взялась за шитье и долго работала иглой, не поднимая головы. И постепенно к ее гневу начал примешиваться страх.

II

Часы пробили восемь. Она резко встала, бросив шитье в кресло, подошла к двери, отворила ее, послушала. Потом вышла на улицу и заперла за собой дверь.

Во дворе кто-то завозился, и она вздрогнула, хотя и знала, что это крысы, которыми кишит поселок. Вечер был очень темный. На подъездных путях, заставленных товарными вагонами, не горело ни огонька, лишь далеко, на шахтном дворе, светилось несколько фонарей да над горящим конусом отвала поднималось красное зарево. Миссис Бейтс быст-

ро шагала вдоль шпал, возле стрелки поднялась по приступку к белой калитке и, открыв ее, оказалась на дороге. И здесь страх, который гнал ее, начал отступать. Шли люди, направляясь в Новый Бринсли, в домах горел свет, впереди, в пятидесяти шагах ярко светились большие окна трактира «Принц Уэльский», слышался гул мужских голосов. Почему она вообразила, что с ним случилось несчастье? Вот глупая! Он преспокойно сидит себе в «Принце Уэльском» и пьет. Она замедлила шаг. Она никогда еще не приходила за мужем в трактир и теперь не пойдет. Она двинулась дальше, к длинному кривому ряду домов, чернеющих вдоль дороги, и наконец свернула в проулок между домами.

— Мистер Ригли!

— Вам мистера Ригли? А его нет дома.

Худая, костлявая женщина, выглянувшая из темной посудомойни, пыталась рассмотреть гостью в слабом свете, который пробивался сквозь кухонные занавески.

— Это вы, миссис Бейтс?— с уважением спросила она.

— Да. Я хотела узнать, ваш муж пришел? Моего до сих пор нет.

— Да что вы! Джек еще когда вернулся, пообедал и снова ушел. Пошел посидеть полчаса перед сном. Вы в «Принц Уэльский» заглядывали?

— Нет, я...

— А, не решились... Конечно, женщине это не очень-то пристало,— понимающе сказала миссис Ригли. Наступило неловкое молчание.— Нет, Джек ничего не рассказывал о... вашем муже,— наконец проговорила миссис Ригли.

— Ну, значит, в трактире сидит, где ж еще!

Элизабет Бейтс произнесла эти слова с горечью, с вызовом. Она знала, что соседка миссис Ригли стоит у своей двери и слушает, но ей было все равно. Она повернулась уходить, однако миссис Ригли остановила ее:

— Погодите минутку! Я пойду спрошу Джека, может, он что-нибудь знает.

— Нет, нет, не надо, чтобы вы из-за меня...

— Ерунда, сейчас сбегаю, только вы, уж пожалуйста, побудьте в кухне, последите, чтобы дети вниз не сошли и не наделали пожару.

Элизабет Бейтс вошла в дом, бормоча из вежливости возражения. Хозяйка извинилась за беспорядок.

Извинялась она не напрасно. На диване и на полу были разбросаны детские платица, брюки, белье, всюду валялись игрушки. На столе, на черной клеенке — куски хлеба и пирога, крошки, объедки, остывший чайник.

— Пустяки, у нас, думаете, лучше?— сказала Элизабет Бейтс, глядя не на разбросанные вещи, а на хозяйку.

Миссис Ригли накинула на голову шаль и торопливо вышла, пообещав:

— Я мигом.

Гостя села и с легким осуждением обвела глазами неприбранную комнату. Потом стала считать раскиданные по полу башмаки самых разных размеров. Их оказалось шесть пар. Она вздохнула и, прошептав: «Мудрено ли!»— перевела взгляд на брошенные игрушки. Во дворе слышались шаги, в кухню вошли мистер и миссис Ригли. Элизабет Бейтс поднялась с табурета. Ригли был высокий, ширококостный, худой, с костистым лицом. На виске синел шрам — след от раны, полученной в шахте, в рану въелась угольная пыль, и шрам был синий, как татуировка.

— Неужто до сих пор не пришел?— спросил Ригли, не поздоровавшись, однако почтительно и с сочувствием.— Где же он может быть? Там его нет,— Ригли кивнул головой в сторону «Принца Уэльского».

— Наверное, в «Дубках» сидит,— предположила миссис Ригли.

Снова наступило молчание. Ригли явно что-то тревожило.

— Когда я уходил, он заканчивал норму,— начал он.— Минут через десять после свистка мы стали собираться, я ему крикнул: «Ты идешь, Уолт?», а он: «Ступайте, я вас догоню», ну, мы с Бауэрсом и пошли к клетки, думали, он за нами идет и поднимется со следующей партией...

Он был растерян и точно оправдывался, что бросил това-

рища одного. Элизабет Бейтс, теперь уже опять уверенная, что произошло несчастье, поспешила успокоить его:

— Да нет, он, наверное, в «Дубках», миссис Ригли правду сказала. Ведь не впервой. Сколько раз я волновалась понапрасну. Теперь он сам не придет, его принесут.

— Что же это за напасть такая,— горестно вздохнула миссис Ригли.

— Я сейчас добегу до заведения Дика, проверю, там он или нет,— предложил Ригли, боясь выдать свою тревогу, боясь показаться навязчивым.

— У меня и в мыслях не было причинять вам столько хлопот,— горячо возразила Элизабет Бейтс, но Ригли знал, что она рада его предложению.

Они двинулись в темноте по проулку, а жена Ригли пробежала в конец двора, и Элизабет услышала, как у соседней открылась дверь. Вся кровь, казалось, отхлынула от ее сердца.

— Не оступитесь!— остерег ее Ригли.— Тут колдобины, засыпать бы их надо, я сколько раз говорил... Сломает тут кто-нибудь себе ногу...

Элизабет справилась с собой и быстро зашагала рядом с Ригли.

— Дети спать легли, а я оставила дом без присмотра,— сказала она.

— Известное дело,— учтиво поддержал ее шахтер.

Через несколько минут они подошли к калитке ее дома.

— Я мигом обернусь. А вы не изводите себя попусту, ничего с ним не случилось,— заверил ее друг мужа.

— Как мне вас благодарить, мистер Ригли,— проговорила она.

— Ну что вы, пустяки,— смущенно пробормотал он. И уже на ходу бросил:— Так я мигом.

И уже на ходу бросил:— Так я мигом.

В доме была тишина. Элизабет Бейтс сняла шляпу и шаль, раскатала свернутый перед уходом каминный коврик. Потом села. Было начало десятого. Вдруг она вздрогнула — торопливо запыхтел движок подъемника на шахте, завизжали тормоза спускавшейся на тросах клетки. И снова кровь

застыла у нее в жилах, она прижала руку к сердцу и вслух одернула себя:

— Господи, да что же я! Это всего лишь десятник спускается на вечернюю проверку.

Она сидела не шевелясь и слушала. Полчаса такого ожидания вымотали ее вконец.

— Ну что я так извожусь?— дрожащим голосом проговорила она.— Ведь мне нельзя волноваться.

И она снова взялась за шитье.

Без четверти десять раздались шаги. Шел кто-то один! Она впилась глазами в дверь. Вошла старуха в черной шляпе и черной шерстяной шали — его мать. Ей было лет шестьдесят, лицо бледное, с голубыми глазками, горестно сморщенное. Закрыв дверь, мать жалостно уставилась на невестку.

— Лиззи, Лиззи, что нам делать, что теперь делать!— запричитала она.

Элизабет слегка отшатнулась.

— Что случилось, мама?— спросила она.

Старуха опустила на диван.

— Ох, дочка, не знаю, сама не знаю!— Она медленно покачала головой. Элизабет глядела на свекровь с волнением и досадой.— Не знаю,— повторила старуха и тяжело вздохнула.— Видать, никогда мои беды не кончатся. Сколько я всего пережила, хватит уже с меня...— Она плакала, не вытирая глаз, слезы бежали по ее щекам.

— Подождите, мама,— прервала ее Элизабет.— Что стряслось? Объясните толком.

Свекровь медленно вытерла глаза. Требовательный напор невестки остановил поток ее слез. Она снова вытерла глаза.

— Бедная ты, ох бедная!— всхлипнула она.— Как нам теперь жить, что делать?.. Да еще ты в таком положении... ох, горе, горе!

Элизабет ждала.

— Он погиб?— наконец спросила она, и, когда она говорила эти слова, сердце ее бешено толкнулось в груди и в то же время ей стало стыдно грубой обнаженности вопро-

са. Слова ее испугали старуху, почти отрезвили.

— Что ты, Элизабет, как у тебя язык повернулся! Нет, господь не допустит такого несчастья, будем уповать на него... Я уж хотела рюмочку пропустить перед сном, как вдруг вбегает Джек Ригли. «Миссис Бейтс, подите к невестке,— говорит.— С Уолтом не совсем ладно, в шахте обвал произошел, побудьте с ней, пока его домой принесут». И исчез. Я даже спросить ничего не успела. Конечно, схватила шляпу — и к тебе. Бегу и думаю: «Бедная моя доченька, не ровен час, придет кто-нибудь и брякнет напрямик, невесть что приключиться может». Ты, Лиззи, не расстраивайся, а то сама знаешь, чем кончится. Сколько уж времени — пять месяцев, шесть? Ах, Лиззи, Лиззи, как время-то летит!— Старуха покачала головой.— Не утонишься.

Элизабет думала о своем. Если он погиб, смогут ли они прожить на маленькую пенсию и на то, что ей удастся заработать самой? Она быстро прикинула. А если только увечье — в больницу его не положат, как трудно будет за ним ухаживать!— но, может быть, ей удастся отучить его от пьянства и скандалов... Да, она отучит — на то время, пока он не поправится. Она представила себе эту картину, и на глаза навернулись слезы. Что это, неужели разжалобилась? Такой роскоши позволить себе нельзя. И она стала думать о детях. Как бы там ни было, детей она должна поднять. Больше о них позаботиться некому.

— Да,— говорила свекровь,— а ведь, кажется, только вчера он принес мне свою первую получку. Хороший он был, Элизабет, добрый на свой лад. Ума не приложу, почему он сбился с пути? Задору в нем всегда было через край, но все равно дома от него была только радость. Зато потом пришлось хлебнуть с ним горя! Нет, я верю: господь сохранит ему жизнь и наставит на верный путь. Ох, Элизабет, настрадались ты с ним, не приведи бог. А когда жил со мной, был такой ласковый, можешь мне поверить. И что за напасть приключилась?..

Старуха причитала надоедливо и однообразно, а Элизабет напряженно думала, и, лишь когда вдруг быстро запыхтел

подъемник и взвизгнули тормоза, она вздрогнула. Потом подъемник стал работать спокойнее, тормоза смолкли. Старуха ничего не заметила. Элизабет, замерев, ждала. А свекровь говорила, умолкала ненадолго, снова продолжала говорить...

— Он был твой муж, Лиззи, а не сын, в этом-то все и дело. Как бы он скверно ни поступал, я всегда помнила его маленьким и старалась его понять, старалась прощать. Мужчин, Лиззи, надо прощать...— В половине одиннадцатого хлопнула калитка.— И все равно ничего, кроме горя, в жизни не видишь, ни молодых оно не щадит, ни старых...— говорила в это время старуха. Кто-то, тяжело топая, поднялся на крыльцо.

— Дай я открою, Лиззи!— вскричала она, вскакивая. Но Элизабет уже распахнула дверь. На пороге стоял шахтер в рабочей одежде.

— Несут его, миссис Бейтс,— сказал он. Сердце у Элизабет остановилось. Потом рванулось в горло, едва не задушив ее.

— Он... жив?— выговорила она.

Шахтер оглянулся и стал глядеть в темноту.

— Доктор сказал, уже несколько часов, как умер. Он его в ламповой осматривал.

Старуха как стояла за спиной Элизабет, так и упала на стул, заломив руки.

— Сыночек мой!— закричала она.— Сыночек, сынок!

— Тихо!— приказала Элизабет, и лицо ее судорожно передернулось.— Молчите, мама, детей разбудите, а им сейчас здесь делать нечего.

Старуха раскачивалась из стороны в сторону и сдавленно стонала. Шахтер отступил к двери. Элизабет шагнула вперед.

— Как все было?— спросила она.

— Толком-то я и сам не знаю...— Шахтер в смущении замялся.— Вся смена ушла, а он остался доканчивать норму, и тут обвал.

— Его раздавило?— вскрикнула вдова, содрогаясь.

— Нет, порода обвалилась позади него. Он в самой го-

лове забоя был, так на него хоть бы кусок упал, но проход засыпало, и он задохнулся.

Элизабет отпрянула. Сзади раздался старухин крик:

— Что? Что он сказал?

Шахтер повторил громче:

— Задохся он!

Старуха зарыдала в голос, и тут Элизабет отпустило.

— Мама,— сказала она, кладя руку на плечо свекрови,— детей разбудите. Не разбудите детей.

Она заплакала сама, не замечая того, что плачет. Старуха мать раскачивалась из стороны в сторону и стонала. И вдруг Элизабет вспомнила, что ведь сейчас его принесут и нужно все приготовить.

«Пусть кладут его в гостиной»,— сказала она себе и замерла ошеломленная, без кровинки в лице.

Потом засветила свечу и вошла в крошечную гостиную. Здесь было холодно и затхло, но развести огонь она не могла, камина не было. Элизабет поставила свечу и огляделась. Свет играл в подвесках люстры, на двух вазочках, в которых стояли розовые хризантемы, на темной, красного дерева, мебели. В воздухе был разлит холодный, мертвенный запах хризантем. Элизабет тупо глядела на цветы. Наконец отвела от них взгляд и стала прикидывать, хватит ли места на полу, между диваном и комодом. Сдвинула в сторону стулья. Да, теперь можно будет и его положить, и свободно ходить по комнате. Она достала старую красную скатерть, еще одну старую скатерть, расстелила их на полу, чтобы не запачкать дешевый ковер. Элизабет вся дрожала от холода; выйдя из гостиной, она вынула из шкафа чистую рубашку и понесла к огню проветрить. Свекровь все так же раскачивалась на стуле и стонала.

— Придется вам пересесть отсюда, мама,— сказала Элизабет.— Сейчас его будут вносить. Садитесь в качалку.

Мать машинально поднялась и, не переставая плакать, села у камина. Элизабет пошла в посудомойню взять еще одну свечу и там, в тесной каморке под голыми черепицами, услышала, что его несут. Она стала на пороге, прислуши-

ваясь. Вот они поравнялись с домом, медленно спустились по трем ступенькам, шаркая и переговариваясь вполголоса. Старуха умолкла. Они уже были во дворе.

Потом Элизабет услышала, как управляющий Мэтьюз сказал:

— Ты первый, Джим. Осторожно!

Дверь открылась, пятясь задом, вошел шахтер с носилками, на которых женщины увидели подбитые гвоздями подметки рабочих башмаков. Носильщики остановились, передний нагнул голову, чтобы не задеть за притолоку.

— Куда его нести?— спросил управляющий. Он был небольшого роста, с седой бородкой.

Элизабет заставила себя очнуться и вышла из посудомойни с незажженной свечой.

— В гостиную,— сказала она.

— Сюда, Джим!— показал управляющий, и шахтеры начали заворачивать носилки в маленькую гостиную. Пока они протискивались сначала в одни двери, потом в другие, плащ, которым был накрыт умерший, соскользнул, и мать с женой увидели его обнаженным по пояс, как он работал. У старухи вырвался полузадушенный протяжный вопль ужаса.

— Опускайте носилки,— командовал управляющий.— Кладите его на скатерти. Осторожно, осторожно! Ну что же ты!..

Один из шахтеров опрокинул вазу с хризантемами. Он заморгал в растерянности; они стали опускать носилки. Элизабет не смотрела на мужа. Как только проход освободился, она вошла в гостиную и стала подбирать осколки вазы и цветы.

— Подождите минуту!— сказала она.

Трое пришедших молча ждали, пока она вытрет лужу тряпкой.

— Такие вот дела, ужасные дела!— заговорил управляющий, нервно и растерянно потирая лоб.— Такого на моей памяти не бывало. Нельзя ему было оставаться там одному. Нет, такого сроду не бывало. Обвалилось прямо за его спи-

ной, как отрезало. Фута четыре места осталось, даже, наверное, меньше, а его и не задело.

Он посмотрел на простертого на полу покойника, полуобнаженного, испачканного угольной пылью.

— Доктор говорит, он задохнулся. Много я видел на своем веку, но такого... Как будто кто нарочно подстерег, честное слово. Прямо за его спиной обвалилось и захлопнуло, как в мышеловке...

Он сделал резкий, рубящий взмах рукой.

Стоящие рядом шахтеры в знак подтверждения горестно качнули головой.

Всех их сковал ужас перед тем, что произошло.

Вдруг наверху пронзительно закричала девочка:

— Мама, мама, кто это? Кто у нас, мама?

Элизабет кинулась к лестнице и открыла дверь.

— Спи сейчас же!— строго приказала она.— Что ты раскричалась? Ничего не случилось. Ложись и спи.

И стала подниматься по лестнице. Слышно было, как она идет по ступенькам, по крытому линолеумом полу тесной спальни. Слышно было каждое ее слово.

— Ну что ты, глупенькая, что ты?— говорила она срывающимся голосом, неестественно ласково.

— Мне показалось, пришли какие-то люди,— произнес тоненький детский голосок.— Он пришел?

— Да, его принесли. Не беспокойся, спи, ведь ты у меня умница.

Внизу слушали, как она говорит в спальне, как движется, укрывая детей, и ждали.

— Он пьяный?— тихо, боязливо спросила девочка.

— Нет, нет! Он не пьяный. Он... он спит.

— Он останется спать внизу?

— Да... Пожалуйста, не шуми.

Наступило молчание, потом детский голос испуганно спросил:

— А кто это там?

— Никто. Я же тебе сказала: спи и ни о чем не думай. Это стонала мать умершего. Не замечая никого и ничего,

она раскачивалась на стуле и стонала. Управляющий тронул ее за руку и прошептал:

— Тс-с-с!

Мать открыла глаза и поглядела на него. Этот жест вторгся в ее горе и поверг в недоумение.

— Который час?— еще спросила девочка, тоненько и жалобно, снова погружаясь в тревожный сон.

— Десять,— тихо проговорила мать. Потом, наверное, наклонилась к детям и поцеловала их.

Мэтьюз знаком показал, что пора уходить. Шахтеры надели кепки и забрали носилки. Перешагнули через лежащее на полу тело и вышли на цыпочках во двор. Никто не проронил ни слова, пока дом, где так тревожно спали дети, не остался далеко позади.

Элизабет спустилась вниз. Свекровь была в гостиной одна, она лежала на полу, прикинув к мертвому сыну, и слезы ее капали на его лицо.

— Нужно его обрядить,— сказала жена. Поставила согреть чайник, вернулась в гостиную и, встав на колени у ног мужа, принялась развязывать кожаные шнурки. Света единственной свечи в сырой нетопленной комнате было очень мало, и ей пришлось пригнуть лицо чуть не к самому полу. Наконец она стянула с мужа тяжелые башмаки и отставила их в сторону.

— А теперь помогите мне,— сказала она шепотом старухе. И они вдвоем раздели покойного.

Когда они поднялись и увидели его в наивном величии смерти, они замерли от благоговения и страха и несколько минут стояли молча и глядели на него, лишь старая мать тихонько всхлипывала. У Элизабет было такое чувство, будто ее перечеркнули. Вот он лежит перед ней, замкнутый в себе, как книга за семью печатями. Ничто не связывает его с ней. Нет, она не может с этим смириться! И она склонилась к нему и положила руку ему на грудь, утверждая свое право на него. Он был еще теплый, потому что в шахте, где он погиб, было жарко. Мать держала его лицо в ладонях и что-то бессвязно шептала. Слезы капали на него одна

за другой, как капли дождя с мокрых листьев; мать не плакала, просто слезы лились и лились из ее глаз. Элизабет обняла мужа, прижалась к нему щекой и губами. Она как бы вслушивалась, вопрошала, пыталась к нему пробиться. И не могла. Он отвергал ее. К нему не было пути.

Она поднялась, пошла на кухню, налила в таз теплой воды, взяла мыло, мохнатую рукавичку и мягкое полотенце.

— Надо его обмыть,— сказала она.

И тогда старуха мать поднялась с трудом, а Элизабет стала осторожно обмывать ему лицо, осторожно отвела от губ пышные русые усы, отерла их рукавичкой. Страх ее был бездонен, и потому она служила мужу. Старуха мать произнесла ревниво:

— Дай я буду вытирать!— опустилась на колени с другой стороны и стала бережно осушать вымытые невесткой места, то и дело задевая большой черной шляпой темноволосую голову невестки. Женщины трудились долго, молча. Они ни на миг не забывали, что перед ними смерть, и странные чувства вызывало у них прикосновение к мертвому телу, странные и у каждой свои: обеими владел безмерный ужас, мать ощущала, что ее лоно обмануто, надежды преданы, жена думала о беспредельном одиночестве человеческой души, и ребенок в ее чреве казался постылым бременем.

Наконец они кончили. У него было красивое тело, на лице еще не проступили следы пьянства. Светло-русый, мускулистый, с длинными, стройными ногами. И мертвый.

— Благослови его господь,— шептала мать из глубины своего ужаса, неотрывно глядя на лицо сына.— Господи, благослови моего родного мальчика!— шептала она пронзительно и исступленно, в самозабвении страха и материнской любви.

Элизабет снова опустилась на пол и уткнулась лицом в его шею; ее била дрожь, по телу пробегали судороги. И снова ей пришлось отстраниться. Он мертв, мертв, ее живой плоти не место рядом с ним. Ее переполняли страх, усталость; она была такой ненужной. С его смертью кончилась и ее жизнь.

— Кожа белая, как молоко, нежная, как у младенца, благослови его господь, моего ненаглядного мальчика! — бормотала старая мать. — Ни изъяна нет, ни пятнышка, такой чистый, белый, у какой еще матери такой красивый сын! — с гордостью шептала она. Элизабет не поднимала лица. — Он отошел с миром, Лиззи, он тихо умер, будто заснул. Красавец он у нас, верно? Да, Лиззи, он покаялся, я уверена. Ну конечно покаялся, когда остался один. Он успел, Лиззи. Видишь, какой у него покой на лице. Спи, родной мой!.. А как он весело смеялся! Сердце радовалось! Ни у кого больше не было такого веселого смеха...

Элизабет подняла голову. Его губы под усами слегка запали, рот приоткрылся. В темноте не было видно, что полуприкрытые глаза остекленели. Жизнь с ее чадным огнем ушла из него, отрезав их друг от друга, оставив его безмерно чужим ей. Она поняла, что не знает его. И оттого, что перед ней лежал чужой, отъединенный от нее человек, с которым она столько лет была одна плоть, в лоне ее леденел страх. Так, значит, вот в чем истина — в предельном, непроницаемом одиночестве, которого мы не можем разглядеть в горячке жизни?! Она отвернулась, ужаснувшись. Его лицо сейчас слишком мертво. Их никогда ничто не связывало, и все же столько раз их толкала друг к другу страсть, они лежали вдвоем обнаженные. Но как бы тесно он ни сплетался с ней, они всегда оставались разными и были далеки, как сейчас. И он виноват в этом не больше, чем она. Ребенок был как лед в ее чреве. Она смотрела на покойного, а мысль работала холодно, отрешенно, ясно: «Что я такое, кто я? Что же я сделала? Вела поединок с мужем, человеком, который вовсе и не существовал! Вот он существовал всегда. Какое преступление я совершила? С кем рядом жила? Вот лежит человек, он — истина, ответ». И душа ее омертвела в страхе: она поняла, что никогда не видела его, что и он ее никогда не видел, они встретились в темноте и в темноте вели свой поединок, не зная, кого встретили и с кем враждуют. А вот теперь она увидела и, увидев, онемела. Как же она ошибалась! Она называла его чужим именем; ей каза-

лось, он близкий, родной. А он был с самого начала сам по себе, он жил отдельной от нее жизнью, и то, что он чувствовал, было ей недоступно.

Со страхом и стыдом глядела она на обнаженное тело, которое она познавала ложно. А ведь он был отец ее детей! Казалось, душа ее вырвалась наружу, отделилась от нее. Элизабет глядела на его нагое тело, и ей было стыдно, как будто она его предала. Оно существовало само по себе. Оно наводило на нее ужас. Она перевела взгляд на его лицо и отвернула свое лицо к стене. Ибо лик его был ей чужд, и чужды были его пути. Она не признала в нем главное — его самого, теперь она это поняла. Она отказала ему в праве быть собой. И так прошла их жизнь, его жизнь и ее. Спасибо смерти, она восстановила истину. И еще она чувствовала, что сама — жива.

Сердце ее разрывалось от горя и от жалости к нему. Сколько он выстрадал? Какой щедрой мерой отмерили муки ему, беспомощному! От боли она окаменела. Она не сумела его защитить. Его искалечили, умертвили, этого лежащего перед ней нагого мужчину, это другое существо, а она не смогла защитить его. Есть дети, да, но дети принадлежат жизни. Этот покойник не имеет к ним никакого отношения. Он и она — лишь каналы, по которым жизнь притекла, чтобы продлиться в детях. Она мать — и только теперь она узнала, как страшно быть женой. И ему, мертвому, как тяжела была участь мужа. Она знала, что на том свете он будет чужим ей. Даже если они встретятся там, в вечности, им будет лишь стыдно за прошлое. По неведомой причине от них родились дети. Но дети не соединили их. Теперь, когда он умер, ей открылось, что он во веки веков чужд ей, что до скончания века они разлучены. Все прежнее кончилось, она знала. В этой жизни они отреклись друг от друга. И теперь он ушел. Отчаяние охватило ее. Вот и конец, но ведь все, что было между ними, погибло задолго до того, как погиб он. И все равно он был ее мужем. Но как ничтожно мало!

— Элизабет, ты приготовила рубашку?

Элизабет, не отвечая, повернулась к матери. Она старалась заплакать, как полагалось по понятиям свекрови. Но слез не было, душа молчала. Она пошла в кухню и вернулась с рубашкой.

— Проветрилась, — сказала она, щупая руками хлопчатобумажную рубашку. Ей казалось почти кощунством трогать его — какое право она или кто-то другой имеют прикасаться к нему? И все же ее пальцы притронулись к его телу, но смиренно. Обрядить его было трудно. Он был такой тяжелый, неподвижный. И оттого, что он был такой тяжелый, каменно неподвижный, такой безжизненный и замкнутый в себе, ее душил, ни на миг не отпуская, ужас. Казалось, она вот-вот не выдержит — так бесконечно расстояние меж ними, так страшна пропасть, которая их разделяет.

Наконец они его обрядили. Подвязали челюсть, накрыли его простыней и так оставили. Она замкнула дверь их крошечной гостиной, чтобы дети не увидели, что там лежит. Потом с тяжелой душой, но примиренная стала прибираться в кухню. Она по доброй воле покорила жизнь, владычице на час, и в страхе, со стыдом отпрянула от своего верховного владыки, смерти.

Крестины

Учительница вышла из ворот школы и вместо того, чтобы пойти, как всегда, налево, повернула направо. Увидев ее, женщины, спешившие домой приготовить мужьям на скорую руку обед — было без пяти четыре, — остановились и стали смотреть ей вслед, потом переглянулись с усмешкой.

Удаляющаяся учительница и впрямь выглядела несурезно: маленькая, худенькая, в черной соломенной шляпке, в вылинявшем черном кашемировом платье с широкой юбкой. Смешно было и то, что такая пигалица в полунищенском наряде выступает столь размеренно и неторопливо.

Хильде Роуботем не было и тридцати лет, стало быть, не возраст сдерживал ее движения — у нее было большое сердце. Вскинув изнуренное болезнью, но все же миловидное личико и глядя прямо перед собой, молодая женщина проплыла по рыночной площади, похожая на черного лебедя в облезлом траурном оперении.

Она зашла в булочную Берримена. Здесь были хлеб и печенье, мешки с мукой и овсяной крупой, окорока, копченая грудинка, сало, колбасы. Пахло в лавке приятно. Хильда Роуботем остановилась у прилавка и стала ждать, нервно постукивая пальцами по лежащему на нем большому ножу и разглядывая высокие сверкающие медью весы. Наконец из комнат сверху спустился мужчина с угрюмым лицом и рыжеватыми баками.

— Чего угодно?— спросил он, не извинившись, что заставил ее ждать.

— Пожалуйста, на шесть пенсов печенья и пирожных разного сорта, и непременно положите миндальных,— проговорила она страшно быстро и нервно. Губы ее дрожали, как листья на ветру, а слова теснили друг дружку и рвались наружу, точно сбившиеся у ворот овцы.

— Миндальных не имеем,— хмуро ответил хозяин. Видно, он разобрал только это слово — миндальные. И теперь стоял и ждал.

— Какая жалость, мистер Берримен, не повезло мне. Я так люблю миндальные пирожные, но редко позволяю себе такое удовольствие. Утомительное это занятие — баловать себя, верно? Уж лучше баловать других, не так накладно получается.— Она с нервным, отрывистым смешком подняла руку к лицу.

— Так что прикажете?— спросил хозяин, не отозвавшись на ее слова хотя бы подобием улыбки. Видно, он ничего не понял и потому еще больше насупился.

— Все равно, дайте то, что есть,— ответила учительница и слабо вспыхнула. Хозяин медленно двигался за прилавком, беря с подносов пирожные и опуская их в бумажный пакет.

— Как сестрица изволит поживать?— спросил он, глядя на свой совок, точно к нему и обращался.

— Которая?— вскинулась учительница.

— Младшая,— не без ехидства проговорил сутулый бледный хозяин.

— А, Эмма! Очень хорошо, спасибо!— Лицо учительницы покрылось красными пятнами, но говорила она колко, с насмешливым вызовом. Хозяин что-то буркнул, подал ей пакет и, даже не сказав «всего доброго», уставился ей в спину.

Ей предстояло пройти своим медленным шагом всю главную улицу из конца в конец — целых полмили крестных мук. У нее горела шея от стыда, но она несла свой белый пакет с видом совершенного безразличия. Когда она наконец миновала последний дом, она слегка ссутулилась. Перед ней открылась просторная долина, посреди возвышались шахтные строения, клубился белый дым, стучал подъемник, поднимая рабочих на поверхность; лес вдали был подернут мглой сумерек. Из дымки на востоке вставала полная, наливающаяся розовым светом луна — казалось, это низко над землей летит фламинго. Картина была прекрасна, и горечь Хильды и печаль смягчились, сгладились.

Вот и поле осталось позади, она подошла к дому. Дом был новый, построенный добротнo и с размахом, как строят на свои кровные сбережения старые шахтеры. В небольшой кухне сидела женщина с темным, смуглым лицом, на руках у нее был грудной ребенок в длинной белой рубашечке; возле стола стояла молодая женщина с грубыми, чувственными чертами и мазала маслом хлеб. Вид у нее был робкий, приниженный, он не вязался с ее обликом, даже почему-то вызывал досаду. Она не обернулась, когда вошла сестра. Хильда положила пакет с печеньем и пирожными и вышла из кухни, не сказав ни слова ни Эмме, ни ребенку, ни миссис Карлин, которая пришла после обеда помочь им.

Почти в ту же минуту в дверях появился отец с полным совком угля, который он нес со двора. Был он высокий, кряжистый, дряхлый. Переступив порог, он схватился сво-

бодной рукой за ручку, чтобы не упасть, но, поворачиваясь к камину, потерял равновесие и едва устоял на ногах. Потом начал осторожно кидать уголь в огонь. Один кусок выскользнул и рассыпался на белой каменной плите перед камином. Эмма Роуботем оглянулась и грубо, злобно закричала:

— Что ты делаешь!— Потом, сдержав себя, сказала спокойнее:— Ладно, я сама замету, не трогай, а то еще свалишься головой в огонь.

Но отец все же нагнулся и стал собирать рассыпавшиеся крошки, приговаривая непослушным, заплетающимся языком:

— Вот сволочь, скользкий, будто рыба, попробуй удержи в руках.

Его снова качнуло вперед. Темноликая соседка вскрикнула: чтобы удержаться, он схватился рукой за горячую плиту. Эмма кинулась к отцу и оттащила от огня.

— Ведь говорила я тебе, говорила!— снова злобно закричала она.— Обжегся?

Она вцепилась в старика и затолкала в кресло, где он обычно сидел.

— Что там у вас?— раздался в соседней комнате властный женский голос. На пороге появилась обладательница голоса — женщина лет двадцати восьми с красивым жестким лицом.— Не смей хамить отцу, Эмма!— Потом помягче, но столь же властно:— Что случилось, отец?

Эмма с угрюмым видом вернулась к столу.

— Да ничего, ты зря беспокоишься,— стал тщетно уверять дочь старик.— Ничего со мной не случилось.

— По-моему, он руку обжег,— сказала темноликая женщина с досадой, но и с жалостью, точно он был ребенок-непоседа. Берта взяла руку старика и стала рассматривать, сердито прищелкивая языком.

— Эмма, принеси цинковую мазь... и белую тряпочку,— властно приказала она. Младшая сестра положила нож, не дорезав куса, и вышла. Внимательного наблюдателя эта покорность поразила бы еще больше, чем самое яростное препирательство. Темноликая нагнулась к ребенку и молча,

с материнской нежностью, ласкала его. Крошечное существо заулыбалось, зашевелило ручками и ножками, потом стало выгибаться у нее на коленях.

— Наверное, есть захотел,— сказала женщина.— Когда его кормили?

— Перед самым обедом,— хмуро ответила Эмма.

— Господи боже мой!— вскричала Берта.— Родила ребенка, так корми его, не мори голодом. Я тебе говорила: ровно через два часа, а сейчас уже три прошло. Возьми его, бедненького, хлеб я сама дорежу.— Она нагнулась, любуясь пухленьким здоровым младенцем. Невозможно было не улыбнуться ему, не дотронуться пальцем до его щечки, не покачать ему головой, воркуя. Наконец она оторвалась от него и взяла у сестры хлеб. Темноликая поднялась и отдала ребенка матери. Эмма склонилась над сыном и дала ему грудь. Она смотрела на него и ненавидела, он был символ ее позора, но стоило ей прикоснуться к его тельцу, и любовь обжигала ее как огонь.

— Наверное, уж не придет он,— несмело сказал отец, взглядывая на часы.

— Глупости, папа! Часы спешат, сейчас всего половина пятого! Зря ты волнуешься.— И Берта продолжала делать бутерброды.— Откройте банку с грушевым компотом,— попросила она темноликую гораздо более мягким тоном и вышла в соседнюю комнату.

Как только она скрылась, старик повторил:

— Если бы он собирался прийти, то уж давно бы был здесь.

Поглощенная ребенком Эмма ничего не ответила. С тех пор, как она покрыла себя позором, отец перестал замечать ее.

— Придет, никуда не денется!— заверила его соседка.

Через несколько минут в кухню вбежала Берта, срывая на ходу фартук. Зашелся лаем пес. Берта отворила дверь, прикрикнула на собаку и потом сказала:

— Не бойтесь, мистер Кендел, он не тронет.

— Благодарю вас,— произнес звучный мужской голос;

звякнул приставленный к стене велосипед. Вошел священник — худой, ширококостный, некрасивый, нервный — и сразу направился к отцу.

— Э-э... ну как вы себя чувствуете?— спросил он мягким, бархатным голосом, глядя на не оправившегося после паралича огромного старика шахтера.

Говорил он очень приветливо, но словно бы плохо видел собеседника, словно бы тот расплывался у него перед глазами.

— Вы поранили руку?— с участием спросил он, заметив белую повязку.

— А, пустяки, просто уронил кусок угля и схватился рукой за плиту. Я думал, ты уж не придешь.

И обращение на «ты», и упрек были неосознанной мезтью. Священник улыбнулся снисходительно и печально. Он весь излучал рассеянную доброту. Вот он повернулся к молодой матери, и она вспыхнула и нахмурилась, потому что ее опозоренная грудь была раскрыта.

— А как вы?— спросил он очень бережно и мягко, точно говорил с больной, которую нельзя волновать.

— Хорошо,— ответила она и неловко пожала ему руку, не поднимаясь с места и пряча лицо, чтобы скрыть гнев, который в ней поднялся.

— Да... да...— Он перевел близорукий взгляд на ребенка, жадно сосущего налитую грудь.— Да, да...— Видно, он был поглощен какими-то своими мыслями.

Очнувшись наконец, он рассеянно пожал руку темнолицой соседке.

Все двинулись в соседнюю комнату, только священник нерешительно шагнул к своему больному, старому дьякону, желая помочь.

— Спасибо, я сам,— сварливо отозвался отец.

Уселись за стол. Каждый был отчужден друг от друга, замкнут в себе. Ужин был подан в столовой, просторной безобразной комнате, считавшейся парадной.

Хильда появилась последней, и сухопарый, нескладный священник поднялся со стула, здороваясь с ней. Семья эта

внушала ему страх — и богатый старик отец, и его строптивые, необузданные дети. Но Хильду они уважали. Она одна хорошо училась и кончила колледж. Она считала, что ее обязанность — требовать от членов семьи достойного поведения. Ведь Роуботемы не чета обыкновенным, простым шахтерам. Разве чей-нибудь дом сравнится с Вудбайн-коттеджем, в который старик отец вложил душу? Она, Хильда, — учительница с дипломом колледжа; она полна решимости поддержать честь дома невзирая на удары судьбы.

Ради торжественного случая она надела платье из зеленого муслина. Но она была слишком худа, из выреза платья жалко выступала тонкая шея. И все же священник поклонился ей чуть ли не благоговейно, и она с важным видом села к подносу. В дальнем конце стола сидел отец, большой, громоздкий, скрюченный болезнью. Рядом с ним младшая дочь качала раскапризничавшегося сына. Тощий священник неловко примостился между Хильдой и Бертой.

Стол был заставлен закусками — консервированные фрукты, консервированная лососина, ветчина, пирожные, печенье. Мисс Роуботем зорко следила, чтобы все шло как положено: она сознавала важность происходящего. Молодая мать, ради которой и было устроено торжество, ела с угрюмым и смущенным видом и хмуро улыбалась своему ребенку, улыбалась украдкой и против воли, когда он начал бить по ее коленям своими ручками и ножками. Берта, властная и резкая, была поглощена ребенком. Сестру она презирала и обращалась с ней как с последней тварью, но ребенок был для нее светом в окошке. Мисс Роуботем угощала всех и поддерживала светскую беседу. Руки ее трепетали, она говорила нервно, волнуясь, как бы выстреливая слова короткими очередями. К концу ужина разговор иссяк. Старик вытер губы красным носовым платком и, оставив в пустоту голубые глаза, заговорил — с трудом, косноязычно, обращаясь к священнику:

— Ну вот, сударь... мы пригласили вас окрестить этого младенца, и вы пришли, благодарим покорно. Не мог я допустить, чтобы божий младенец остался некрещеным, а не

сти его в церковь они не желают... — Казалось, он ушел в свои мысли. — И вот мы, — вновь заговорил он, — и вот мы попросили вас прийти и окрестить его у нас. Нам нелегко, не думайте, — нам очень трудно. Мать наша померла, я вон совсем сдал. Тяжело оставлять дочку, когда с ней приключилась такая беда, но, видно, так уж господь судил, на все его воля, и роптать грех. Одно утешение: они никогда не будут нуждаться в куске хлеба, и мы благодарны за это господу.

Пока он говорил, мисс Роуботем, единственный образованный человек в семье, сидела точно каменная, жестоко страдая. Ее переполняло столько разных чувств, что она растерялась. Она ощущала, как мучительно стыдно ее младшей сестре, и на миг в ней вспыхнула нежность к ребенку, желание защитить его и его мать; религиозность отца вызывала у нее недоумение; как ни горько было сознавать, на семью легло пятно, теперь люди вправе указывать на них пальцем. Но все в ней бунтовало против того, что говорил отец. Испытание оказалось поистине тяжким.

— Трудно вам, — начал священник своим мягким, бархатным голосом, медленно и отрешенно. — Да, сегодня вам тяжело, но исполнится срок, и господь вас утешит. Ребенок родился на свет, возрадуемся же и возвеселимся. Если же кто-то из нас согрешил, очистим сердца наши перед господом...

Он говорил, говорил, говорил. Молодая мать подняла хнычущего ребенка, и он уткнулся личиком в ее распущенные волосы. Она была оскорблена, хмурое лицо сердито горело. Но руки, с нежностью сжимающие тельце ребенка, были прекрасны. Сантименты, которые развели вокруг них, приводили ее в бешенство.

Мисс Берта поднялась и вышла в кухню, потом вернулась, держа в руках фарфоровую миску с водой, и поставила ее на стол среди чашек.

— Ну вот, можно приступать, — сказал отец, и священник начал службу. Берта была крестная мать ребенка, старик отец и священник — крестные отцы. Старик сидел

потупив голову. Всех охватило волнение. Мисс Берта взяла ребенка и передала его священнику. Этот высокий некрасивый мужчина светился неземной любовью. Он никогда не соприкасался с жизнью, и женщины представлялись ему не существами из плоти и крови, а какими-то библейскими образами. Он спросил, какое имя выбрали ребенку, и старик с гордостью вскинул голову.

— Джозеф Уильям, в мою честь,— проговорил он срывающимся голосом.

— Нарекаю тебе имя Джозеф Уильям...— торжественно произнес странно глубокий, звучный голос священника. Ребенок притих.— Вознесем же молитву!— Теперь все почувствовали облегчение. Они опустились на колени возле своих стульев, все, кроме молодой матери, которая спрятала лицо, склонившись над ребенком. Нерешительно, как бы преодолевая усилие, священник начал читать молитву.

И в эту минуту на дорожке затопали тяжелые шаги, возле окна они умолкли. Подняв глаза, молодая мать увидела своего брата — весь черный под слоем угольной пыли, он глядел на них через стекло с усмешкой. Его красный рот был глумливо искривлен; над почерневшим лбом горели белокурые волосы. Он поймал взгляд сестры и ухмыльнулся. Потом черное лицо исчезло. Брат вошел в кухню. Девушка с ребенком сидела не шевелясь, но в сердце ее кипела злоба. Теперь и она ненавидела молящегося священника, ненавидела глупый обряд, из-за которого все так расчувствовались, люто ненавидела своего брата. И в этой злобе, скованная бессилием, она сидела и слушала священника.

Вдруг начал молиться отец. Услышав знакомый громкий голос, тянущий бессвязные слова, она замкнулась в себе, словно бы даже оглохла. Соседи говорили, что их отец впал в детство. Она тоже считала отца слабоумным и чуралась его.

— Господи, услышь нашу мольбу, не оставь этого младенца,— взывал старик.— Ибо нет у него отца. Но что земной отец в сравнении с тобою, господи? Твой это сын, твое

дитя. Разве есть у человека иной отец, кроме тебя, господи? Когда человек называет себя отцом, то истинно говорю: он заблуждается. Ибо отец — это ты, господи. Избавь же нас от гордыни, чтобы не считали своих детей своими. Нет у этого ребенка отца на земле, ты — его отец, господи. Пусть он растет под твоим покровительством, господи. Я всегда стоял между тобой и моими детьми, я покорил их моей воле; да, я стоял между моими детьми и тобой, и я отвратил их от тебя, потому что они были мои. И они выросли искривленные, в том моя вина. Господи, кто их отец, как не ты? А я встал между вами, и из-за меня они точно растения под камнем. А если бы не я, господи, они могли бы быть как деревья под солнцем. Да, господи, я признаюсь: я причинил им зло. Лучше бы им совсем не знать отца. Ни один человек не может быть отцом, только ты, господи. Без тебя они не могут вырасти, а я им только мешал. Вознеси же их, господи, исправь зло, которое я им причинил. И пусть этот младенец растет, как ива, посаженная при потоках вод, пусть он не ведает иного отца, кроме тебя, господи. Как бы я желал, чтобы и мои дети были как он, чтобы и у них не было иного отца, кроме тебя. Ибо я был как мельничный жернов у них на шее, и вот они выросли и в злобе своей проклинают меня. Но пощади меня, господи, возвьсь их души...

Коленопреклоненный священник в замешательстве слушал исповедь отца, но не понимал его, ему были неведомы отцовские чувства. Одна только мисс Роуботем кое-что поняла. Сердце ее судорожно забилося, по груди разлилась боль. Младшие сестры стояли на коленях отчужденные, ожесточившиеся, глухие. Берта думала о ребенке, молодая мать — об отце своего ребенка, которого она ненавидела. В чулане раздался грохот. Младший сын шумел нарочно, наливая себе воды помыться, и в бешенстве бормотал:

— Старый косноязычный дурак, совсем из ума выжил!

И все время, что отец молился, в душе сына клокотала ярость. На столе лежал бумажный пакет. Он взял его в руки и прочел: «Джон Берримен. Хлеб, булки, печенье».

Лицо его искривилось в усмешке. Отец ребенка был подручным пекаря у Берримена. В столовой отец все молился. Лори Роуботем собрал края пакета, надул его и хлопнул по пакету кулаком. Раздался оглушительный треск. Лори усмехнулся. Но его жег стыд, и было страшно гнева отца.

Отец оборвал молитву, все поднялись с колен. Молодая мать вошла в чулан.

— Что ты делаешь, дурак?

Молоденький шахтер взял ребенка за подбородок и запел:

Пекарь, пекарь, мой дружок,
Испеки мне пирожок,
В печку сунь его скорей —
Будет все, как у людей.

Мать рванула сына прочь от него.

— Заткнись! — крикнула она, заливаясь краской.

Он оскалил в ухмылке белые зубы за красными, с ввевшейся угольной пылью губами.

— Сейчас получишь по зубам, — прошипела мать ребенка. Брат снова запел, она размахнулась и ударила его.

— Что вы тут не поделили? — спросил отец, входя в чулан на своих нетвердых ногах.

Брат снова запел. Сестра стояла с перекошенным от бешенства лицом.

— Господи, неужто тебя трогают такие пустяки? — резко спросила старшая мисс Роуботем мать ребенка, Эмму. — Нет, видно, нрав у тебя не исправился.

Вошла мисс Берта и взяла у сестры ее пухленького, хорошенького сына.

Отец сел в кресло, громоздкий, равнодушный, в глазах пустота, — старая развалина. Он не вмешивался в дела детей, он был немощен и дряхл. Но жила в нем вопреки всему какая-то сила, точно проклятье. Самый распад его держал детей в его власти, притягивая точно магнит. Эти останки все еще царили в доме, даже разлагаясь, они довели над их жизнью. Да дети по сути еще и не жили; их всегда сдер-

живала, сковывала его жизнь, его воля. Они не успели стать людьми.

На следующий день после крестин он добрел, волоча ноги, до крыльца и громко сказал, все еще радуясь жизни:

— Красота-то какая, маргаритки цветут, смеются, утро славят.

И дочери сжались в угрюмой злобе.

Тень в розовом саду

У окна красивого домика на берегу моря сидел молодой невысокий человек и пытался убедить себя в том, что читает газету. Было около половины девятого утра. За окном головки вьюнков свешивались в утреннем свете солнца, точно склоненные маленькие огненные фиалы. Молодой человек поглядел на стол, потом — на часы с боем, потом — на свои большие серебряные часы. Лицо его приняло выражение бесконечного терпения. Затем он встал и принялся задумчиво разглядывать развешенные по стенам комнаты картины, с особым, но неприязненным вниманием задержавшись на «Загнанном олене». Попробовал приподнять крышку пианино, но обнаружил, что оно заперто. Заметив в маленьком зеркальце свое отражение, подергал темный ус, и живой интерес вспыхнул в его глазах. Наружностью он не обижен. Он подкрутил ус. Невысок ростом, зато подвижен и энергичен. Собственной физиономией он остался доволен, но, когда отвернулся от зеркала, в выражении его лица сквозила жалость к себе.

В подавленном настроении он отправился в сад. Его пиджак, однако, не выглядел удручающе. Пиджак был новый, нарядный, он ловко сидел на уверенном теле. Молодой человек обозрел пышно разросшееся около лужайки дерево айланта, затем не торопясь двинулся к следующему объекту. Усыпанная красно-бурыми плодами корявая яблоня являла собой более обнадеживающее зрелище. Оглядевшись по

сторонам, он сорвал яблоко и, повернувшись спиной к дому, решительно и резко откусил. К его удивлению, яблоко оказалось сладкое. Он откусил еще раз. Потом опять повернулся и уставился на окна спальни, выходящие в сад. Он вздрогнул, увидев женскую фигуру, но то была всего лишь его жена. Ее взгляд был устремлен вдаль, на море, по-видимому, она не замечала его.

Минуту-другую он пристально рассматривал ее. Миловидная женщина, она выглядела старше его, довольно бледная, но здоровая на вид, с исполненным страстного томления лицом. Ее роскошные, с рыжеватым отливом волосы волнами вздымались надо лбом. Она неотрывно глядела вдаль, на море, и, казалось, не имела ничего общего ни с мужем, ни с его миром. Мужа задевало, что, погруженная в раздумье, она продолжала не замечать его; он нарвал коробочек мака и бросил их в окно. Она вздрогнула, взглянула на него с дикой улыбкой и вновь отвела взор. Затем почти тотчас же отошла от окна. Он направился в дом, ей навстречу. У нее была великолепная горделивая осанка, одета она была в платье из мягкого белого муслина.

— Я уж заждался,— сказал он.

— Меня или завтрака?— игриво спросила она.— Ты же помнишь, мы заказали на девять часов. Я думала, после путешествия ты мог бы и поспать.

— Ты же знаешь, я всегда просыпаюсь в пять и после шести больше не могу оставаться в постели. Валяться в постели в такое утро — все равно что в шахте сидеть.

— Вот уж не думала, что ты станешь здесь вспоминать шахту.

Она расхаживала по комнате, осматривая ее, разглядывая безделушки под стеклянными колпаками. Стоя неподвижно на коврике перед камином, он с некоторым беспокойством и с неодобрительной снисходительностью наблюдал за ней. Осмотрев апартаменты, она передернула плечами.

— Ну,— сказала она, беря его под руку,— давай, пока миссис Коутс не принесет завтрак, выйдем в сад.

— Надеюсь, она поторопится,— произнес он, потягивая ус.

Она рассмеялась коротким смешком и, выходя из комнаты, оперлась на его руку. Он закурил трубку.

Когда они спустились с лестницы, в комнату вошла миссис Коутс. Очаровательная старая дама, державшаяся совершенно прямо, поспешила к окну, чтобы получше разглядеть постояльцев. Ее фарфорово-голубые глаза сверкали, пока она наблюдала, как юная пара шла по дорожке, как легко и уверенно шагал он, поддерживая под руку жену. Хозяйка заговорила сама с собой на мягком йоркширском диалекте:

— По росту как раз вровень. По-моему, она не вышла б за человека, который ниже ростом, хотя в остальном он ей ровня.

Тут вошла ее внучка и поставила на стол поднос. Девочка подошла к старушке.

— Он ел яблоки, ба,— сказала она.

— Да, моя ласточка? Если ему нравится, так чего ж, пускай себе.

В саду молодой, не обиженный наружностью человек с нетерпением прислушивался к позвякиванию чашек. Наконец чета приступила к завтраку. Он принялся есть, потом на миг остановился и сказал:

— Ты считаешь, что здесь лучше, чем в Бридлингтоне?

— Да,— сказала она,— неизмеримо! К тому же здесь я дома — для меня это не просто какая-то незнакомая деревушка на берегу моря.

— Сколько ты здесь прожила?

— Два года.

Он сосредоточенно жевал.

— Мне думалось, ты скорее предпочтешь поехать в какое-нибудь новое место,— произнес он наконец.

Она сидела совершенно безмолвно, потом осторожно пустила пробный шар.

— Почему?— спросила она.— Ты думаешь, мне здесь будет неприятно?

Он рассмеялся, успокаивая ее, густо намазывая хлеб апельсиновым джемом:

— Надеюсь, приятно.

Она опять не обратила никакого внимания на его слова.

— Но, пожалуйста, ничего не говори об этом в деревне, Фрэнк,— сказала она небрежно.— Не говори, кто я или что я прежде жила здесь. Нет никого, с кем бы мне особенно хотелось повидаться, а если меня узнают, мы никогда не сможем чувствовать себя свободно.

— Тогда зачем ты сюда приехала?

— Зачем? Неужели тебе не понятно зачем?

— Если ты ни с кем не хочешь знаться — нет.

— Я приехала повидать это место, а не людей.

Больше он ничего не сказал.

— Женщины,— говорила она,— не похожи на мужчин. Не знаю, отчего мне хотелось приехать... Но я приехала.

Она заботливо налила ему еще одну чашку кофе.

— Только,— продолжала она,— не говори обо мне в деревне.— Она неуверенно засмеялась.— Знаешь, не хочу, чтоб ворошили мое прошлое.

И она кончиком пальца стала перегонять по скатерти крошки.

Он пил кофе и смотрел на нее; обсосав усы и поставив чашку, он флегматично заметил:

— Бьюсь об заклад, у тебя в прошлом немало отыщется.

Она смотрела на скатерть с немного виноватым выражением, которое льстило ему.

— Ну,— сказала она ласково,— так ты меня не выдашь в деревне, кто да что я, нет?

— Нет,— со смехом сказал он, успокаивая ее.— Не выдам.

Он был доволен.

Она ничего не ответила. Через минуту-другую она подняла голову:

— Мне нужно договориться с миссис Коутс и сделать разные дела. Так что сегодня утром лучше отправляйся гулять один. Обед у нас будет в час.

— Но ты не можешь договариваться с миссис Коутс целое утро,— сказал он.

— Ну и что ж... потом мне надо написать письма, надо вывести пятно с юбки. Сегодня утром у меня масса всяких дел. Лучше отправляйся один.

Он догадался, что она хочет избавиться от него, так что, когда она поднялась наверх, взял шляпу и, сдерживая возмущение, поплелся к скалам.

Вскоре вышла и она. На ней была шляпа с розами, поверх белого платья был наброшен длинный кружевной шарф. Заметно нервничая, она раскрыла зонтик от солнца, лицо ее было наполовину скрыто падавшей на него цветной тенью. Она шла по узкой дорожке, выложенной брусчаткой, истертой до основания башмаками рыбаков. Казалось, она сторонилась окружения, словно спасаясь в легком полумраке своего зонтика.

Миновав церковь, она пошла по проулку, пока не достигла высокой каменной ограды, тянувшейся вдоль обочины дороги. Она медленно пошла вдоль ограды и остановилась наконец у открытой калитки, проем которой светился, словно само воплощение света на темной стене. Там, в волшебном мире за калиткой, на залитом солнцем дворе, на синей и белой гальке, которой был вымощен двор, лежали причудливые тени, за ним пылала зелень лужайки, где стояло, сверкая по краям, лавровое дерево. Она на цыпочках, нервно вошла во двор, поглядывая на погруженный в тень дом. Незавешенные окна казались черными и безжизненными, дверь в кухню была открыта. В нерешительности она сделала шаг вперед, затем еще, сгорая от нетерпения, устремляясь в сад за домом.

Она добралась почти до угла дома, когда среди деревьев раздались тяжелые, с хрустом шаги. Показался садовник. Он держал плетеный поднос, по которому раскатывались крупные темно-красные ягоды переспелого крыжовника. Двигался он медленно.

— Сегодня сад закрыт,— сказал он спокойно миловидной женщине, которая застыла, готовая к отступлению.

От удивления она с минуту молчала. Как мог он вообще открываться для публики?

— А когда он открыт?— быстро сообразив, спросила она.

— Пастор пускает посетителей по пятницам и вторникам.

Она стояла неподвижно, соображая. Как странно, подумать только, пастор открывает свой сад для публики!

— Но сейчас все пойдут в церковь,— сказала она, пытаюсь уговорить садовника.— Здесь никого не останется, не так ли?

Он пошевелился, и крупные крыжовины покатались по подносу.

— Пастор живет в новом доме,— сказал он.

Оба стояли неподвижно. Ему было неловко просить ее уйти. Наконец она обернулась к нему с обезоруживающей улыбкой.

— Можно я одним глазком взгляну на розы?— уговаривала она с милым упрямством.

— Пожалуй, что ничего особенного не случится,— сказал он, отступая в сторону,— долго вы не пробудете...

Она двинулась вперед, мгновенно позабыв о садовнике. Лицо ее сделалось напряженным, движения — порывистыми. Оглядевшись, она заметила, что все окна, выходящие на лужайку — ни одно не занавешено,— зияли темнотой. Дом выглядел запущенным, словно им еще пользовались, но уже не жили в нем. Как будто тень пробежала по ней. Она пересекла лужайку, направляясь в сад, прошла через цветные воротца — арку из вьющихся пунцовых роз. Вдалеке расстилалась в утреннем тумане нежная голубизна моря с заливом и неясно чернел скалистый мыс, далеко врезаюсь меж синевой неба и синевой воды. Лицо ее просияло, преобразенное болью и радостью. У ее ног сад круто спускался вниз, утопая в цветах; внизу за ним темнели макушки деревьев, скрывавшие ручеек.

Она повернула в сад, сверкавший вокруг нее залитыми солнцем цветами. Она знала один уголок, где под тисом стояла скамья. Дальше начиналась терраса, сверкавшая громадным разливом цветов, по обе стороны сада от нее вели

вниз две дорожки. Она сложила зонтик и медленно пошла среди этого моря цветов. Со всех сторон ее окружали кусты роз, огромные куртины роз, розы, свисавшие или каскадом ниспадавшие с подпорок, розы, застывшие на кустах. Если она поднимала голову, за садом как бы уходили вверх море и мыс.

Неторопливо шла она по дорожке, медля, подобно человеку, возвратившемуся в свое прошлое. Неожиданно она прикоснулась к тяжелым пунцовым розам, нежным, как бархат, задумчиво, безотчетно касаясь их,— так мать иной раз ласкает ручку ребенка. Она слегка наклонилась вперед, чтобы вдохнуть их аромат. Потом рассеянно побрела дальше. Порой какая-нибудь огненная, не имеющая запаха роза заставляла ее остановиться. Она стояла и разглядывала цветок, словно была не в силах понять этого. Она вновь прониклась тем же нежным ощущением близости, стоя перед грудой опавших ярко-розовых лепестков. Потом ее изумила белая роза, в середине зеленоватая, как лед. Так, не спеша, словно трогательная белая бабочка, продвигалась она по дорожке, пока не вышла наконец к маленькой террасе, сплошь усеянной розами. Казалось, их залитая солнцем, веселая толпа заполняет все пространство. Их было так много, так они были ярки, что она почувствовала смущение. Казалось, они разговаривали и смеялись. Словно ее окружала незнакомая толпа. Это ее возбуждало, не позволяя замкнуться в себе. От волнения она покраснелась. Воздух был напоен ароматом.

Торопливо прошла она к небольшой скамье среди белых роз и села. Ее алый зонтик выделялся резким цветным пятном. Она сидела совершенно неподвижно, чувствуя, как исчезает, растворяется ее собственное существо. Она такая же роза, роза, которой не удастся никак расцвести, но напряжение не покидает ее. На ее колено, на белое платье опустилась мошка. Она наблюдала за мошкой, словно та опустилась на розу. Она перестала быть собой.

Она мучительно вздрогнула — по ней скользнула какая-то тень, и перед ее взором возникла фигура. Мужчина — он

был в домашних туфлях — подошел совсем неслышно. На нем был полотняный пиджак. Утро было разбито, очарование улетучилось. Она боялась только того, что начнутся расспросы. Он двинулся вперед. Она встала. Потом, когда она увидела его, силы оставили ее, и она вновь села на скамью.

То был молодой человек с военной выправкой, слегка расплывший. Черные, блестящие, гладко зачесанные волосы, нафабранные усы. Но в походке чувствовалась какая-то расхлябанность. Бледная, с побелевшими губами, она подняла взор и увидела его глаза. Они были черны и незряче устремлены в пространство. Нечеловеческие глаза. Он приближался.

Он пристально посмотрел на нее, механически отдал честь и опустился рядом с ней. На скамье он пододвинулся, положил ноги одна на другую и голосом джентльмена, голосом военного, произнес:

— Я вам не помешаю — не так ли?

Она сидела безмолвная и беспомощная. Одет он был безукоризненно — во все темное и полотняный пиджак. Она не могла пошевелиться. Когда она увидела его руки и на мизинце кольцо, которое она так хорошо знала, на нее словно нашло оцепенение. Весь мир пришел в беспорядок. Она сидела совершенно беспомощная. Ибо его руки, служившие ей символом страстной любви, а теперь покоившиеся на его сильных ляжках, наполняли ее ужасом.

— Можно мне закурить? — спросил он доверительно, почти таинственно, и рука его потянулась к карману.

Она не могла ответить, но это не имело значения, он пребывал в другом мире. Страстно желая этого, она задавалась вопросом — узнает ли он ее, способен ли он узнать ее. Она сидела, побледнев от страдания. Но она должна была через это пройти.

— Я не захватил табак, — произнес он глубокомысленно.

Она была всецело поглощена им и на его слова не обратила внимания. Может он ее узнать или все прошло? Она сидела не шелохнувшись, застыв в томительном ожидании.

— Я курю «Джон Коттон»,— сказал он,— табак дорогой, я должен во всем экономить. Знаете, пока тянутся все эти иски, я весьма стеснен в средствах.

— Да,— сказала она; сердце ее похолодело, душа оцепенела.

Он встал, небрежно отдал честь и удалился. Она сидела неподвижно. Она видела его фигуру, фигуру, которую она любила со всею страстью: эту аккуратную голову солдата, это великолепное, теперь расплывшееся тело. Это был не он. Ее переполнил неизбывный ужас.

Внезапно он возник вновь: он держал руку в кармане пиджака.

— Вы не возражаете, если я закурую?— спросил он.— Быть может, я смогу все уяснить.

Он снова сел рядом с ней, набивая трубку. Она наблюдала за его руками с великолепными сильными пальцами. Они у него всегда слегка подрагивали. Тогда, еще давно, это ее удивляло в таком здоровом человеке. Теперь движения его были неточны, и табак неряшливо свисал из трубки.

— У меня дело в суде, которым я должен заниматься. В судебных делах все всегда так неопределенно. Я говорю своему адвокату четко и определенно, чего я желаю, но никогда не могу добиться, чтобы это было исполнено.

Она сидела и слушала, как он говорит. Только это был не он. Те же руки, что она целовала, те же странные блестящие черные глаза, что она любила. И все же не он. Она сидела неподвижно, в молчании и ужасе. Он уронил кيسет с табаком и шарил по земле, стараясь найти его. И все же она должна ждать — может, он узнает ее. Отчего она не может уйти?! Мгновение спустя он поднялся.

— Мне нужно немедленно идти. Прибывает сова.— Затем доверительно добавил:— На самом деле его зовут не сова, но я так его называю. Нужно пойти посмотреть, прибыл ли он.

Она тоже поднялась. Он в нерешительности стоял перед ней. Статный мужчина с военной выправкой и сумасшедший. Ее глаза все вглядывались и вглядывались в него, стараясь

понять, узнает ли он ее, сможет ли она отыскать его.

— Вы не знаете меня?— спросила она в душевном ужасе, оставшись одна.

Он обернулся и странно посмотрел на нее. Ей пришлось выдержать эти глаза. Они просияли ей, но в них не было разума. Он приближался к ней.

— Да, я действительно знаю вас,— сказал он напряженно, сосредоточенный, но безумный, приближая к ней свое лицо. Превеликий ужас объял ее. Сумасшедший, физически сильный человек подступал к ней чересчур близко.

Торопливыми шагами подходил какой-то человек.

— Сегодня утром сад закрыт для посещений,— сказал он.

Душевнобольной остановился и посмотрел на него. Санитар прошел к скамье и подобрал оставшийся там кисет с табаком.

— Не забывайте свой табак, сэр,— сказал он, направляясь с кисетом к джентльмену в полотняном пиджаке.

— Я как раз просил даму остаться с нами на ленч,— вежливо ответил тот.— Это мой друг.

Женщина повернулась и, ничего не различая, стремительно пошла из сада среди залитых солнцем роз, мимо дома со слепыми, темными окнами, через усыпанный морской галькой двор и вышла на улицу. Торопливо, ничего не различая, но уверенно шла она вперед, не разбирая дороги. Возвратившись домой, она тотчас поднялась наверх, сняла шляпу и села на кровать. Казалось, у нее внутри лопнула какая-то перепонка, и она перестала быть организмом, способным думать и чувствовать. Она сидела, уставившись в окно: на морском ветру медленно колыхалась веточка плюща, вверх, вниз. Воздух отсвечивал жутковатым сияньем озаренного солнцем моря. Она сидела абсолютно неподвижно и безучастно.

Спустя какое-то время она услышала, как этажом ниже тяжело топчет муж, и, ничуть не изменившись, стала следить за его передвижениями. Услыхала, как его довольно безрадостные шаги вновь удалились из дома, потом услыша-

ла его голос, говоривший, вопрошавший, обрадованный, и его приближающиеся твердые шаги.

Он вошел раскрасневшийся, в хорошем расположении духа, с видом самодовольства, ощущавшегося в его подвижной фигуре. Она неуклюже зашевелилась. Приближение приостановилось.

— В чем дело?— спросил он с легким нетерпением в голосе.— Тебе нехорошо?

Для нее это была пытка.

— Нет, ничего,— ответила она.

Его темно-карие глаза исполнились недоумения и гнева.

— В чем дело?— произнес он.

— Ни в чем.

Он несколько раз прошелся по комнате и с упрямым видом остановился, глядя в окно.

— Ты на кого-то наткнулась?— спросил он.

— Ни на кого, кто меня знает,— ответила она.

У него задергались руки. Он выходил из себя, оттого что она совершенно не замечала его присутствия, как если бы его вообще не существовало. Не в силах сдерживаться далее, он наконец, обернувшись к ней, спросил:

— Тебя что-то расстроило, что ли?

— Нет, отчего?— сказала она без всякого выражения. Для нее он существовал только как раздражитель.

Гнев его возрастал, раздувая на шее вены.

— Так кажется,— сказал он, сделав усилие, чтобы не выказать гнева, поскольку он выглядел беспричинным. Удалившись, он спустился вниз. Она неподвижно сидела на кровати и теми остатками чувств, что сохранились в ней, испытывала неприязнь к нему за то, что он терзает ее. Время шло. До нее доносился запах обеда — накрывали на стол,— дым трубки мужа из сада. Но она не могла пошевелиться. В ней не было жизни. Раздался звон колокольчика. Она услышала, как он вошел в дом. Потом вновь поднялся по лестнице. С каждым шагом сердце ее сжималось. Он распахнул дверь.

— Обед на столе,— сказал он.

Было трудно выносить его присутствие, потому что он станет приставать к ней. Она не могла вернуться к жизни. Одеревенело поднялась и пошла вниз. Ни есть, ни говорить за обедом она не могла. Сидела с отсутствующим видом, сокрушенная, совершенно безжизненная. Он старался держаться так, будто ничего не случилось. Но наконец в ярости замолк. При первой же возможности она вновь поднялась наверх и заперла дверь спальни. Ей нужно побыть одной. Он со своей трубкой отправился в сад. Сердце его наполнял и омрачал с трудом сдерживаемый гнев — она показывала, что она выше его. По-настоящему, хотя он и не подозревал, он так никогда и не покорила ее, она никогда его не любила. Вышла за него из милости. Это-то и сбило его с толку. Он только лишь электрик, работает в шахте — она выше его. Он ей уступал. Но все это время его душу грызли обида и унижение, потому что она не принимала его всерьез. И теперь поднялось все его возмущение ею.

Он повернулся и пошел в дом. В третий раз услышала она, как он поднимается по лестнице. Сердце ее замерло. Он повернул ручку и толкнул дверь — заперта. Он проделал это опять, посильнее. Сердце ее замирало.

— Ты заперла дверь?— спросил он негромко, чтобы не услышала хозяйка.

— Да. погоди минутку.

Она встала и отперла замок, опасаясь, как бы он не сорвал его. Она ненавидела его оттого, что он не оставляет ее в покое. Он вошел, зажав трубку в зубах, она вернулась на прежнее место на кровати. Затворив дверь, он остановился к ней спиной.

— В чем дело?— решительно спросил он.

Он опротивел ей. Она не могла на него смотреть.

— Неужели ты не можешь оставить меня в покое?— ответила она, отворачиваясь.

Содрогаясь от унижения, он бросил на нее быстрый взгляд в упор. Потом как будто на миг призадумался.

— С тобой что-то стряслось, правда?— спросил он твердо.

— Да,— сказала она,— но это еще не причина, чтобы мучить меня.

— Я не мучаю тебя. В чем дело?

— Зачем тебе знать?— воскликнула она с ненавистью и отчаянием.

Что-то хрустнуло. Он вздрогнул и подхватил выпавшую изо рта трубку. Потом вытолкнул языком откушенный от нее кусок мундштука, вынул его изо рта и принялся разглядывать. Потом загасил трубку и отряхнул пепел с жилета. И затем уже поднял голову.

— Я хочу знать,— сказал он. Его окаменевшее, обезображенное лицо было землисто-бледно.

Они не смотрели друг на друга. Она знала, что сейчас он распалится. Сердце его тяжело билось. Она ненавидела его, но не могла сопротивляться ему. Внезапно она подняла голову и накинулась на него.

— Какое у тебя право на то, чтобы знать?— спросила она.

Он посмотрел на нее. Ее до боли поразили его измученные глаза, его окаменевшее лицо. Но ее сердце быстро ожесточилось. Никогда она его не любила. И сейчас не любит.

Но внезапно она вновь быстро вскинула голову, подобно существу, пытающемуся освободиться. Ей нужно от этого освободиться. Не столько от него, сколько от этого, от чего-то, что она сама на себя взвалила и что так ужасно связывает ее. И поскольку связь эту она закрепила сама, избавиться от нее очень трудно. Но сейчас она ненавидела все и жаждала разрушения. Он стоял спиной к двери, не отступая, словно собирался вечно противоборствовать ей, покуда она не прекратит существования. Она посмотрела на него. Глаза ее были холодны и исполнены враждебности. Его руки рабочего раскинулись на панелях двери, что была у него за спиной.

— Ты знаешь, что я раньше жила здесь?— начала она жестким голосом, словно желая уязвить его.

Он весь подобрался и утвердительно кивнул.

— Так вот, я была компаньонкой мисс Бёрч из Торрил-Холла... они с пастором были друзьями, а Арчи — сын пастора.

Наступило молчание. Он слушал, не понимая, что происходит. Он не сводил глаз с жены, которая скрючилась на кровати в своем белом платье и старательно сгибала и разгибала его подол. Ее голос был исполнен враждебности:

— Он был офицером — младшим лейтенантом, потом он поссорился с полковником и ушел из армии. Так или иначе, — она дергала подол; муж стоял не шелохнувшись, наблюдая за ее движениями, от которых бешенство разливалось по его жилам, — он страшно любил меня. И я тоже... страшно.

— Сколько ему было лет? — спросил муж.

— Когда — когда я только познакомилась с ним? Или когда он уехал?..

— Когда ты только познакомилась с ним.

— Когда я только познакомилась с ним, двадцать шесть... сейчас... ему тридцать один... почти тридцать два... потому что мне двадцать девять, а он почти на три года старше...

Она подняла голову и посмотрела на противоположную стену.

— И что дальше? — сказал муж.

Она набралась твердости и безжалостно сказала:

— Мы были почти что обручены около года, хотя никто об этом не знал... по крайней мере... об этом поговаривали... но... не объявляли. Потом он уехал...

— Он бросил тебя? — жестоко сказал муж, которому хотелось, причинив ей боль, принудить ее к общению с собой. Сердце ее вскипело от ярости.

— Да, — сказала она тогда, чтобы разозлить его. Он переминался с ноги на ногу, издавая яростное «фф». Какое-то время стояло молчание. — Потом, — продолжала она, и от боли слова ее звучали насмешливо, — он неожиданно отправился воевать в Африку, и чуть ли не в тот самый день,

когда я познакомилась с тобой, мисс Бёрч сообщила мне, что у него был солнечный удар... а два месяца спустя, что он умер.

— Это случилось до того, как ты закрутила со мной?— сказал муж.

Ответа не последовало. Какое-то время оба молчали. А он-то не понимал. Он сощурил глаза.

— Так что ты обозревала места своих прежних шашней?— сказал он.— Вот зачем тебе утром понадобилось идти одной!

Она ничего не отвечала ему. Он прошел от двери к окну. Встал, заложив сзади руки, спиной к ней. Она смотрела на него. Его руки показались ей грубыми, затылок — плебейским.

В конце концов, чуть не против своей воли, он повернулся и спросил:

— Как долго у вас с ним продолжалось?

— Что ты хочешь сказать?— холодно ответила она.

— Я хочу сказать, как долго у вас с ним продолжалось?

Она подняла голову, отвернув от него лицо. Она отказывалась отвечать. Потом сказала:

— Я не знаю, что ты хочешь сказать этим «продолжалось». Я любила его с первых дней нашего знакомства... это было через два месяца после того, как я поселилась у мисс Бёрч...

— И, как ты полагаешь, он тебя любил?— язвил он.

— Я знаю, что любил.

— Откуда ты знаешь, если он не пожелал больше знать-ся с тобой?

Последовало долгое молчание, полное ненависти и страдания.

— И как далеко у вас зашло?— спросил он наконец испуганным, сдавленным голосом.

— Мне отвратительны твои вопросы вокруг да около!— воскликнула она, вне себя от его измывательств.— Мы любили друг друга, и мы были любовниками — были. И мне все равно, что ты думаешь,— что тебе за дело до этого?

Мы были любовниками до того, как я вообще познакомилась с тобой...

— Любовниками...,— повторил он, белый от бешенства. — Ты хочешь сказать, что поразвлекалась с военным, а потом заявила ко мне, чтоб я на тебе женился, когда у тебя...

Она сидела, глотая горечь. Наступило долгое молчание.

— Ты хочешь сказать, что тогда ты пошла... на все? — еще не веря, спросил он.

— Ну, а что я еще могу, по-твоему, иметь в виду? — грубо выкрикнула она.

Он съежился, побледнел, как-то обезличился. Наступило долгое, скованное беспомощностью молчание. Казалось, он сделался меньше.

— Ты не подумала сообщить мне все это до того, как я на тебе женился,— наконец произнес он с горькой иронией.

— Ты никогда меня не спрашивал,— ответила она.

— Я никогда не думал, что есть такая необходимость.

— Ну, значит, тебе следовало подумать.

Он стоял с ничего не выражавшим, окаменевшим в почти что детской гримасе лицом, в голове у него роем кружились мысли, сердце обезумело от муки.

Неожиданно она добавила:

— Я сегодня видела его. Он не умер. Он сошел с ума. Муж, пораженный, смотрел на нее.

— Сошел с ума! — произвольно произнес он.

— Помешался,— сказала она. Она чуть не лишилась рассудка, произнося это слово. Наступило молчание.

— Он узнал тебя? — вполголоса спросил муж.

— Нет,— сказала она.

Он стоял и смотрел на нее. Наконец-то он постиг широту разделявшей их пропасти. Она по-прежнему сидела, скорчившись, на кровати. Он не мог приблизиться к ней. Для каждого из них такое соприкосновение с другим было бы осквернением. Нужно, чтобы все уладилось само собой. Оба были настолько потрясены, что личное отпало — в них больше не осталось ненависти друг к другу. Через несколько минут он оставил ее и вышел в сад.

Прусский офицер

I

С рассвета отшагали уже более тридцати километров по белой, раскаленной дороге, время от времени ныряя на мгновение в тень от встречных рощиц, а потом снова погружаясь в слепящий зной. По обе стороны дышала жаром широкая, плоская равнина; под сверкающим небом томительно бежали раскаленные, четко расчерченные темно-зеленые полосы ржи, светло-зеленые — молодых всходов, пары, луга, черные сосновые леса. Но прямо впереди дорога упиралась в горы, бледно-голубые и совершенно неподвижные, сквозь густую дымку на них мягко поблескивал снег. К этим горам двигался и двигался отряд мимо полей ржи и лугов, мимо корявых фруктовых деревьев, посаженных на равном расстоянии вдоль тракта. От темно-зеленой лоснящейся ржи веяло удушливым жаром; горы постепенно приближались, их очертания становились все отчетливее. А ноги солдат нестерпимо горели, волосы под касками взмокли от пота, и лямки вещмешка уже не жгли плеч, только каждое их прикосновение вызывало, напротив, холодное покалывание.

Он безмолвно шагал и шагал вперед, уставясь на круто вздымавшиеся над землей горы — то ли твердь, то ли воздух, — уходившие ввысь гряда за грядой, на небо, на эту преграду с прожилками мягкого снега на бледных голубоватых вершинах.

Сейчас идти было почти не больно. Еще когда выступали, он решил, что не будет хромать. Первые шаги вызвали приступ дурноты, и примерно с милю он едва дышал; капли холодного пота блестели на лбу. Но он продолжал шагать и пересилил себя. В конце концов это всего только синяки! Он рассмотрел их, когда вставал: огромные синяки на задней стороне ляжек! С тех пор как он утром сделал первый свой шаг, он постоянно помнил про эти синяки, пока теперь, когда он подавил боль и взял себя в руки, в груди у

него не образовался плотный горячий ком. Ему казалось, что нечем дышать. Но шаг он держал почти легко.

Когда капитан пил на рассвете кофе, руки его дрожали — денщик въяве видел это опять. И видел в то же время изящную фигуру капитана, гарцующего на лошади впереди, около фермы, великолепную фигуру в светло-голубом мундире с алым кантом; черная каска и ножны сабли блестят металлическим блеском, на шелковистом крупе гнедой лошади темнеют влажные от пота пятна. Денщику казалось, что он привязан к этой фигуре, так стремительно мчавшей верхом; он следовал за ней как тень, немой, неотвязный, проклятый ею. Офицер тоже все время ощущал за спиной тяжелый топот роты, шаг своего денщика среди солдат.

Капитан, высокий мужчина лет сорока, с сединой на висках, с великолепной, изящно сложенной фигурой, был одним из лучших наездников на западе. Денщик, в чьи обязанности входило обтирать его после купания, восхищался отличными мускулами его поясницы и бедер.

В остальном денщик обращал на офицера не больше внимания, чем на себя. Лицо господина он видел редко — он не смотрел на него. У капитана были рыжевато-каштановые жесткие волосы ежиком. Усы он тоже стриг коротко, и они щеточкой топорщились над его полным, плотоядным ртом. Лицо довольно морщинистое, со впалыми щеками. Пожалуй, глубокие эти морщины, эта напряженность вечно сведенного раздражением лба только красили капитана, придавая ему вид человека, который борется с жизнью. Над голубыми глазами, неизменно сверкавшими холодным огнем, кустились светлые брови.

Он был прусский аристократ, надменный и властный, но мать его была польская графиня. Наделав в юности слишком много карточных долгов, он погубил свою армейскую карьеру, да так и остался пехотным капитаном. Женат он никогда не был: этого не позволяло его положение, да и ни одна женщина не подвигла его на это. Досуг он проводил, занимаясь верховой ездой — иногда он принимал участие в скачках на одной из собственных лошадей — и в офицер-

ском клубе. Время от времени он заводил любовницу. Но после подобного приключения возвращался к своим обязанностям с еще более напряженным лицом, с еще более враждебными и раздраженными глазами. С солдатами, однако, он держался бесстрастно, хотя, войдя в раж, превращался в сущего дьявола, так что те, хотя и боялись его, не испытывали к нему особого отвращения. Принимали его как неизбежность.

С денщиком он был поначалу холоден, равнодушен, справедлив: из-за пустяков скандалов не устраивал. Поэтому слуга его не знал о нем практически ничего, за исключением того лишь, какие приказания тот отдаст и каким образом их исполнять, чтоб ему угодить. Это было совсем просто. Потом постепенно произошла перемена.

Денщик, парень лет двадцати двух, был среднего роста, хорошего сложения, с сильными, тяжелыми руками и ногами, смуглой кожей и мягкими черными молодыми усами. В нем было что-то очень теплое и юное. Из-под четко очерченных бровей смотрели темные, ничего не выражавшие глаза, в которых, казалось, никогда не было мысли, и жизнь он воспринимал лишь непосредственно через чувства, действуя, как подсказывает инстинкт.

Постепенно офицер начал ощущать рядом присутствие денщика, его молодой, энергичной, неразмышляющей натуры. Когда парень прислуживал ему, капитан не мог избавиться от смущения, которое вызывало в нем само его присутствие. В парне была какая-то свобода и самодостаточность, в его движениях — нечто такое, что вызывало настороженность пруссака. И это раздражало. Офицер не желал возвращаться к жизни по милости своего слуги. Он легко мог бы сменить денщика, но не стал. Теперь он очень редко смотрел на денщика прямо, отворачивался, словно опасаясь увидеть его. И все же, когда молодой солдат бездумно двигался по квартире, старший наблюдал за ним, отмечая движения сильных молодых плеч под синим сукном, наклон шеи. И это его раздражало. Когда он видел, как молодой, загорелой, по-крестьянски

ладной рукой парень брал булку или бутылку вина, кровь закипала в нем ненавистью или бешенством. Не то чтобы парень был неуклюж — скорее, офицера предельно раздражала слепая, инстинктивная уверенность его движений, как у молодого непуганого животного.

Однажды, когда опрокинулась бутылка вина и по скатерти расплылось красное пятно, офицер, выругавшись, вскочил, и его синеватые, как пламя, глаза на мгновение встретились с глазами сконфузившегося парня. Молодой солдат был потрясен этим взглядом. Он почувствовал, как что-то глубже и глубже проникает в его душу, куда до того никогда ничего не пробивалось. Он был смущен и озадачен. Часть его природной завершенности в себе самом исчезла, уступив место смутному беспокойству. И с этого времени что-то странное, подспудное возникло между двумя этими людьми.

С той поры денщик боялся встретиться по-настоящему взглядом с господином. Его подсознание хранило в памяти стальные голубые глаза и лохматые брови, и он не хотел встречаться с ними снова. Поэтому он всегда смотрел мимо господина и избегал его. С легкой тревогой ждал он, пока пройдут эти три месяца и окончится его срок. Солдат стал чувствовать себя скованно в присутствии капитана и даже больше, чем офицер, хотел, чтобы его оставили в покое, в ни к чему не обязывающем положении слуги.

У капитана он служил уже больше года и знал свои обязанности. Их он исполнял легко, словно то было для него естественно. Он принимал офицера и его приказания как неизбежность, как он принимал солнце и дождь, и прислуживал господину совершенно непринужденно. Лично его это не задевало.

Но теперь, если его насильно втянут в личные отношения с господином, он будет словно пойманное животное; он чувствовал, что надо уходить.

Под воздействием природы молодого солдата закоснелый порядок, достигнутый офицером с помощью дисциплины, пошатнулся, в нем пробудился человек. Но он был аристократ, с узкими, изящными руками и изысканными движе-

ниями, и в его намерения не входило допускать, чтобы кто-то бередил его внутреннее «я». Человек страстного темперамента, он неизменно держал себя в узде. Временами у него случалась дуэль или вспышка гнева перед солдатами. Он знал, что постоянно находится на грани срыва, но твердо хранил верность идее Службы, тогда как молодой солдат, казалось, жил всей полнотою и жаром своей натуры, проявляя ее в каждом своем движении, отмеченном той живостью, что свойственна движениям дикого животного на свободе. И это все больше и больше раздражало офицера.

Помимо воли капитан не мог вернуться к прежней индифферентности в отношении к денщику. Но и оставить его в покое он не мог тоже. Помимо воли он наблюдал за молодым солдатом, приказания отдавал резко, старался как можно дольше занимать его. Иногда он приходил в ярость и измывался над ним. Тогда денщик замыкался, так сказать замыкал слух, и с угрюмым, покрасневшим лицом ждал, покуда не кончится крик. Слова никогда не проникали в его сознание. Из инстинкта самосохранения он сделался неуязвим для чувств господина.

На большом пальце его левой руки был шрам; через костяшку тянулся глубокий рубец. Офицер давно страдал от этого, ему хотелось что-нибудь сделать с этим рубцом. Тем не менее шрам, безобразный, омерзительный, так и оставался на молодой загорелой руке. Наконец сдержанность капитана была сломлена. Однажды, когда денщик расправлял на столе скатерть, офицер прищипил карандашом его палец и спросил:

— Откуда это у тебя?

Парень отпрянул и встал по стойке «смирно».

— Топором, Herr Hauptmann*,— ответил он.

Офицер ждал дальнейших разъяснений. Их не последовало. Денщик вернулся к своим обязанностям. Капитана охватила мрачная ярость. Слуга избегает его! На следующий день ему пришлось собрать всю силу воли, чтобы не смот-

* господин капитан (нем.).

реть на обезображенный шрамом палец. Жаркое пламя бушевало в его крови.

Он знал, что скоро его слуга будет свободен — и будет рад этому. Пока что солдат держался на расстоянии от старшего. Капитан стал безумно раздражителен, не находил покоя в отсутствие солдата, а в его присутствии испепелял его своим истерзанным взглядом. Он ненавидел эти тонкие черные брови над темными, ничего не выражающими глазами, его приводили в ярость свободные движения этих ладных рук и ног, которые не могла сковать никакая армейская муштра. Он стал груб и жестоко измывался над парнем, пуская в ход презрение и сарказм. Молодой солдат становился лишь все молчаливее, все безучастнее.

— Среди каких скотов ты воспитывался, что не можешь смотреть прямо? Смотри мне в глаза, когда я с тобой разговариваю!

И солдат обратил на лицо капитана свои темные глаза, но они были незрячи: неподвижно уставился, еле приметно скосив в сторону глаза, лишенные зрения, воспринимаемая голубизну глаз господина, он отстранял его взгляд. Тот побледнел, и его рыжеватые брови дернулись. Он механически отдал распоряжение.

Однажды старший запустил в лицо молодого тяжелую армейскую перчатку. С наслаждением увидел он, как сверкнули навстречу ему черные глаза — так вспыхивает брошенный в огонь пук соломы. Он рассмеялся, и в его смехе слышались легкая дрожь и презрение.

Но оставалось всего только два месяца. Парень инстинктивно старался держаться невозмутимо: старался прислуживать офицеру так, словно перед ним не человек, а абстрактная власть. Его инстинкт подсказывал одно — избегать личного контакта, даже явной ненависти. Но помимо его воли в ответ на страсть офицера ненависть росла. Он, однако, подавлял ее. Вот уйдет он из армии и тогда, возможно, осмелится признать ее. По натуре он был деятелен, у него было много друзей. Он думал о том, какие это удивительно хорошие ребята. Но, сам того не зная, он был одинок. Те-

перь его одиночество усугубилось. Оно поможет ему продержаться до окончания срока. Но офицер, казалось, сходил в своем раздражении с ума, и парень был не на шутку испуган.

У солдата была подружка, девушка, жившая в горах, независимая и простая. Они вместе гуляли, почти не разговаривая. Он ходил с ней не затем, чтобы разговаривать, а чтобы обнимать ее — ради физического контакта. Это его облегчало, было легче не обращать внимания на капитана: он отдыхал, крепко прижав ее к груди. И она, хотя ничего такого не говорила, за тем и приходила к нему. Они любили друг друга.

Капитан догадался об этом и взбеленился от ярости. Теперь парень был завален работой все вечера напролет, и капитан испытывал наслаждение, видя, как мрачнеет выражение его лица. Время от времени глаза мужчин встречались, исполненные у молодого — уныния и мрака, упрямой несокрушимости, у старшего — насмешки и беспокойного презрения.

Офицер прилагал все силы для того, чтобы не признавать овладевшей им страсти. Он не желал знать, что в его чувстве к денщику таится что-то помимо возмущения, какое вызывает у человека глупый, своевольный слуга. Поэтому, оставаясь в собственном сознании абсолютно непогрешимым и в рамках приличий, капитан не пресек того, другого чувства. Однако нервы его не выдерживали. Наконец он ударил солдата пряжкой по лицу. Увидев, как парень, на глаза которого от боли навернулись слезы, а на губах выступила кровь, отшатнулся, он испытал одновременно прилив грубого удовлетворения и стыда.

Но, сказал он себе, никогда прежде он ничего подобного не совершал. Парень вывел его из себя. Очевидно, вконец расшатались нервы. И он уехал на несколько дней с женщиной.

Это была пародия на удовольствие. Он просто не хотел этой женщины. Но он провел с ней весь отпущенный на то срок. По окончании же возвратился, терзаемый раздражением, измученный и несчастный. Проездив весь вечер верхом,

он явился прямо к ужину. Денщика в доме не оказалось. Офицер сидел неподвижно, положив на стол узкие, изящные руки; казалось, кровь свертывается в его жилах.

Наконец вошел слуга. Капитан смотрел на сильное, ловкое, молодое тело, на тонкие брови, на черные густые волосы. За неделю парень вернулся к былому благодушному состоянию. Руки офицера дернулись, словно объятые неистовым пламенем. Парень стоял навывтяжку, не шелохнувшись, замкнувшись в себе.

Ужин проходил в безмолвии. Но денщику, видно, не терпелось. Тарелки у него гремели.

— Ты торопишься?— спросил офицер, рассматривая сосредоточенное, теплое лицо слуги. Тот не отвечал.

— Ты изволишь ответить на мой вопрос?— сказал капитан.

— Слушаюсь, господин капитан,— отвечал денщик, стоя с грудой глубоких армейских тарелок.

Капитан подождал, посмотрел на него и снова спросил:

— Ты торопишься?

— Так точно, господин капитан,— последовал ответ, от которого по телу внимавшего проскочила искра.

— Отчего?

— Я собирался погулять, господин капитан.

— Сегодня вечером ты мне понадобишься.

Мимолетное колебание. Лицо офицера застыло в странном напряжении.

— Слушаюсь, господин капитан,— выдал слуга.

— Ты понадобишься также и завтра вечером — считай, что практически все вечера у тебя заняты до моего особого распоряжения.

Рот с молодыми усами сомкнулся.

— Слушаюсь, господин капитан,— ответил денщик, на мгновение разжимая губы.

Он опять повернул к двери.

— И почему у тебя за ухом торчит карандаш?

Денщик помедлил, потом, не ответив, двинулся дальше. За дверью он опустил горку тарелок, вынул из-за уха огры-

зок карандаша и положил в карман. Он переписывал на открытку стихи, чтобы поздравить свою девушку с днем рождения. Он вернулся и стал убирать со стола. Глаза офицера метались, на губах играла легкая нетерпеливая улыбка.

— Почему у тебя за ухом торчит карандаш?— спросил он.

Денщик взял груду тарелок. Господин стоял у большой зеленой печи с легкой улыбкой на губах, выставив вперед подбородок. Когда молодой солдат увидел офицера, его сердце внезапно окатило жаром. Он словно ослеп. Не ответив, он в оцепенении повернул к двери. В то время как, присев на корточки, он ставил посуду, пинком ноги сзади его швырнуло вперед. Загремели вниз по лестнице тарелки, он уцепился за балясину перил. Пока он пытался подняться, на него снова и снова сыпались тяжелые удары, так что несколько мгновений он беспомощно цеплялся за стояк. Господин стремительно возвратился в комнаты и затворил за собой дверь. Окинув снизу взглядом лестницу, служанка скорчила насмешливую гримасу при виде груды черепков.

Сердце офицера катилось вниз. Он налил себе бокал вина, пролил половину на пол, остальное залпом выпил, прислонясь к прохладной зеленой печи. Он слышал, как денщик собирает на лестнице посуду. Побледнев, словно от опьянения, он ждал. Снова вошел слуга. Сердце капитана пронзила острая, сладостная мука, когда он увидел, что парень от боли потерял сознание и еле держится на ногах.

— Шонер!— произнес он.

Солдат стал навывтяжку, но не так быстро.

— Слушаюсь, господин капитан!

Парень стоял перед ним со своими трогательными молодыми усиками и тонкими бровями, четко вырисовывавшимися на темном мраморном лбу.

— Я задал тебе вопрос.

— Так точно, господин капитан.

Тон офицера был въедлив, словно кислота.

— Почему у тебя за ухом торчал карандаш?

Снова сердце денщика окатило жаром, он не мог дышать. Темным, напряженным взглядом, как зачарованный, смотрел он на офицера. Он стоял безучастно, точно остолбенел. Испепеляющая улыбка заиграла в глазах капитана. Он занес ногу.

— Я... позабыл... господин капитан,— проговорил солдат прерывистым голосом, уставясь темными глазами в пляшущие голубые.

— Для чего он там находился?

Он видел, как вздымается грудь солдата, подыскивающего слова.

— Я писал.

— Что писал?

Снова солдат смерил его взглядом сверху вниз. Офицер слышал его тяжелое дыхание. В голубых глазах заиграла улыбка. Солдат откашлялся, напрягая пересохшее горло, но ничего не мог вымолвить. Внезапно улыбка, как пламя, озарила лицо офицера, тяжелый удар пришелся денщику в бедро. Парень отступил на шаг в сторону. Лицо его с черными, вперившимися в пространство глазами помертвело.

— Ну?— произнес офицер.

Во рту ординарца совсем пересохло; ворочая языком, он словно водил по жесткой оберточной бумаге. Он снова прокашлялся. Офицер занес ногу. Слуга замер.

— Да так, стихи, господин капитан,— раздался скрипучий, неузнаваемый звук его голоса.

— Стихи? Какие стихи?— спросил капитан с болезненной улыбкой.

Снова последовало покашливание. Внезапно сердце капитана налилось тяжестью, он стоял смертельно усталый.

— Для моей девушки, господин капитан,— услышал он сухой, нечеловеческий звук.

— А!— сказал тот и отвернулся.— Убери со стола.

— Цык!— раздалось из горла солдата и снова:— Цык!— И нечленораздельно:— Слушаюсь, господин капитан.

Тяжело ступая, молодой солдат удалился — он будто постарел.

Оставшись один, офицер зажал себя намертво, лишь бы только ни о чем не думать. Инстинкт подсказывал ему, что думать нельзя. В глубине души страсть его была удовлетворена, и он все еще ощущал ее сильное воздействие. Затем последовала обратная реакция, что-то внутри у него страшно надломилось, это была настоящая мука. Час простоял он не шелохнувшись, в сумятице ощущений, но сознание его, скованное волею, дремало, оберегая неведение разума. Так он сдерживал себя до тех пор, пока не миновал момент самого сильного напряжения; тогда он принялся пить, напился допьяна и заснул, не помня уже ничего. Проснувшись поутру, он был потрясен до глубины души. Но он отогнал от себя осознание содеянного. Не позволил собственному разуму осмыслить его, подавив его вместе с инстинктом, и потому тот сознательный человек, что был в нем, не имел к происшедшему никакого отношения. Он всего лишь чувствовал себя как после тяжелой попойки, просто слабым, само же происшествие вырисовывалось весьма смутно, и он не намеревался к нему возвращаться. О своей опьяняющей страсти он с успехом отказывался вспоминать. И когда появился денщик, неся кофе, офицер обрел тот же облик, что и накануне утром. Он перечеркивал события вчерашней ночи — отрицал, что они когда-либо происходили, — и это ему удавалось. Ничего подобного он — он сам, сам по себе — не делал. Что бы там ни было, виноват во всем глупый, непослушный слуга.

Денщик же весь вечер проходил как очумелый. Он выпил пива, потому что внутри у него все пересохло, но немного — алкоголь приводил его в чувство, а этого он не мог вынести. Он отупел, словно тот нормальный человек, что был в нем, был на девять десятых парализован. Он слонялся, изнемогая от боли. И все же, когда он думал о пинках, ему становилось дурно, и потом, когда он у себя в комнате думал об угрозе новых побоев, сердце его вновь обливалось жаром и замирало, он тяжело дышал, вспоминая те, что уже получил. У него вырвали: «Для моей девушки». Он чувствовал себя настолько разбитым, что ему даже не хотелось

плакать. Его рот слегка приоткрылся, как у идиота. Он был опустошен, изможден. Принявшись вновь за работу, он еле двигался, мучительно, медленно, неуклюже, вслепую орудовал шваброй и щетками, а когда садился, чувствовал, что ему трудно собрать силы и подняться снова. Руки, ноги, челюсть были какие-то безжизненные, словно ватные. И он неимоверно устал. Наконец он улегся в постель и, безжизненный, ослабевший, заснул, погрузившись в сон, скорее напоминавший забытье, нежели сон; глухую ночь забытья пронзали время от времени вспышки боли.

Наутро начинались маневры. Но проснулся он даже еще до сигнала горна. От мучительной боли в груди, от сухости в горле, от ужасного, неизбывного ощущения несчастья он пробудился тотчас же, как открыл глаза, и они тотчас же исполнились безотрадности. И, не думая, он знал, что произошло. И знал, что опять настал день и что он должен приступить к своим обязанностям. Из комнаты улетучивались последние остатки темноты. Ему придется привести в движение свое безжизненное тело и уже не прекращать усилий. Он был так молод, встретил так мало испытаний, что ошалел. Ему хотелось лишь, чтобы продолжалась ночь и он мог бы неподвижно лежать под покровом темноты. И все же ничто не остановит наступления дня, ничто не спасет его от необходимости встать, и оседлать лошадь капитана, и сварить капитану кофе. Это предстояло ему, это было неотвратимо. И все же, думал он, это невозможно. И однако ж, они не оставят его в покое. Надо идти и нести капитану кофе. Он был слишком ошеломлен, чтобы это понять. Знал лишь, что это неотвратимо — неотвратимо, как бы долго он ни лежал неподвижно.

Наконец, поднатужившись, ибо казалось, он превратился в безжизненную массу, он поднялся. Но каждое движение ему приходилось выжимать из себя усилием воли. Он был разбит, ошарашен, беспомощен. Боль была так остра, что он схватился за кровать. Взглянув на свои ляжки, он увидел на смуглой коже темные синяки, он знал, что если нажмет на один из них пальцем, то потеряет сознание. Но терять

сознание он не хотел — не хотел, чтобы кто-то узнал. Никто никогда не должен знать об этом. Это все между ним и капитаном. Теперь на свете существуют лишь два человека — он и капитан.

Медленно, с минимальной затратой движений, он оделся и заставил себя пойти. Все расплывалось, кроме того, что он в данный миг держал в руках. Но с работой ему удалось управиться. Сама боль пробуждала притупившиеся чувства. Но оставалось худшее. Он взял поднос и направился в комнату капитана. Офицер сидел за столом бледный и хмурый. Когда денщик отдавал честь, ему почудилось, что самого его больше не существует. Какое-то мгновение он стоял неподвижно, смирившись с собственным исчезновением, потом собрался, будто очнувшись, и тут уже капитан начал расплываться, превращаясь в нечто нереальное. Сердце солдата заколотилось сильнее. Чтобы самому остаться в живых, он ухватился за эту ситуацию: капитана не существует. Но, увидев, как дрожит рука офицера, поднимая чашку, почувствовал, что все рушится. Он удалился с ощущением, будто рассыпается, распадается он сам. Когда капитан, восседая на лошади, отдавал приказания, а он с винтовкой и вещмешком стоял, изнемогая от боли, ему показалось, что надо на все закрыть глаза. И только долгий, мучительный марш с пересохшей глоткой вызывал у него одно-единственное дурманящее желание: спастись.

II

Он начал привыкать даже к пересохшей глотке. Зато сияние снежных вершин на небосводе, бежавшая с ледников светло-зеленая речка, которая извивалась внизу, в долине, среди светлых отмелей, казались почти сверхъестественными. Но он сходил с ума от жары и жажды. Не жалуясь, ковылял он вперед. Говорить не хотелось — ни с кем. Над рекой, словно брызги пены или снежинки, кружили две чайки. Разносился одуряющий запах напоенной солнцем зеленой ржи. Марш продолжался, однообразный, словно дурной сон.

Около следующей фермы, широкого, приземистого строе-

ния неподалеку от тракта, были выставлены чаны с водой. Солдаты пили, столпившись вокруг них. Они поднимали каски, от их влажных волос поднимался пар. Капитан наблюдал, сидя на лошади. Ему было необходимо видеть денщика. Каска бросала густую тень на его светлые, неистовые глаза, но рот, усы, подбородок были отчетливо видны, освещенные солнцем. Денщику приходилось двигаться в присутствии высокой фигуры всадника. Не то чтобы он боялся или страшился, а словно он был выпотрошен, опустошен внутри, как пустая скорлупа. Ему казалось, что он ничто, тень, скользящая в солнечном свете. И как ни изнывал он от жажды, он почти не мог пить, ощущая поблизости капитана. Даже каску не пожелал снять, чтобы вытереть влажные волосы. Ему хотелось лишь остаться в тени и чтобы ничто не пробуждало его сознания. Вздвогнув, он увидел, как легкая пятка офицера вонзилась в бок лошади, капитан умчался резвым галопом; и теперь солдат мог вновь погрузиться в небытие.

Ничто, однако, в это жаркое, ясное утро не могло вернуть ему то пространство, в котором он мог бы существовать. Среди всей этой суеты он казался себе какой-то пустотой, тогда как капитан держался еще горделивее, еще заносчивее. Горячая волна пробежала по телу молодого слуги. Капитан преисполнился жизни, сам же он бесплотен, как тень. Опять по его телу пробежала волна, погружая его в оцепенение. Но сердце забилось чуть увереннее.

Рота стала подниматься в гору, чтобы, сделав там петлю, повернуть назад. Внизу, среди деревьев, на ферме, зазвонил колокол. Он увидел, как работники, босиком косившие густую траву, оставив работу, стали спускаться с холма, за спиной у них, подобно длинным сверкающим когтям, висели на плечах изогнутые косы. Казалось, это не люди, а видения, не имевшие к нему никакого отношения. Словно он погрузился в черный сон. Словно все остальное действительно существует и имеет форму, тогда как он сам — одно только сознание, пустота, наделенная способностью думать и воспринимать.

Солдаты безмолвно шагали по ослепительно сверкавшему склону холма. Понемногу у него начала кружиться голова, медленно, ритмично. Порой темнело в глазах, точно он видел мир сквозь закопченное стекло — совсем нереальный, одни неясные тени. Каждый шаг болью отдавался в голове.

Воздух благоухал так, что нечем было дышать. Словно вся эта роскошная зеленая растительность источала свои соки, и воздух был смертельно, одуряюще напоен запахом зелени. Ароматом клевера, напоминавшим о чистом меде, о пчелах. Потом повеяло чем-то кисловатым — проходили мимо буков; потом раздалось странное дробное цоканье и разнеслась омерзительная, удушающая вонь — теперь проходили мимо овечьего стада, пастуха в черном балахоне, с загнутой вверху пастушьей палкой. Зачем овцам под таким палящим солнцем сбиваться в кучу? Ему казалось, что, хотя он видит пастуха, тот его не видит.

Наконец сделали привал. Солдаты составили ружья в козлы, побросали рядом, почти по кругу, снаряжение и чуть вразброс расселись на небольшом бугре высоко на склоне холма. Пошли разговоры. От жары солдаты распарились, но были оживлены. Он сидел неподвижно, глядя на вздымавшиеся над землей в двадцати километрах горы. Гряды теснились голубыми складками, а впереди них, у подножия — широкое, светлое русло реки, белесовато-зеленая гладь воды с розовато-серыми отмелями среди темных сосновых лесов. Там, вдалеке. Верно, она бежит вниз, река эта. В миле отсюда по ней спускался плот. Незнакомый край. Ближе к ним, под стеной буковой листвы, на опушке леса примостилась приземистая ферма с красной крышей, белым фундаментом и квадратными прорезями окон. Тянулись длинные полоски ржи, клевера и светло-зеленых молодых всходов. А у самых его ног, прямо под бугром, темнело болото, где неподвижно замерли на тоненьких стебельках купавки. Несколько светло-золотых шариков лопнуло, и в воздухе застыли опадающие лепестки. Ему казалось, что он засыпает.

Неожиданно что-то врезалось в этот разноцветный мираж

у него перед глазами. По ровному уступу холма размеренной рысью скакала среди полосок хлебов маленькая, светло-голубая с алым фигурка. Капитан. Появился солдат, сигнализируя флажками. Гордо, уверенно двигался всадник, быстрый и яркий, вобрав в себя весь свет этого утра, бросавшего на остальных легкую сверкающую тень. Покорный, безразличный, сидел молодой солдат, взирая на это. Но когда лошадь, поднимаясь вверх по последней крутой тропинке, перешла на шаг, горячая волна обожгла тело и душу денщика. Он сидел и ждал. Ощущение было такое, словно его затылок обжигало тяжелое пламя. Есть не хотелось. Когда он двигал руками, они слегка дрожали. Тем временем офицер на лошади приближался, медленно и гордо. Напряжение в душе денщика возрастало. Когда он увидел, как капитан привстал в стременах, а потом опустился в седло, его вновь окатило горячей волной.

Капитан поглядел на светло-голубое с алым пятно, на темные головы, сгрудившиеся на склоне холма. Вид доставил ему удовольствие. Власть над ними доставляла ему удовольствие. Он испытывал чувство гордости. Среди них, такой же подчиненный, как все, находился его денщик. Высматривая его, офицер чуть привстал в стременах. Молодой солдат сидел отвернув осоловелое лицо. Капитан свободно опустился в седло. Его великолепная, с тонкими ногами лошадь, коричневая, как буковый орешек, горделиво шагала вверх по склону холма. Капитан вступил в круг испарений отряда — горячего мужского запаха, запаха пота и кожи. Хорошо знакомые запахи. Перекинувшись парой слов с лейтенантом, капитан поднялся на несколько шагов и там остановился — величественная фигура на взмыленной лошади, обмахивавшейся хвостом, пока он смотрел вниз, на своих солдат, на своего денщика, песчинку в этой толпе.

Сердце молодого солдата огнем пылало в груди, было трудно дышать. Глядя вниз по склону холма, офицер увидел, как по зеленому, солнечному полю тяжело брели трое солдат, неся два ведра воды. Под деревом был установлен стол; рядом, с исполненным значения видом занятого че-

ловека, стоял тоненький лейтенант. Тогда капитан, собравшись с духом, решился на смелый шаг. Он позвал денщика.

Когда молодой солдат услышал приказ, пламя захлестнуло его глотку, он поднялся незряче, в каком-то удушье. Остановился ниже офицера, козырнул. Вверх он не посмотрел. В голосе капитана слышалась легкая дрожь.

— Ступай в трактир и принеси мне...— отдавал распоряжение офицер.— Живее!— добавил он.

При последнем слове сердце слуги подскочило, охваченное огнем, и он почувствовал, как его тело налилось силой. Но он с механической покорностью повернулся и, тяжело ступая, пустился бегом вниз по склону холма, чем-то напоминая медведя; над армейскими башмаками пузырились брюки. Офицер не отрываясь следил за этим слепым, стремительным бегом.

Но так безропотно, механически покорялась лишь внешняя оболочка тела денщика. В глубине же постепенно образовалось ядро, вобравшее в себя всю энергию его молодой жизни. Он исполнил поручение и быстро, хотя и тяжело, поднимался назад, в гору. Шаги болью отдавались в голове, отчего безотчетно кривилось лицо. Но в груди, в самой ее глубине, затаился он сам, сам, и он не позволит себя раздавить.

Капитан вошел в лес. Денщик преодолел жаркий круг едких запахов, исходивших от отряда. Теперь в нем kloкотал странный сгусток энергии. По сравнению с ним капитан стал менее реален. Он приблизился к зеленому portalу леса. Там увидел в сквозящем сумраке лошадь, солнечный свет и трепещущие тени листья, пляшущие на ее каштановом крупе. Дальше открывалась поляна, где недавно валили лес. Здесь, в золотисто-зеленой тени, рядом со сверкающей чашей солнечного света стояли две голубые с малиновым фигуры, малиновые выпушки выступали очень четко. Капитан беседовал с лейтенантом.

Денщик встал на краю ярко освещенной поляны, где лежали, растянувшись, очищенные и светящиеся, точно

обнаженные, загорелые тела, огромные стволы деревьев. Измятая трава была усеяна щепками, словно обрызгана светом, там и сям торчали пни поваленных деревьев со свежими, ровными срезами. На другой стороне поляны сверкала залитая солнцем листва бука.

— Тогда я поеду вперед,— услышал денщик голос капитана.

Лейтенант козырнул и, широко шагая, удалился. Денщик выступил вперед. Когда он подходил к офицеру, печатая шаг, его нутро окатило горячей волной.

Капитан смотрел, как, спотыкаясь, двигается вперед тяжеловатая фигура молодого солдата. Жар запылал в его жилах. Им предстояло объясниться как мужчине с женщиной. Он отступил перед крепкой, спотыкающейся фигурой с опущенной головой. Денщик наклонился и поставил еду на ровно спиленный пень. Капитан смотрел на блестящие, обожженные солнцем кисти его рук. Он хотел заговорить с молодым солдатом, но не мог. Слуга уперся бутылкой в бедро, выдавил пробку и вылил пиво в кружку. Он так и стоял опустив голову. Капитан взял протянутую кружку.

— Жарко!— сказал он вроде бы дружелюбно.

Из сердца денщика вырвалось пламя, чуть не задушив его.

— Да, господин капитан,— ответил он, не разжимая зубов.

Услышав звук, с каким пил капитан, он стиснул кулаки, так мучительно стало ломить у него в кистях. Потом раздалось слабое позвякивание — захлопнулась крышка кружки. Он поднял глаза кверху. Капитан глядел на него. Он мгновенно отвел взгляд. Затем он увидел, как офицер нагнулся и взял с пня кусок хлеба. При виде того, как склонилось перед ним это негнущееся тело, пламя вновь прожгло его насквозь. Руки его дернулись. Он отвернулся. Он чувствовал, что офицер нервничает. Разламывая хлеб, капитан уронил его на землю. Взял другой ломоть. Оба стояли напряженные, неподвижные; господин усердно жевал хлеб; слуга уставился в пространство, отвернувшись в сторону, сжав кулаки.

Потом молодой солдат вздрогнул. Офицер снова нажал на крышку кружки, она открылась. Денщик следил за крышкой кружки, за белыми руками, сжимавшими ручку, словно зачарованный. Вот кружка поднимается. Парень сопровождает ее глазами. Потом он увидел, как задвигалась вверх и вниз тонкая, сильная шея старшего, когда он начал пить. И вдруг инстинкт, клочкотавший в кистях рук парня, вырвался наружу. Он подскочил, словно его рассекло надвое жаркое пламя.

Шпора офицера зацепилась за корень дерева, он с грохотом повалился навзничь, с глухим, противным звуком шмякнувшись спиной об острый край пня; кружка отлетела в сторону. Через секунду денщик с серьезным, сосредоточенным лицом, прикусив зубами нижнюю губу, упершись коленом в грудь офицера, давил на его подбородок, отжимая его все дальше назад, за дальний край пня, давил, вкладывая в это всю душу, объятый страстью облегчения, испытывая сладостное ощущение облегчения от напряжения в кистях. Он изо всех сил нажимал краем ладоней у запястья на подбородок офицера. И ему было приятно чувствовать под руками этот подбородок, эту жесткую челюсть, уже покрытую легкой щетиной. Он ни на миг не ослабил хватки, но, ощущая, как от этого порыва мощно ликует его кровь, все давил на голову капитана, отжимая ее назад, пока не раздалось негромкое «щелк» и он не почувствовал, как что-то хрустнуло. Тут ему почудилось, будто его собственная голова обратилась в пар. Сильные конвульсии сотрясали тело офицера, пугая, приводя в ужас молодого солдата. И все же ему нравилось сдерживать эти конвульсии. Нравилось давить и давить руками на этот подбородок, отжимая его назад, чувствовать, как грудь того поддается, выпуская воздух, под тяжестью сильных молодых колен, чувствовать страшные судороги распростертого тела, сотрясавшие все его собственное тело, навалившееся сверху.

Но вот тело того замерло. Он мог заглянуть в ноздри офицера, глаз ему почти не было видно. Как странно выпячен рот с подчеркнуто выпирающими полными губами,

над которыми топорщится щеточка усов. Потом он вздрогнул, заметив, что ноздри понемногу наполняются кровью. Красная жидкость поднялась до краев, поколебалась немного, перелилась через край и тонкой струйкой побежала по лицу к глазам.

Это ошеломило его. Он медленно поднялся. Тело дернулось и, раскинувшись, безжизненно застыло. Он стоял и молча смотрел на него. Было жаль, что *оно* изломано. В этом теле воплощалось не только то, что пинало его и измывалось над ним. На глаза он боялся взглянуть. Сейчас, когда виднелись одни белки и к ним бежала кровь, они выглядели жутко. При виде этого лицо денщика вытянулось от ужаса. Что ж, вот оно как. В душе он был удовлетворен. Раньше он ненавидел лицо капитана. Теперь оно уничтожено. На душе денщика было и тяжело, и легко. Но видеть это длинное, распростертое тело с военной выправкой, надломленное о пень, со скрюченными тонкими пальцами, было нестерпимо. Надо убрать его с глаз.

Быстро, деловито он приподнял его и затолкал под штабель срубленных деревьев, прекрасные, гладкие стволы которых покоились с обоих концов на бревнах. Лицо, все в крови, было ужасно. Он прикрыл его каской. Потом, распрямив его руки и ноги, уложив их, как подобает, смахнул с тонкого сукна сухие листья. Так. Оно лежит в тени. Совсем неподвижно. Пробиваясь сквозь узкую щель между бревнами, вдоль груди бежит узенькая солнечная полоска. Несколько мгновений денщик посидел рядом. Тут окончилась и его собственная жизнь.

Потом сквозь оцепенение он услышал лейтенанта: тот громким голосом объяснял солдатам, что им надлежит вообразить, будто мост через реку внизу занят противником. Теперь им предстояло сделать бросок и напасть на неприятеля таким-то и таким-то образом. Лейтенант не блистал красноречием. Денщик, слушая его по привычке, совсем запутался. А когда лейтенант начал все сызнова, он уже ничего не слышал.

Он знал, что надо уходить. Встал. Его удивило, что листья

блестят на солнце и на земле белеют щепки. Для него мир переменялся. А для остальных — нет: все казалось таким же, как раньше. Только он его покинул. И возвратиться назад не мог. Он был обязан вернуть пивную кружку и бутылку. Но не мог. Лейтенант все еще что-то втолковывал хриплым голосом. Надо уходить, не то они его настигнут. А он сейчас не мог вынести встречи ни с кем.

Он провел пальцами по глазам, пытаясь определить, где находится. Потом повернулся. Увидел стоящую на тропинке лошадь. Подошел, сел на нее. Сидеть в седле было больно. Он старался удержаться, и причиняемая этим боль поглощала все внимание, пока он легким галопом ехал по лесу. Все было бы ему безразлично, только он не мог избавиться от ощущения своей оторванности от остальных. Тропинка вывела его из леса. У опушки он придержал лошадь, остановился, осмотрелся. Там, на солнечном просторе равнины, двигались, сгрудившись в небольшую кучу, солдаты. Время от времени крестьянин, боронивший полоску паров, покрикивал на поворотах на своих волов. Залитые солнцем деревня и церковь с белой башней казались крошечными. К этому миру он больше не принадлежал — он сидел на опушке, за его пределами, словно человек, примостившийся во тьме около дома. Выбившись из повседневной жизни, он вступил в область неизвестного и не мог, не хотел даже возвращаться назад.

Отвернувшись от отглянцовой солнцем долины, он поехал в глубь леса. Стволы, точно стоявшие неподвижно люди в сером, следили за его продвижением. Сквозь испещренную солнечными бликами тень мелькнула лань, сама точно бегущее пятнышко света и тени. В листве просвечивали ярко-зеленые пятна. Потом потянулся сплошной сосновый лес, темный, прохладный. От боли ему стало дурно, в голове нестерпимо и громко стучало; его мутило. Он никогда в жизни не болел и от всего этого растерялся, совсем ошалел.

Пытаясь сойти с лошади, он упал, изумившись боли и тому, что потерял равновесие. Лошадь беспокойно ша-

рахнулась. Он дернул уздечку и пустил ее прочь неровным галопом. Лошадь была последним, что связывало его со всем остальным.

Ему хотелось только лечь и лежать и чтобы его оставили в покое. Спотыкаясь меж деревьев, он выбрался в затишное место на склоне, где росли сосны и буки. Стоило ему лечь и закрыть глаза, как сознание тотчас же, независимо от него, продолжило стремительный бег. Внутри у него стучало от дурноты с такой силой, словно прошибало насквозь всю землю. Он горел в сухом жару, но не замечал этого, чересчур поглощенный, чересчур захваченный бешеной, бессвязной скачкой бреда.

III

Вздрыгнув, он пришел в себя. Во рту пересохло, язык не ворочался, сердце сильно колотилось, но подняться не было сил. Сильно колотилось сердце. Где он — в казармах? дома? Что-то стучит. Сделав над собой усилие, он осмотрелся — деревья, зеленый разлив, и красноватые, яркие, неподвижные солнечные пятна на земле. Он не верил тому, что это он сам, не верил тому, что видел. Что-то стучит. Напрягая все силы, он попытался вернуть сознание, но безуспешно. Потом попытался опять. Постепенно между ним и тем, что его окружало, обозначилась связь. Он вспомнил, и от ужаса страшная боль пронзила сердце. Кто-то стучит. Он видел над головой тяжелые, черные космы ели. Потом все почернело. Однако ж он был уверен, что не закрывал глаз. Нет, не закрывал. Сквозь черноту медленно возвращалось зрение. И кто-то стучит. Мгновенно увидел он обезображенное кровью, ненавистное лицо капитана. И замер от ужаса. Но в глубине души он знал, что все так и есть, должно быть, капитан умер. Но бред физически овладел им. Кто-то стучит. От страха он лежал совершенно недвижимо, точно мертвец. И потерял сознание.

Когда он вновь открыл глаза, он вздрогнул, увидев, как что-то быстро ползет вверх по стволу. Небольшая птица. У него над головой свистит птица. Тук-тук-тук — неболь-

шая юркая птица долбит по стволу клювом, ее голова — словно маленький круглый молоточек. Он с любопытством наблюдал за птицей. Ползком, она рывками продвигалась вверх. Потом, точно мышь, соскальзывала вниз по голому стволу. От ее быстрых ползущих движений на него накатила волна отвращения. Он приподнял голову. Она казалась невероятно тяжелой. Потом, выскочив из тени, птичка пробежала по неподвижному солнечному пятну, быстро потряхивая головкой, на миг ярко сверкнули белые лапки. Как все в ней ладно, аккуратно пригнуто, белые пятна на крылышках. Птиц было несколько. Такие прелестные — только вот ползают, точно шустрые, пронырливые мыши, туда-сюда по стройному, как мачта, буку.

В изнеможении он снова лег, и сознание его улетучилось. Эти ползающие птички привели его в ужас. Казалось, вся его кровь плещется и расползается у него в голове. А он все не мог пошевелиться.

Когда он пришел в себя, вызванная изнеможением боль стала еще сильнее. Болела голова, ужасно мутило, он был не в силах пошевелиться. Никогда в жизни он не болел. Он не знал теперь, где он и кто он. Наверное, у него был солнечный удар. Или, может, что-то еще? — он заставил капитана замолчать навсегда — недавно — нет, нет, давно. На том лице была кровь и глаза закатились. Как бы там ни было, это правильно. Это значит покой. Но теперь он уже находился по ту сторону самого себя. Где никогда раньше не бывал. Жизнь это или не жизнь? Здесь он один. Те, остальные, они на огромном, ярко освещенном пространстве, а он не с ними. Город, вся страна, огромное, ярко освещенное пространство — он не с ними, он здесь, на темной поляне за пределами того пространства, и каждый здесь сам по себе. Но когда-нибудь тем, другим, всем до единого, придется побывать здесь. Все они маленькие и тянутся там, позади. Отец с матерью, девушка, они были, но какое все они имеют значение? Это место открыто для всех.

Он сел. Послышалась какая-то возня. Маленькая коричневая белочка бежала по земле красивыми волнообразными прыжками, рыжий хвост довершал волнообразное колебание ее тельца, а потом, усевшись, она стала нагибаться и разгибаться. Он с удовольствием наблюдал за ней. Она игриво побежала дальше, ей нравилось бегать. Стремглав налетела на другую белку, и они стали гоняться одна за другой, издавая негромкие звуки, трещали, словно выговаривая за что-то друг дружке. Солдату хотелось поговорить с ними. Но из гортани вырвался только хрип. Белки стремглав бросились прочь — взлетели вверх по деревьям. Потом он увидел, как одна, обернув головку, посматривает на него с середины ствола. Он вздрогнул от страха, хотя в той мере, в какой сохранялось сознание, это его позабавило. Она не убежала, а, наострив ушки, цеплялась когтями лапками за кору, подняв кверху белую грудку, ее любопытная мордочка смотрела на него с середины ствола. Его охватила паника.

С трудом поднявшись на ноги, он шатаясь побрел прочь. Он шел и шел, все чего-то искал — искал попить. Мозг его разгорячился и воспалился от жажды. Он ковылял дальше. Потом он ничего уже не сознавал. Впал в беспамятство, но по-прежнему ковылял дальше, приоткрыв рот.

Когда, к своему немому изумлению, он вновь открыл глаза, он больше уже и не пытался вспомнить, что представляет собой мир. За золотисто-зелеными бликами был разлит густой золотистый свет, прорезанный высокими серовато-пурпурными снопами лучей, а дальше — тьма, она сгущалась, подступала к нему со всех сторон. Ощущение было такое, будто он достиг нужного места. Он — посредине реальности, на ее темном дне. Но мозг жгла жажда. Он чувствовал, что сделался легче, стал не таким тяжелым. Что-то новое, размышлял он. В воздухе перекатывались громовые раскаты. Ему казалось, что он идет необыкновенно быстро и выходит прямо к тому месту, где найдет облегчение — или воду?

Внезапно он застыл от страха. Перед ним, отделенная

всего лишь несколькими темными стволами, словно прутьями клетки, золотом полыхала ширь. Молодая ровная пшеница отливала золотом, ослепительно сверкавшим на ее шелковистой зелени. Навстречу этому ослепительному сиянию, меж переливающихся зеленых хлебов, словно густая тень, двигалась женщина в широкой юбке, с покрытой черным платком головой. Виднелась ферма, светло-голубая в тени, с черной деревянной обшивкой. Шпиль церкви, почти растворившийся в золоте. Женщина все шла, удаляясь от него. Он не знал, на каком языке заговорить с ней. Она была нереальностью, яркой и плотной. Ее слова будут лишь шумом, который только собьет его с толку, и глаза ее, глядя на него, не будут его видеть. Она шла через поле, на противоположный конец. Он стоял прислонившись к дереву.

Когда он наконец отвернулся и посмотрел вдоль длинной, редкой рощицы, которая понизу уже начала заполняться тьмой, он увидел горы в чудесном освещении, совсем недалеко; они светились. За мягкими серыми очертаниями первой гряды поднимались бледно-серые в золоте горы, чистым, расплавленным золотом светился снег. Они в безмолвии блестели, такие неподвижные, мерцающая в небе, словно сотворенные из чистого вещества самого неба. Он стоял и смотрел на них с озаренным лицом. И чувствовал, как, подобно золотистому, искрящемуся мерцанию снегов, в нем разгорается жажда. Он стоял и не отрываясь смотрел, прислонясь к дереву. А потом все растворилось в пространстве.

Ночью без конца полыхали молнии, озаряя все небо белым светом. Должно быть, он снова пустился в путь. В какие-то мгновения мир висел вокруг него сизой пеленой, поля — ровное, блестящее полотнище серо-зеленого света, скопище темных деревьев, на белом небе — гряда черных туч. Потом, словно ставня, упала тьма — ночь вступила в свои права. Слабое трепетанье едва различимого мира, который никак не мог вырваться из тьмы!.. Затем по земле опять разлился бледный свет, проступили темные очертания

предметов, над головой повисла гряда облаков. Мир, что призрачная тень, на миг погружался в полный мрак, неизменно возвращаясь затем целым и нерушимым.

А внутри у него разрастался болезненный, лихорадочный бред — мозг его открывался и замыкался, как сама эта ночь... потом временами судороги от ужаса: что-то уставилось из-за дерева огромными глазами... потом долгий, мучительный марш, когда от солнца свертывалась кровь... потом острая боль ненависти к капитану.

Утром он, без сомненья, проснулся. Потом его мозг воспалился, терзаемый одним-единственным ужасом — жаждой! На лицо падал солнечный свет, от влажной от росы одежды поднимался пар. Он вскочил как одержимый. Прямо перед ним бледный край утреннего неба пересекали горы, голубые, прохладные, нежные. Только они ему нужны, только они, ему хотелось отделиться от себя и слиться с ними. Они не двигались, стояли неподвижные и мягкие с белыми, нежными прожилками снега. Он стоял неподвижно, обезумев от страдания, с хрустом сжимая руки. Потом в пароксизме боли начал кататься по траве.

Он лежал неподвижно, словно в мучительном сне. Жажда словно бы отделилась от него и существовала сама по себе, как единственная необходимость. Потом боль, которую он испытывал, тоже отделилась от него. Потом еще груз его тела — тоже что-то отдельное. Он распался на множество всевозможных отдельных существ. Их соединяла какая-то странная, мучительная связь, но они все дальше тянули в разные стороны. Потом они все разлетятся. Солнце, буравившее его с высоты, подтачивало и эту связь. И все они полетят, полетят в вечную пустоту бездны. Потом вновь возвратилось сознание. Приподнявшись на локте, он уставился на мерцающие горы. Они тянулись рядами там, между небом и землей, совсем неподвижные, дивные. Он смотрел не отрываясь, покуда не почернело в глазах. И казалось, горы, встававшие там в своей красе, такие чистые и прохладные, владеют тем, что утратил он.

IV

Когда три часа спустя солдаты обнаружили его, он лежал, положив лицо на руку, его черные волосы были раскалены от солнца. Но он был еще жив. Увидев открытый черный рот, молодые солдаты бросили его.

Он умер ночью, в госпитале, так и не приходя в себя.

Доктора увидели синяки сзади на его ногах и ничего не сказали.

В мертвецкой тела их лежали рядом, бок о бок, один — белый и стройный — застыл в позе строгого покоя, другой, казалось, вот-вот вновь воспрянет ото сна к жизни — такой молодой и ничего не познавший.

Англия, моя Англия...

Он работал на краю пустоши за неглубоким ручьем, бегущим по ложбине, где кончается сад, — удлинял садовую дорожку, которая вела на пустошь через бревенчатый мостик. Он уже снял слой жесткого дерна с папоротником, обнажив суховатую серую почву. Но дорожка получалась кривая, и он был недоволен, между бровями у него пролегла морщина. И ленту наметил колышками, и направление определил между большими соснами, а выходило почему-то не так. В который раз, напрягая синие острые глаза — глаза викинга, он обернулся, всматриваясь сквозь проем в стене тенистых сосен туда, где от осененного ольхой мостика взбегала на цветущий лужок поросшая зеленой травой дорожка. Высокие лиловые и белые водосборы, и торец старого гемпширского дома, который приник к земле среди цветов, в косматом бурьяне, разросшемся кругом.

Вдалеке раздавались детские голоса, перекликались, переговаривались — тоненькие девчоночьи голоса с оттенком назидательности, с властными нотками.

— Иди скорей, няня, а то возьму и побегу туда, где змеи.

И ни у кого не хватает духу ответить:

— Ну и беги, дурочка.

Вечно одно и то же:

— Не надо, душенька. Хорошо, душенька. Сию минуту, душенька. Душенька, умей же немножко потерпеть.

Он ожесточился в своем отрезвлении: все не по сердцу, все не мило. Но продолжал работать. Что еще ему оставалось, как не смириться!

Земля пылала под солнцем, неистово пламенели цветы, с неистовой силой ощущалась уединенность среди девственного покоя пустошных земель. Удивительно, как стойко держится местами в Англии первобытный дух — например, здесь, среди буйно поросших можжевельником пустошей, в болотистых змеиных низинах у подножия известковых холмов. Душа земли, хранящая первожданность, как в те далекие времена, когда сюда явились саксы.

Ах, как он раньше любил все это! Зеленую дорожку в саду, островки цветов — белые и лиловые водосборы, огромные яркие маки, алые, с черными прожилками; статные желтые коровяки — весь этот пламенеющий сад, который тысячу лет назад уже был садом, вскопанный в лощине среди змеиных пустошей. Сад, который у него запылял цветами в солнечной чаше под кустарником и деревьями. Старина, седая старина! И это он вернул ей молодость.

Деревянный дом с покатой крышей-капюшоном был стар и заброшен. Он был частицей стародавней Англии. Англии деревушек и йоменов. Затерянный в одиночестве на краю пустоши в конце широкого заглохшего проселка, опутанного шиповником под тенью дубов, он никогда не сталкивался с сегодняшним миром. Пока не пришел Эгберт с молодой женой. Пришел, чтобы наполнить его цветами.

Дом был древний и очень неудобный для жилья. Но Эгберт ничего не хотел менять. Как хорошо сидеть вечерами у широкого, почерневшего от времени камина, когда над крышей ревет ветер, а в очаге уютно трещат дрова, наколотые собственными руками! По одну сторону он, по другую — Уинифред.

Уинифред! Как он желал ее! Молодая, красивая, полная жизни, словно пламя под солнцем. Она двигалась со сдержанной грацией, таящей энергию, как если бы куст, весь в пунцовом цвету, пришел в движение. Казалось, она тоже шагнула в сегодняшний день из старой Англии — румяная, крепкая, с какой-то грубоватой истовой основательностью, налитая здоровьем, как ветка боярышника. А он, он был похож на английского лучника, высокий, стройный, быстрый, с упругими длинными ногами и благородной осанкой. У нее волосы были ореховые, кудрявые, все в тугих завитках. У нее и глаза были ореховые, ясные, словно у птицы малиновки. А он был белокож, волосы у него были тонкие, шелковистые, светлые, хотя с годами потемнели, а нос с горбинкой, как у всех в его старинном сельском роду. Они были красивой парой.

Дом принадлежал Уинифред. Ее отец был тоже человек энергичный. Он приехал с севера бедняком. Теперь он владел порядочным состоянием. Этот участок отличной земли в Гемпшире он купил недорого. Его собственный дом стоял, отступая от дороги, неподалеку от крохотной церковки посредине почти вымершего селения — поместительный старый фермерский дом в глубине пустого двора, заросшего травой. По одну сторону четырехугольной площадки тянулось длинное-длинное строение, не то бывший амбар, не то сарай, приспособленное им для младшей дочери, Присциллы. На длинных окнах висели белые в голубую клеточку занавески, внутри, под крутобокой крышей, красовались могучие старые балки. Здесь был дом Присси. Дальше, ярдов за пятьдесят,— хорошенький новый домик, который он построил для другой дочери, Магдалены, и при нем огород до самой опушки молодой дубовой рощицы. А за садом, примыкающим к дому, за газонами и кустами роз тянулся проселок — по пустырю с буйными зарослями бурьяна, по гриве над запрудой, где росли высокие черные сосны; между соснами, по краю болотца на уклоне, под раскидистыми угрюмыми дубами,— пока не упирался не-

ожиданно в приземистый домишко Уинифред, такой удивительный и одиозный.

Дом был собственностью Уинифред, и сад, и кусочек пустоши, и топкий склон — все это были ее владения, ее маленькое королевство. Когда лет за десять до войны ее отец купил эту землю, она как раз собиралась замуж и смогла прийти к Эгберту с таким приданым. Трудно сказать, кто этому больше радовался, он или она. Ей было в то время всего двадцать лет, ему — всего на год больше. У него за душой было фунтов полтора ста годовых — и сверх этого ничегошеньки, кроме незаурядного личного обаяния. У него не было профессии, он ничего не зарабатывал. Зато умел толковать о литературе и музыке, горячо увлекался народными мелодиями, собирая народные песни и танцы, изучая тонкости морриса* и старых английских обрядов. Со временем это, конечно, должно было принести ему деньги.

А пока — здоровье и молодость, страсть, надежды. Отец Уинифред был неизменно щедр, но не зря он был выходец с севера — человек с трезвой головой и кожей, задубелой от тумачов, нанесенных жизнью. Дома он прятал свою трезвую расчетливость подальше от глаз и поэтически, романтически подыгрывал своей сочинительнице-жене и крепким, горячим дочкам. Он был неробкого десятка, не привык ныть и сносить свои тяготы, ни на кого их не перекладывая. Нет, он не допускал, чтобы внешний мир слишком вторгался в его домашнюю жизнь. Его жена, натура утонченная, возвышенная, писала стихи, чем снискала себе определенную известность в узких литературных кругах. Сам он, земной, бывалый, исполненный бойцовского духа своих предков, по-детски обожал стихи, сладкозвучную поэзию и наслаждался ролью главы просвещенного семейства. Он был дюжей породы — вероятно, в ущерб изысканности. Но это лишь придавало их семейному очагу жизнерадостности, бодрости, рождественской праздничности. Он всегда нес с собой ды-

* Моррис — театрализованный народный танец в костюмах героев легенды о Робин Гуде.

хание рождества, это пришло к нему вместе с достатком. И если после обеда у них в доме угощали поэзией, то к ней на закуску подавали также шоколад и орехи и другие вкусные вещи.

Вот в такое семейство пришел Эгберт. Он был сделан из совсем иного теста. Отец и три дочери, плотно сбитые, полнокровные, были исконным порождением английской земли, как остролист или боярышник. Культура была привита им извне — так, наверное, можно привить садовую розу на куст терновника. Она принялась, как ни странно, но кровь, текущая в их жилах, от этого не изменилась.

Эгберт же был прирожденной розой. Поколения породистых предков наградили его пленительной и непринужденной пылкостью. Он не блистал познаниями или способностями, пускай хотя бы к «сочинительству», — нет. Но в музыке его голоса, в движениях гибкого тела, в упругости мускулов и блеске волос, в чистой, с горбинкой, линии носа и живости синих глаз было не меньше поэзии, чем в стихах. Уинифред любила его, любила этого южанина как некое высшее создание. Высшее, заметьте. Что не значит более глубокое. Ну, а он — он любил ее страстно, всем своим существом. Она была для него как бы теплой плотью самой жизни.

Волшебными были эти дни в Крокхем-коттедже, эти первые дни в полном уединении, не считая прислуги, которая приходила по утрам. Чудесные дни, когда для нее, нее одной, цвела его стройная, гибкая, упругая молодость, а он окунался в нее, как в багряный огонь, и выходил обновленный. Пусть никогда не кончались бы эта страсть, этот брачный союз! Снова пламя двух тел ворвалось в старый дом, и без того населенный теньями плотских вожделений! Нельзя было час провести в темной комнате и не поддаться их власти. Жар, рожденный в крови ушедших йоменов, тлел под древним кровом, где, влекомые желанием, зачинали столько поколений. Молчаливый дом, темный, с толстыми деревянными стенами и огромным почерневшим очагом, овеянный тайной. Темный дом с подслеповатыми окошками,

глубоко осевший в землю. Темный, словно берлога, в которой укрывались и спаривались сильные звери, одинокие ночью, одинокие днем, предоставленные себе и своим страстям на протяжении стольких поколений. На молодую чету он, казалось, наслал наваждение. Они стали другими. От них веяло затаенным странным жаром, в них дремал непонятный огонь, готовый вспыхнуть и объять их. Они и сами чувствовали, что не принадлежат больше миру Лондона. Крокхем подменил им кровь — ощущение близости змей, которые жили прямо у них в саду, спали, греясь на солнце, так что Эгберту не в диковинку было, орудуя лопатой, увидеть на черной земле буроватый подозрительный холмик, свитый в кольцо, который внезапно с шипением оживал и, шипя, поспешно терялся в траве. Однажды странный вопль донесся до слуха Уинифред с клумбы под низеньким окошком гостиной — невыразимо странный вопль, можно было подумать, это сама душа прошлого вопиет из тьмы. Уинифред выбежала наружу и увидела на клумбе большую бурую змею и в плоской змеиной пасти — заднюю лапку лягушки, которая пыталась вырваться и издавала странный, тонкий, надрывный вопль. Уинифред глядела на змею, и мрачная плоская голова отвечала ей упорным взглядом. Она вскрикнула, и змея выпустила лягушку и недовольно заскользила прочь.

Таков был Крокхем. Современность не запустила в него когти своих изобретений, он оставался такой, каким был: затаенный, дикий, первобытный, как в те времена, когда сюда впервые пришли саксы. И Эгберт с женой, отрезанные от мира, попали к нему в плен.

Он не сидел сложа руки; она тоже. Дел было хоть отбавляй: приводить в порядок дом, когда рабочие покончили с ремонтом, шить диванные подушки, занавески, прокладывать тропинки, носить воду, поливать, а потом — расчистить дорожки в запущенном саду на склоне, вскопать рыхлую землю, разровнять ее небольшими уступами и засадить цветами. Он работал с усердием, закатав рукава рубашки, работал по целым дням, берясь то за одно, то

за другое. А она, покойная, умиротворенная, приходила помочь ему, побыть рядом. Конечно, он был дилетант — дилетант до мозга костей. Он трудился так много и так мало успевал, и, что бы он ни сработал, все оказывалось недолговечным. Когда, например, нужно было разбить сад на террасы, он подпирал их двумя длинными узкими досками, которые быстро проседали под напором земли, и немного требовалось лет, чтоб они прогнили насквозь, развалились и земля стала опять осыпаться вниз и кучами сползать к ручью. Но что поделаешь. Он не был приучен ни с чем справляться всерьез, он думал, что и так сойдет. Больше того, он вообще не представлял себе, что, кроме временных мелких поделок, возможно что-то иное, — и это при столь пылкой любви к добротному старому дому, ко всей добротной английской старине! Вот что любопытно: его так покоряло в прошлом ощущение надежности, прочности, а в настоящем он делал все с грехом пополам, кое-как.

Уинифред не могла его осуждать. Ей, выросшей в городе, все представлялось замечательным, копать землю лопатой — одно это уже казалось романтичным. Ни Эгберт, ни она пока еще не видели разницы между романтикой и работой.

Годфри Маршалл, отец ее, был на первых порах совершенно доволен гнездом, свитым в Крокхем-коттедже. Эгберт оказался молодцом, куда ни глянешь — везде видна его рука, и радостно, что от обоих так и веет жаром страсти. Для человека, который, не зная отдыха, до сих пор трудился в Лондоне, поддерживая свое скромное состояние, главою непридуманной поэмы было сознание, что в Крокхем-коттедже, в укромной глуши среди болот и пустошей, где белеют недалеко глыбы известковых холмов, два юных существа сажают сад и любят друг друга. А он, старик, приносит дрова, питающие огонь их страсти. Он не дает угаснуть пламени. Мысль об этом наполняла его тайным торжеством. К нему, отцу, по-прежнему припадала Уинифред как к единственному источнику всего надежного, устойчивого, жизненного. Она любила Эгберта, любила стра-

стно. Но опиралась она на силу своего отца. К этой силе обращалась всякий раз, когда ей нужна была поддержка. В трудную минуту, в минуту сомнений ей никогда не приходило в голову обратиться к Эгберту. Нет, во всем настоящему серьезном она полагалась на отца.

Ибо Эгберт не помышлял о том, чтобы чего-нибудь добиться в жизни. Он решительно ни к чему не стремился. Он вырос в хорошей семье, в милом доме за городом, в чудесном окружении. Разумеется, ему следовало бы приобрести профессию. Изучить право или войти в какое-то дело. Но нет — роковые три фунта в неделю означали, что ему никогда не придется голодать, а добровольно идти в кабалу он не хотел. Нельзя сказать, чтобы он бездельничал. Он был, на свой дилетантский лад, постоянно занят делом. У него просто не было желания найти себе место в мире и уж тем более — пробивать дорогу к этому месту. Нет уж, увольте, мир того не стоит. Мир пускай сам по себе, а он пойдет своим путем, сторонкой, как случайный странник, окольными заброшенными тропами. Он любит свою жену, свой дом, сад. Здесь, в некоем эпикурейском затворничестве, и будут протекать его дни. Он любит старину, старинную музыку, танцы, обычаи старой Англии. В созвучии с ними, а не с деловым миром он постарается построить жизнь.

Нередко, правда, отец призывал Уинифред в Лондон — он любил, чтобы дети находились при нем. А значит, ей с Эгбертом нужна была квартира в городе, и время от времени молодая чета перебиралась с лона природы в Лондон. Здесь у Эгберта было полно друзей, того же незадачливого образца, что и он сам: этот баловался живописью, тот пробовал сочинять или лепить, третий музицировал. Эгберту не приходилось скучать.

Трех фунтов в неделю, однако же, хватить на это все не могло. Деньги давал отец Уинифред. Ему нравилось давать деньги. Он положил дочери на расходы совсем немного, зато часто делал подарки — то Уинифред даст десять фунтов, то Эгберту. Так что оба видели в нем главную свою

опору. Эгберт не находил ничего особенного в том, что пользуется чьими-то милостями, что за него кто-то платит. Только когда он чувствовал, что из-за денег к нему в семье относятся чуточку покровительственно, он начинал обижаться.

А там, естественно, пошли дети: прелестная белокурая дочка, маленький одуванчик с пушистой головкой. Ребенка все обожали. Первый раз в семье появилось светловолосое изящное существо, похожее на отца белизной кожи, стройностью и красотой сложения, с движениями танцующими и легкими, точно у феи полевой маргаритки, как оказалось, когда крошка подросла. Немудрено, что Маршаллы души не чаяли в девочке — ее назвали Джойс. Они и сами не лишены были своеобразной грации, но грации медлительной, тяжеловесной. Все они были коренастые, с сильными, плотно сбитыми телами и немного землистым оттенком кожи. И вот среди них расцвело первоцветом воздушное, тоненькое дитя. Она была сама поэзия, эта малютка.

Впрочем, вместе с нею появились и новые осложнения. Унифред должна была взять няню. Да-да, непременно. Так постановило семейство. Кому за няню платить? Кому же, как не деду — ведь отец ничего не зарабатывает. Ну да, няню возьмет на себя дед, как брал на себя все расходы, связанные с родами. В Крокхем пришло глухое ощущение денежного неблагополучия. Эгберт открыто жил на счет тестя.

После рождения ребенка у них с Унифред никогда уже не было по-прежнему. Вначале разница была едва заметна. И все же разница была. Во-первых, в центре внимания Унифред оказалось нечто новое. Она не собиралась делать из дочери предмет обожания. Однако ей было присуще то, что в наше время столь часто заменяет матерям нерассуждающую любовь: глубокое чувство долга к ребенку. Унифред ценила по достоинству очарование своей девочки и относилась к ней с большой ответственностью. Странно, что чувство ответственности могло обладать в ней над любовью к мужу. Но это произошло.

Это часто происходит. Материнский долг занимал в сердце Унифред первое место, а уж потом, где-то дальше, шел долг супружеский.

Ребенок как бы заново замкнул ее в круге родной семьи. Родители, она сама, ребенок — вот что составляло для нее святую троицу на земле. Муж?.. Да, она его все еще любила. Но любовь была для нее чем-то несерьезным. В ней с первобытной силой развито было чувство долга, семьи. До замужества главной из человеческих обязанностей для нее был дочерний долг — отец был первопричиной бытия, твердыней, извечной опорой. Теперь к цепи семейного долга прибавилось еще одно звено: отец, она,— ребенок.

Эгберт очутился вне круга. Ничто, казалось бы, не произошло, но мало-помалу, само по себе, совершилось его отчуждение. Жена еще любила его, то есть ее влекло к нему. Но только... только он сделался почти ненужной фигурой в игре. У него не было причин жаловаться на Унифред. Она по-прежнему исполняла свой долг. По-прежнему он внушал ей страсть — страсть, на которую он поставил и жизнь свою, и душу. Но...

Опять и опять между ними вставало это назойливое «но». А потом, когда появился второй ребенок, вторая маленькая чаровница, белокурая и трогательная, хоть и не столь горделивой, пламенной стати, как Джойс,— когда появилась Аннабел, Эгберт начал действительно понимать, как обстоит дело. Жена еще любила его. Но — и теперь это «но» выросло до исполинских размеров — физическая страсть к нему имела для нее второстепенное значение. И с каждым днем значила все меньше. В конце концов она успела познать страсть за два года. Не этим жив человек. Нет-нет, жизнь строят на чем-то более серьезном, основательном.

Она стала тяготиться своею страстью к Эгберту — стала самую малость презирать ее. Казалось бы, чего еще в конце концов — милый, обаятельный, бесконечно желанный. Но... ах, какой грозной тучей нависло это «но»! — но он не высился на равнине ее жизни каменной горой, на которую пола-

гаешься без оглядки, незабываемой и главной твердыней. Нет, он был вроде кошки, которую держишь в доме, а она в один прекрасный день возьмет и скроется, не оставив по себе следа. Он был как садовый цветок, который трепещет на ветру у жизни, а потом осыпается, словно его и не было. Как дополнение, приложение он был бесподобен. Не одна женщина с восторгом держала бы его при себе всю жизнь как самое красивое, самое завидное свое достояние. Но Уинифред была человеком иных понятий.

Шли годы, и, вместо того чтобы прочней утвердиться в жизни, он все дальше отходил от нее. Он был тонкой натурой, впечатлительной и страстной, но он попросту не желал посвятить себя жизни, работе, как их понимала Уинифред. Нет, он совершенно не намерен был пробивать себе дорогу в жизни и трудиться ради дела. Нет-нет, ни за что. А если Уинифред угодно жить шире, чем позволяют их скромные средства,— что ж, это ее забота.

А Уинифред, в сущности, и не хотела, чтобы он посвятил себя работе ради денег. Слово «деньги», увы, уподобилось для них горящей головне, способной в одну минуту воспламенить их обоих гневом. Но это лишь потому, что словам принято придавать условный смысл. Ибо Уинифред, в сущности, волновали не деньги. Ей было все равно, зарабатывает он что-нибудь или нет. Просто она знала, что три четверти денег, которые она тратит на себя и детей, идут от отца, и позволила этому обстоятельству стать между нею и Эгбертом *casus belli**, обнаженным мечом.

Чего же она хотела — чего? Ее мать сказала однажды со свойственным ей оттенком иронии:

— Видишь ли, дружок, если тебе выпало на долю смотреть на полевые лилии, кои не утруждаются, не прядут,— ну что же, бывает, что человеку выпадет и такая участь, и она, возможно, не худшая из всех. Зачем ты ропщешь на судьбу, дитя мое?

Мать превосходила детей острою ума, они чаще всего терялись, не зная, как ей ответить. Так что смятение Уини-

* поводом к войне (лат.).

фред только усилилось. При чем тут лилии? Уж если говорить о лилиях, это ее маленькие дочки. Они по крайней мере растут. Ведь у Христа сказано:

«Посмотрите на лии, *како растут*». Прекрасно, вот у нее и растут ее девочки. Что же до их отца, этот цветок давно уже вымахал в полный рост, и она не хочет тратить жизнь на то, чтобы созерцать его в расцвете его красоты.

Нет, не в том беда, что он не зарабатывал деньги. И не в том, что бездельничал. Он постоянно что-то делал, постоянно возился с чем-нибудь в Крокхеме, занятый разной мелкой работой. Но какой работой, боже ты мой, какими мелочами — то это садовая дорожка, то роскошные цветы, то стулья, которые нуждаются в починке, — старые, сломанные стулья!

Беда в том, что он ничего не представлял собою. Добро бы он что-нибудь затеял и потерпел неудачу, *потеряв* на этом все деньги, какие у них есть. Добро бы испытал себя на чем-то, добро бы даже он был негодяй, мот — ей и тогда было бы проще. Было бы по крайней мере чему противиться. Мот все-таки представляет собой кое-что. Он говорит так: «Нет, я не буду приумножать и держаться купно со всеми, я в этом деле обществу не пособник, я, в меру моих скромных сил, всячески буду вставлять ему палки в колеса». Или так: «Нет, не буду я пещься о других. Пускай мне свойственны измененные страсти, зато они — мои собственные, и я их не променяю ни на чьи добродетели». Мот, прохвост, таким образом, занимает определенную позицию. Ему можно противодействовать, и в конечном счете образумить его — во всяком случае, если верить книжкам.

Но Эгберт! Что прикажете делать с таким, как Эгберт? Пороков за ним не водилось. Человек он был не только по-настоящему добрый, а даже широкий. И не слабый. Будь он слабый человек, Уинифред могла бы пожалеть его по доброте сердечной. Но даже в таком утешении ей было отказано. Он не слабый человек и не нуждается в ее жалости и доброте. Нет уж, увольте. Он — изысканное,

пылкое существо и отлит из более редкой стали, чем она. Он это знал, и она знала. И оттого, бедняжка, еще больше терялась и выходила из себя. Он, существо высшее, более совершенное, по-своему более сильное, забавлялся своим садом, своими старинными песнями, народными танцами — забавлялся себе, видите ли, а ей доставалось строить будущее, находя ему опору лишь в собственном сердце.

К тому же он начал ожесточаться, недоброе выражение пробегало порой у него по лицу. Он не уступал ей — какое там. Слово сам бес вселился в это статное, стройное, белокожее тело. Он был здоров, был полон затаенной жизни. Только теперь ему приходилось таить силы жизни, кипящие в нем, раз она больше не принимала их от него. Вернее, принимала лишь изредка. Ибо временами она не могла не покориться. Она так сильно любила его, так желала, все так пленяло ее в этом создании, более совершенном, чем она сама. И она уступала — со стоном уступала своей неутолимой страсти к нему. Тогда он приходил к ней, — дивно! страшно! — она не могла понять иной раз, как они умудрились остаться в живых после того, как смерч страсти пронесся между ними. Для нее это было, как если бы ярые вспышки молний, одна за другой, пронизывали всю ее насквозь, пока, истощаясь, не угасали.

Но удел смертных — жить дальше. А удел легких, как пух, облаков — понемногу собираться все гуще, гуще, застилая небо, без следа затмевая солнце.

Было так. Возвращалась любовь, и, подобная грозной молнии, между ними вспыхивала страсть. Тогда ненадолго небо сияло над ними чистой лазурью. А потом, неумолимо, неизбежно, на горизонте вновь громоздились тучи, не спеша, потихоньку напоздали на небосвод, отбрасывая то там, то сям ненастные холодные тени, — не спеша, потихоньку сгущались, затягивая поднебесную ширь.

Шли годы, и небо все реже прояснялось от вспышек молний, все более скупно проглядывала из-за туч лазурь. Постепенно и, казалось, необратимо все ниже нависала над ними давящая серая пелена.

Отчего же все-таки Эгберт не пытался предпринять что-нибудь? Отчего не пробовал утвердиться в этой жизни? Отчего не был, подобно отцу Уинифред, столпом общества — пусть тонкой, пусть изящной, но опорой? Отчего не желал впрягаться ни в какую упряжку? Выбрать для себя хоть какое-то четкое направление?

Ну, что на это сказать. Можно свести коня к водопою, но нельзя насильно заставить его пить. Водопоем был мир, конем — Эгберт. А конь уперся — и ни в какую. Не мог он пить, не мог, и все тут. Зарабатывать на хлеб с маслом ему не было надобности, а работать просто ради того, чтобы работать, он отказывался. Не будут вам водосборы кивать головками в январе, не закукует в Англии на рождество кукушка. Почему? Не их это дело в такую пору. Не хотят они. Да и не могут хотеть.

То же было и с Эгбертом. Не мог он связать себя участием в общей работе, ибо не было в нем основного: побуждения к этому. Напротив — в нем глубоко засело гораздо более сильное побуждение: держаться в стороне. На отдалении. Никому не причинять вреда. Но держаться в стороне. Не его это дело.

Возможно, ему не следовало жениться и заводить детей. Но кто повернет вспять течение вод?

То же верно было и в отношении Уинифред. Она была не так устроена, чтобы держаться в стороне. Ее фамильное древо принадлежало к тому жизнестойкому виду растительности, чье назначение — тянуться вверх и уповать на лучшее. Ей было необходимо, чтобы жизнь ее имела четкое направление. Никогда в родном доме ей не приходилось сталкиваться с нерешимостью, которая обнаружилась в Эгберте и вселяла в нее такую тревогу. Что делать, что ей было делать лицом к лицу с этой пугающей нерешимостью?

У них в семье все было совсем иначе. Возможно, ее отца тоже посещали сомнения, но он держал их при себе. Пожалуй, он в глубине души не очень-то верил в этот наш мир, в это общество, которое мы строили с таким усердием, а доусердствовались, в конечном счете, до собственной по-

гибели. Но Годфри Маршалл был сделан из другого теста, из муки грубого помола, замешенный круто и не без толики здоровой хитрецы. Для него вопрос был в том, чтобы выстоять, во всем прочем он полагался на провидение. Не слишком склонный обольщаться, он все же верил в провидение. Не мудрствуя и не рассуждая, он хранил в себе своеобразную веру — веру терпкую, точно сок неистребимо живучего дерева. Просто веру, слепую и терпкую, как сок в дереве слеп и терпок и все же с верой пробивается вперед, питая собою рост. Возможно, он был не очень разборчив в средствах, но ведь и дерево не очень-то разбирается в средствах, когда в стремлении выжить продирается к месту под солнцем сквозь чащобу других деревьев.

В конечном счете, только этой неунывающей, неистребимой, как у древесного сока, верой и жив человек. Много раз могут сменяться поколения, ограждаемые стенами общественного здания, которое человек возвел для себя, — и так же могут много лет плодоносить за садовой оградой груши и смородиновые кусты, даже если род человеческий исчезнет с лица земли. Но мало-помалу садовые деревья начнут исподволь разрушать ту самую ограду, которая поддерживала их. Всякое здание мало-помалу обрушится, если его не будут постоянно укреплять и восстанавливать руки живущих.

Это как раз и не мог заставить себя делать Эгберт — опять укреплять, опять восстанавливать. Сам он того не сознавал, а впрочем, если бы и сознавал — что толку? Не мог, и все тут. Такие качества, как стоицизм и эпикурейство, достались ему вместе с благородством происхождения. Тесть же его, которому ума было отпущено ничуть не меньше, чем Эгберту, понимал, что, раз уж мы родились на свет, стало быть, ничего не поделаешь, надо жить. А потому с усердием трудился на своем кусочке общественной нивы, пекся, как мог, о благе семьи, а во всем прочем полагался на волю провидения. В нем жил здоровый дух, это придавало ему силы. Хотя порой даже у него вдруг прорывалось ожесточение на этот мир и на то, как все в нем устроено. Пусть так — но в нем заложено было стремление к успеху, и оно

помогало ему добиваться своего. Он не любил размышлять над вопросом, к чему сводится этот успех. К тому, что есть вот эта земля в Гемпшире, что его дети ни в чем не знают нужды, что сам он кое-что в этом мире значит,— и хватит! Довольно! Баста!

При всем том не надо думать, будто он был обыкновенный деляга. Вовсе нет. Ему не хуже Эгберта было известно, что значит обмануться в надеждах. Может быть, в глубине души он давал ту же самую оценку успеху. Но он обладал своеобразным терпким мужеством, своеобразной покоряющей волей. В своем маленьком кругу он источал силу, подспудную силу цельной натуры. Как ни баловал он своих детей, он все-таки оставался родителем старого английского образца. У него доставало мудрости не устанавливать непреложные правила, не подчинять себе других везде и во всем. И все же, к чести его будь сказано, он сохранял некую первозданную власть над душами своих детей, сохраняя старомодный, почти волшебный родительский престиж. Горел, дымился в нем древний факел родительской богоподобной власти.

В сиянии этого священного факела и воспитывались его дети. В конце концов, он предоставлял своим девочкам всяческую свободу. Однако по-настоящему так и не выпускал их за пределы своего влияния. А они, выходя на резкий холодный свет нашего сиротливого мира, учились смотреть на вещи глазами этого мира. Учились осуждать отца и даже, в холодном мирском ослеплении, поглядывать на него свысока. Но все это было очень хорошо на словах. Стоило строгим судьям позабыть на миг свои ужимки, как они вновь попадали под его влияние. Рдяный старый факел горел негасимо.

Предоставим психоаналитикам толковать об отцовском комплексе. Придумали словечко, а дальше что? Речь идет о человеке, который не позволил угаснуть древнему рдяному огню отцовства — отцовства, которое дает право даже принести дитя свое, как Исаака, в жертву богу. Отцовства, которое властно распоряжаться жизнью и смертью детей, ибо воплощает в себе могучую силу естества. И куда дети — если это дочери — не подчинятся другому влиянию или же,

если это сыновья, сами не станут, возмужав, носителями той же силы, преемниками того же мужского таинства, до тех пор, уж не взыщите, такой человек, как Годфри Маршалл, держит своих детей при себе.

Одно время казалось, что Уинифред ему не удержать. Уинифред просто боготворила мужа, смотрела на него снизу вверх как на некое чудо. Вероятно, она ждала, что найдет в нем другую твердыню, другой оплот мужской уверенной силы, более надежный и совершенный, чем ее отец. Ибо та, что хоть раз ощутила на себе жаркое дыхание мужской власти, не вдруг кинется на негреющий резкий свет женской независимости. Она будет тосковать, всю жизнь тосковать по подлинной мужской силе, дарящей тепло и защиту.

Да и как было Уинифред не тосковать, когда для Эгберта власть заключалась в отречении от власти. Он был живым отрицанием власти. Или хотя бы даже ответственности. Ибо отрицание власти в конечном итоге сводится к отрицанию ответственности. В применении таких понятий он ограничивался самим собой. Он даже собственное влияние старался ограничить самим собой. Старался по мере возможности, чтобы его влияние не распространялось на детей, что случилось бы, если б он взял на себя какую бы то ни было ответственность за них. Сказано: «...и малое дитя будет водить их». Так пусть дитя и ведет. Он постарается не принуждать это дитя идти в том направлении, а не каком-нибудь ином. Не позволит себе влиять на это дитя. Свобода!..

Уинифред, бедная, задыхалась на этой свободе, точно рыба, вытасченная из воды, лишенная поддержки, которую привыкла находить в толще родной стихии. Пока у нее не появился ребенок. А с ним — сознание, что она должна нести за него ответственность, должна оказывать на него влияние.

Но тут безмолвно, безучастно на ее пути стал Эгберт. Безмолвно, безучастно, но бесповоротно он свел на нет ее влияние на детей.

Родилась третья девочка. После этого Уинифред не захотела больше детей. Ее душа прорастала плевелами. Ведь у

нее на попечении были дети, на ней лежала ответственность за них. Деньги за них шли от ее отца. Ее долг был дать им лучшее, что она может, быть властной в жизни их и смерти. Но нет! Эгберт отказывался взять на себя ответственность. Взять на себя хотя бы заботу о деньгах. Но и ей тоже не давал действовать по ее разумению. Не хотел допустить, чтобы над детьми утвердилась ее власть, власть естества, молчаливая и страстная. Это была война — война меж свободой и древней кровной властью. И побеждал в ней, разумеется, он. Девочки любили его без памяти. «Папа! Папочка!» При нем они вольны были делать, что им вздумается. Мать же хотела руководить ими. Руководить пристрастно, с поблажками, подчиняя их древним неразгаданным чарам родительской власти, маячащей над ними как нечто неоспоримое и богоданное — если верить, что власть бывает дарована от бога. Маршаллы, будучи католиками, в это верили.

А Эгберт — он эту ее католическую кровную власть, идущую из тьмы веков, обращал в своего рода тиранство. Он не доверял ей детей. Похищал их у нее, отказываясь в то же время нести за них ответственность. Похищал их чувства и души, а ей предоставлял только управлять их поведением. Незавидный удел для матери. А дети обожали его, обожали, не подозревая, какая горькая пустота их ждет, когда они тоже станут взрослыми и выйдут замуж за таких же, как Эгберт, очаровательных пустоцветов.

Его любимицей оставалась по-прежнему старшая, Джойс. Теперь это было шестилетнее существо, живое, как ртуть. Барбара уже ковыляла на собственных ножках, ей пошел третий год. Жили они, по большей части, в Крокхеме, это он так хотел. Уинифред, в сущности, и сама любила Крокхем. Но в теперешнем ее состоянии, от безысходности и слепой досады, ей представлялось, будто детей здесь на каждом шагу подстерегает опасность. Гадюки, волчьи ягоды, ручей, болото, а может быть, и несвежая питьевая вода — да мало ли что! С одной стороны — шквальный огонь приказаний от матери и няни, с другой — безмятежное непослушание трех белокурых, живых, как ртуть, маленьких непосед. За

спиною у девочек, против матери и няни, стоял отец. Так-то.

— Иди скорей, няня, а то возьму и побегу туда, где змеи.

— Джойс, умеи же немножко потерпеть. Я только переодену Аннабел.

Ну, вот вам, вечно одно и то же. Работая на пустоши по ту сторону ручья, он слышал это. И все равно продолжал работать.

Вдруг послышался вопль, и он отшвырнул лопату и двинулся к мостику, вскинув голову, как потревоженный олень. Ага, вот и Уинифред — Джойс чем-то поранилась. Он стал подниматься по садовой дорожке.

— Что случилось?

Девочка кричала не умолкая. Теперь она выкрикивала:

— Папа! Папочка! Ой-ой, папа!

А мать приговаривала:

— Не бойся, маленькая. Дай-ка мама посмотрит.

Но девочка только захлебывалась криком:

— Ой, папочка, папа, папа!

Ее напугал вид крови, хлещущей у нее из колена. Уинифред, сев на корточки, привлекла шестилетнюю дочь к себе, чтобы осмотреть рану. Эгберт тоже склонился над девочкой.

— Не поднимай такой шум, Джойс,— раздраженно сказал он.— Как это с ней стряслось?

— Упала на серп — ты как резал здесь траву, так он и валяется с тех пор,— сказала Уинифред, с горькой укоризной глядя ему в лицо, когда он нагнулся ниже.

Он вынул носовой платок и обвязал им колено. Потом взял на руки плачущую дочь и понес домой, наверх, в детскую. У него на руках она утихла. Но боль и сознание вины жгли ему сердце. Он оставил серп валяться там, на краю лужайки, и вот пострадал его первенец, ребенок, который так ему дорог. Впрочем, это ведь чистая случайность — просто несчастный случай. В чем ему так уж винить себя? Вероятно, ничего страшного, через два-три дня все пройдет. Стоит ли принимать это близко к сердцу, стоит ли волноваться? Он отмахнулся от своих страхов.

Девочка лежала на кровати в летнем платьице, очень

бледная после пережитого потрясения. Пришла няня с младшей на руках; рядом, держась за ее юбку, стояла Аннабел. Уинифред, пугающе серьезная, с помертвелым лицом, нагнулась над коленом, развязывая промокший от крови носовой платок. Эгберт тоже наклонился вперед, сохраняя видимость *sang froid**, хотя на душе у него было беспокойно. Уинифред прямо одеревенела от серьезности, значит, хотя бы ему следовало проявить чувство меры. Девочка стонала и похныкивала.

Из колена по-прежнему фонтаном била кровь — порез был глубокий и пришелся в самый сустав.

— Что ж, Эгберт, нужно ехать за доктором,— с горечью сказала Уинифред.

— Ой, нет! Ой, не надо!— в ужасе заверещала Джойс.

— Джойс, душенька моя, не плачь!— Станным, полным трагизма и душевной муки движением — движением *Mater Dolorata***— Уинифред порывисто прижала девочку к груди. У Джойс даже слезы высохли от испуга. Эгберт посмотрел на трагическую фигуру жены, прижимающей к груди ребенка, и отвернулся. А маленькая Аннабел вдруг расплакалась:

— Джойси, пускай у тебя не идет из ножки крови!

За доктором Эгберт поехал в деревню, до которой было четыре мили. Все-таки Уинифред перегибает палку, думалось ему. Конечно же, само колено не повреждено. Конечно, нет. Царапина, и только.

Врача не оказалось дома. Эгберт оставил ему записку и налег на педали, спеша домой,— сердце у него сжималось от тревоги. Обливаясь потом, он соскочил с велосипеда и вошел в дом с довольно пристыженным видом, как человек, которому есть в чем себя упрекнуть. Уинифред сидела наверху у постели Джойс, а та, побледневшая и важная, ела, лежа в постели, пудинг из тапиоки. У Эгберта сердце дрогнуло при виде испуганного, бледного личика дочери.

— Я не застал доктора Уинга,— сказал Эгберт.— Он будет у нас примерно в полтретьего.

* хладнокровия (франц.).

** скорбящей матери (искаж. лат.).

— Не хочу, пускай не приходит,— захныкала Джойс.

— Джойс, родная, надо потерпеть и вести себя смиренно,— сказала Уинифред.— Тебе не будет больно. Зато доктор скажет, что делать, чтобы у тебя побыстрее зажила коленка. А для этого он должен побывать у нас.

Уинифред всегда все старательно объясняла девочкам, и всегда им в первые минуты после этого нечего было сказать.

— Кровь все еще идет?— спросил Эгберт.

Уинифред осторожно отогнула край одеяла.

— Нет, по-моему,— сказала она.

Эгберт тоже нагнулся, посмотрел.

— Да, перестала,— сказал он. Он выпрямился с прояснившимся лицом.— Доедай пудинг, Джойс,— сказал он дочери.— Это будет совсем не страшно. Несколько дней придется посидеть спокойно, вот и все.

— Пап, а ведь ты не обедал?

— Нет еще.

— Тебя няня покормит,— сказала Уинифред.

— Все будет хорошо, Джойс,— сказал Эгберт, улыбаясь дочери и отводя с ее лба прядку белокурых волос. Девочка ответила ему пленительной улыбкой.

Он сошел вниз и поел в одиночестве. Подавала ему няня. Она любила ему прислуживать. Он всегда нравился женщинам, они любили ухаживать за ним.

Явился доктор — толстенький сельский врач, неунывающий и добродушный.

— Ну что, барышня, значит, бежали и шлепнулись? Не дело, совсем не дело! А еще такая умница! Как? И коленку поранили? Ай-ай! Вот это уже напрасно! Верно я говорю? Впрочем, не беда, не беда, до свадьбы заживет. Ну-с, давайте посмотрим. Это вовсе не больно. Ни-ни, ни чуточки. Подайте-ка, няня, нам тазик с теплой водой. Скоро у нас все пройдет, все пройдет.

Джойс смотрела на него с бледной улыбкой и немножко свысока. Она совсем не привыкла, чтобы с нею так разговаривали.

Доктор нагнулся, внимательно осматривая пораненное

худенькое колено. Эгберт, стоя у него за спиной, наклонился тоже.

— М-да! Порезец довольно-таки глубокий. Скверный порезец. М-да! Но ничего. Ничего, барышня. Мы его живо вылечим. Живехонько вылечим, барышня. Тебя как зовут?

— Меня зовут Джойс,— сказала девочка внятно.

— Ах, вот как!— подхватил врач.— Вот как! Что же, по-моему, прекрасное имя. Джойс, стало быть? А сколько мисс Джойс лет, позвольте узнать? Может она мне сказать?

— Шесть лет,— сказала девочка слегка насмешливо и с безмерной снисходительностью.

— Шесть! Скажите на милость. Умеем складывать и считать до шести, я вижу? Ловко! Ловкая ты девочка. Ручаюсь, если такой девочке выпить ложечку лекарства, она выпьет и не поморщится. Не то что некоторые, да? Угадал?

— Если мама велит, я пью,— сказала Джойс.

— Ай да молодец! Вот это я понимаю! Приятно слышать такие слова от барышни, которая поранила себе ножку и лежит в постели. Молодец...

Продолжая тараторить, неунывающий доктор обработал и перевязал рану и назначил барышне постельный режим и легкую диету. Неделька-другая, и все обойдется, он полагает. Кость не задета, к счастью, связки — тоже. Поверхостный порез, не более того, он еще заглянет дня через два.

Итак, Джойс успокоили и уложили в постель и принесли ей в детскую все ее игрушки. Отец подолгу играл с ней. На третий день пришел доктор. Он остался вполне доволен коленом. Ранка подживает. М-да. Ранка определенно подживает. Дня через два он пришел опять. Унифред немного беспокоилась. На поверхности порез, казалось бы, затягивался, но он причинял девочке слишком много боли. Что-то здесь было неладно. Она поделилась своими сомнениями с Эгбертом:

— Эгберт, я боюсь, колено у Джойс заживает не так, как надо.

— А по-моему — так,— сказал он.— По-моему, все идет благополучно.

— У меня нет такой уверенности. Хорошо бы еще раз вызвать доктора Уинга.

— А ты не придумываешь? Зачем изображать все хуже, чем есть на самом деле?

— Конечно. Я от тебя и не ждала услышать ничего другого. И все же я немедленно пошлю открытку доктору Уингу.

Назавтра пришел врач. Осмотрел колено. М-да, воспаление налицо. М-да, не исключено, что начинается заражение крови,— нет, не наверное. Но не исключено. Нет ли у девочки жара?

Так прошли две недели, и у девочки в самом деле был жар, и воспаление не проходило, а становилось все хуже, и колено болело, болело ужасно. Джойс плакала по ночам, и матери приходилось просиживать до утра у ее постели. Эгберт по-прежнему твердил, что ничего страшного нет, поболит и пройдет. Твердил, а у самого кошки скребли на душе.

Тогда Уинифред написала отцу. В субботу отец был у них. И едва Уинифред увидела знакомую плотную, довольно приземистую фигуру в сером костюме, как все ее существо с тоской потянулось к нему.

— Папа, я недовольна состоянием Джойс. И недовольна доктором Уингом.

— Что ж, Уинни, милая, если ты недовольна, значит, мы должны показать ее другому врачу, вот и все.

Твердыми, уверенными шагами немолодой человек поднялся в детскую. Его голос разносился по дому резковато, словно с трудом пробиваясь сквозь сгустившуюся атмосферу.

— Джойс, душенька, как ты себя чувствуешь?— говорил он внучке.— Как коленка — болит? Болит, девочка?

— Болит иногда.— Джойс стеснялась его, вела себя с ним отчужденно.

— Ах ты, милая. Это жаль. Ты, надеюсь, держишься молодцом, не чересчур беспокоишь маму.

Отклика не последовало. Он оглядел колено. Колено было багровое и плохо сгибалось.

— Я думаю, мы определенно должны посоветоваться с другим врачом. Эгберт, ты не мог бы съездить в Бингем за доктором Уэйном? Он лечил мать Уинни и произвел на меня самое благоприятное впечатление.

— Могу, если это, по-вашему, необходимо,— сказал Эгберт.

— Конечно, необходимо. Даже если окажется, что наши опасения напрасны, у нас будет, по крайней мере, спокойно на душе. Так что — конечно, необходимо. Я предпочел бы, чтоб доктор Уэйн приехал сегодня же, если возможно.

И Эгберт, словно мальчик на побегушках, отправился крутить педали навстречу ветру, а поддерживать и ободрять Уинифред остался тесть.

Приехал доктор Уэйн и не привез с собой ничего утешительного. Да, нет сомнений, что с коленом обстоит неблагоприятно. Есть опасность, что девочка останется хромой на всю жизнь.

Страх, негодование вспыхнули в каждом сердце. Назавтра доктор Уэйн приехал снова и осмотрел колено уже как следует. Да, дела действительно приняли дурной оборот. Нужен рентгеновский снимок. Это чрезвычайно важно.

Годфри Маршалл прохаживался с доктором взад-вперед по дорожке, мимо стоящего на ней автомобиля, взад-вперед, взад-вперед, совещаясь,— сколько их было, таких совещаний, в его жизни!

Наконец он пошел в дом, к Уинифред.

— Что ж, Уинни, милая, самое лучшее — отвезти Джойс в Лондон и поместить в лечебницу, где ее смогут лечить должным образом. Колено, конечно, запустили, проглядели осложнение. И теперь, судя по всему, есть вероятность, что ребенок может даже лишиться ноги. Что ты думаешь, милая? Согласна ты отвезти ее в город и отдать в самые лучшие руки?

— Ох, папа, я для нее сделаю все на свете, разве ты не знаешь?

— Знаю, дорогая моя. Самое обидное, что уже упущено столько времени. Ума не приложу, куда смотрел доктор

Уинг. По-видимому, есть опасность, что девочка лишится ноги. Да,— так, если ты успеешь все подготовить, завтра мы повезем ее в город. Я прикажу, чтобы в десять утра сюда подали большой автомобиль от Денли. Эгберт, будь добр, сейчас же поезжай и отправь телеграмму доктору Джексону. Он держит небольшую детскую лечебницу поблизости от Бейкер-стрит, в том числе и для хирургических больных. Джойс будет там хорошо, я уверен.

— Отец, а я не могу сама за ней ухаживать?

— Видишь ли, детка, в лечебнице лучше, там ее будут лечить по всем правилам. Рентген, электричество — словом, все, что необходимо.

— Это очень дорого обойдется...— сказала Уинифред.

— Дорого или нет, не об этом надо думать, когда ребенок рискует остаться без ноги,— когда, возможно, речь даже идет о его жизни. Сейчас не время толковать о том, во что это обойдется,— нетерпеливо сказал ее отец.

На том и порешили. Несчастную Джойс положили на кровать в большом закрытом автомобиле, мать села у нее в изголовье, в ногах сел дед, плотно сбитый, несокрушимо надежный, с подстриженной седой бородой и в котелке,— и они медленно покатали прочь от Крокхема, от Эгберта, стоящего с непокрытой головой и немножко жалкого. Он остался закрыть дом и привезти на другой день в город остальное семейство на поезде.

Потянулись беспросветные, горькие дни. Бедная девочка. Бедная, бедная девочка, как она мучилась, каких натерпелась страданий за время долгого заточения там, в лечебнице. Шесть горьких недель, которые навсегда изменили душу Уинифред. Сидя у постели своей несчастной маленькой дочки, измученной адской болью в колене, а еще больше — адскими пытками этих новейших методов лечения, дьявольских, хотя, наверное, необходимых,— сидя у ее постели, Уинифред чувствовала, что сердце у нее в груди убито и окоченело. Ее Джойс, ее хрупкая, храбрая, замечательная Джойс — хрупкая, маленькая, бледенькая, словно белый цветок! Как смела она. Уинифред, быть такой гадкой,

гадкой, такой беспечной, такой чувственной!

— Пусть сердце мое умрет! Пусть умрет мое женское, мое плотское сердце. Господи, пусть мое сердце умрет, только спаси мое дитя! Пусть умрет мое сердце для мирских, для плотских вожделений. Истреби, господи, сердце, которое столь своенравно! Пусть умрет мое сердце, исполненное гордыни. Пусть мое сердце умрет.

Так молилась она, сидя у постели дочери. И, точно у матери божьей с семью клинками в груди, сердце, полное гордыни и страсти, постепенно умерло в ней, истекая кровью. Мало-помалу сердце умерло, истекая кровью, и Уинифред, ища утешения, обратилась к церкви, к Иисусу Христу, к богородице, но прежде всего — к могучему и незыблемому институту, именуемому Римская католическая церковь. Она отступила под сень церкви. Она была матерью трех детей. Но внутри она омертвела — сердце, полное гордости, и страсти, и желаний, истекло кровью и угасло; душа была отдана церкви, тело — исполнению материнского долга.

О супружеском долге и речи не было. Чувство долга у нее, как жены, отсутствовало, осталось лишь некое ожесточение против человека, с которым она познала такое сладострастие, забвение всего, о чем нельзя забывать. Теперь в ней жила одна только Mater Dolorata. Для мужчины она была запечатана, точно склеп.

Эгберт приходил проведать дочь. Но всякий раз тут же сидела Уинифред, точно склеп, где похоронен он как мужчина и как отец. Бедняжка Уинифред, совсем еще молодая, еще полная сил, румяная, красивая, как алый полевой цветок на крепком стебле. Странно: здоровый румянец на лице — и эта мрачная сосредоточенность; сильное, тяжеловатое, полнокровное тело — и эта неподвижность. Уинифред — монахиня? Никогда! А между тем двери, ведущие к ее душе и сердцу, с медлительным и звучным лязгом захлопнулись ему в лицо, навсегда закрыв ему доступ к ней. Ей не было надобности принимать постриг. Душа ее уже сделала это.

А между ними, между этой молодой матерью и этим молодым отцом, лежало изувеченное дитя: ворох бледного шелка

на подушке и белое, выпитое болью личико. У него не было сил это выносить. Просто не было сил. Он отворачивался. Ему не оставалось ничего другого, как только отворачиваться. Он отворачивался и бесцельно расхаживал туда-сюда. Он был все так же хорош и обаятелен. Но его лоб прорезала посередине угрюмая морщина, как зарубка, сделанная топором,— зарубка прямо по живому, на веки вечные, и было это позорное клеймо.

Ногу ребенку спасли, но колено окостенело намертво. Теперь боялись, как бы не начала сохнуть голень и нога не перестала расти. Девочке в течение длительного времени требовались массаж и лечебные процедуры, каждый день, даже после того, как она выйдет из лечебницы. И все расходы целиком ложились на деда.

У Эгберта теперь, в сущности, не было дома. Уинифред с детьми и няней была привязана к тесной лондонской квартире. Он там жить не мог, не мог пересилить себя. Дом стоял запертый — или его на время отдавали друзьям. Эгберт изредка наезжал в Крокхем — поработать в саду, посмотреть, все ли в порядке. По ночам в пустом доме, в окружении всех этих пустых комнат он чувствовал, как его сердцем овладевает зло. Ощущение пустоты и безысходности медлительной и вялой змеей заползало в него и медленно жалило в самое сердце. Безысходность, безысходность — страшный болотный яд проникал к нему в жилы и убивал его.

Днем, работая в саду, он чутко прислушивался к тишине. Ни звука. Не слышно Уинифред в полутьме за окошками дома, не слышно в воздухе ребячьих голосов, ни звука с пустоши, из окрестных далей. Ничего; только глухое, вековечное, напоенное болотным ядом безмолвие. Так он работал, берясь то за одно, то за другое, и за работой проходил день, а вечером он разводил огонь и в одиночестве готовил себе поесть.

Он был один. Он сам убирал в доме и стелил себе постель. Но одежду он себе не чинил. Рубашки у него на плечах порвались во время работы, и сквозь прорехи просвечивало

тело. На голое тело попадали капли дождя, его охлаждал воздух. И Эгберт в который раз окидывал взглядом пустошь, где, осыпая семена, доживали свой век темные пучки утесника и, словно окропленные жертвенной кровью, рдели кусты вереска.

Первозданный дух этих диких мест проникал ему в сердце — тоска по старым богам, старым, утраченным вожделениям; вожделения, тлеющие в холодной крови молниеносных змей, которые с шипением метались в сторону у него из-под ног; таинство кровавых жертвоприношений — все, утраченной ныне силы, ощущения первобытных обитателей этих мест, чьими страстями воздух здесь был насыщен с тех стародавних времен, когда сюда еще не приходили римляне. Воздух, насыщенный забытыми темными страстями. Незримое присутствие змей.

Странное выражение, то ли потерянное, то ли недоброе, появилось у него на лице. Ему не сиделось подолгу в Крокхеме. Внезапно его охватывала потребность вскочить на велосипед и умчаться куда-нибудь. Куда-нибудь прочь отсюда. На несколько дней он заезжал в родной дом, к матери. Мать его обожала и горевала, как горевала бы всякая мать. Но затаенная усмешка, то ли потерянная, то ли недобрая, кривила ему губы, и он уклонялся от материнского сочувствия, как уклонялся от всего другого.

Постоянно в движении — с места на место, от одного приятеля к другому — и постоянно уклоняясь от проявлений участия. Едва только к нему, как ласковая рука, тянулось человеческое участие, он тотчас безотчетно сторонился его — так уходит, уходит, уходит в сторону от протянутой руки неядовитая змея. Какая-то сила толкала его прочь. И время от времени он возвращался к Унифред.

Теперь он стал для нее ужасен, как живой соблазн. Она ведь посвятила себя детям и церкви. Джойс была опять на ногах, но, увы, хромая, закованная в железные шинки и с легким костылем. Удивительно, как она вытянулась за это время — долговязый дичок с матово-бледным лицом. Удивительно, что боль не сделала из нее пай-девочку, смиренную

и послушную, но выявила в ней вольный, почти вакхический дух. Семи лет она превратилась в длинноногое, бледное, худенькое, но нимало не сломленное существо. Ее белокурые волосы постепенно потемнели. Ей еще предстояло пройти долгий путь страданий, неся в своем детском сознании клеймо хромоножки.

Что ж, она несла его с достоинством. Ею владела какая-то вакхическая отвага, словно она была тонким, длинным клинком юности, отстаивающей жизнь. Она знала, сколь многим обязана материнской заботе. Она была предана матери навсегда. Но в ней сказывалась отцовская порода, та же отчаянность сверкала в ней каленой сталью.

Когда Эгберт видел, как мучительно хромает его дочь — не просто хромает, а по-детски мучительно ковыляет, припадая на искалеченную ногу, сердце в нем отвердевало вновь, как сталь, когда ее вновь закаляют огнем. Между ним и его девочкой царило молчаливое понимание — не то, что принято разуметь под любовью, а некое родство, объединяющее товарищей по оружию. В его обращении с нею сквозила легкая ирония, так не похожая на тяжеловесную серьезность, с которой неусыпно пеклась о дочери Уинифред. В ответ по лицу девочки пробегала быстрая улыбка, полунасмешливая, полубесшабашная, — ни с чем не сообразное легкомыслие, от которого Уинифред только еще больше темнела и еще ревностнее исполняла свой долг.

Маршаллы с бесконечным терпением и упорством изыскивали малейшую возможность спасти больную ногу и вернуть ребенку свободу движений. Они не жалели на это ни труда, ни денег, на этом сосредоточили всю свою волю. С присущей им тяжеловесной, медлительной, но несокрушимой силой духа они положили вернуть Джойс легкость и подвижность, возродить ее свободную, естественную грацию. Неважно, если на то, чтобы этого добиться, уйдет много времени, — важно добиться.

Так обстояли дела. Неделю за неделей, месяц за месяцем Джойс подчинялась жестоким требованиям врачей, безропотно сносила боль. Она видела, с какой самоотвержен-

ностью ей стараются помочь, и была благодарна. Но душой, неукротимой и пылкой, она была в отца. В отце воплотилось для нее все обаяние романтики. Они с ним словно бы принадлежали к запрещенному тайному обществу, члены которого знают друг друга, но не имеют права обнаружить это. Обоим ведомо было что-то, что другим неизвестно, оба несли в себе одну и ту же тайну бытия — отец и дочь. Только дочь самоотверженно держалась в стане матери, а отец, подобно Измаилу, скитался за его пределами и лишь изредка заходил посидеть два-три часа, два-три вечера подле лагерного костра, подобно Измаилу в загадочном и напряженном молчании, и глумливый голос пустыни отвечал за него из глубины его молчания, ниспровергая все, что стоит за понятиями семья и дом.

Его присутствие было для Унифред мукой. Она молилась, ограждая себя от него. От этой зарубки поперек его лба, от затаенной недоброй усмешки, то и дело пробегающей у него по лицу, а пуще всего — от этого его торжествующего одиночества, от Измаилова духа. От красноречивой, точно символ, прямизны его гибкого тела. Одно то, как он стоял, такой неслышный, ненадежный, точно прямой, напряженный символ жизни,— одно противостояние этого налитого жизнью тела ее удрученной душе было пыткой. Он ходил, он двигался перед нею как упругое, живое языческое божество, и она знала, что, если он будет оставаться у нее на глазах, она погибла.

И он приходил и вел себя как дома в ее маленьком доме. Когда он был тут, неслышно, как он умел, двигался по комнатам, ее охватывало чувство, что великий закон самопожертвования, которому она добровольно подчинила свою жизнь, ровным счетом ничего не стоит. Одним лишь своим присутствием в доме он ниспровергал законы, по которым она жила. А что он предлагал взамен? Вот вопрос, от которого она лишь укреплялась в своем отступничестве.

Ей было мучительно мириться с тем, что он рядом,— видеть, как он ходит по комнатам, слышать его высокий звучный голос, когда он разговаривает с детьми. Аннабел

просто обожала его, и он дурачился, поддразнивая девчушку. Младшая, Барбара, держалась с ним неуверенно. Ей он с самого рождения был чужим. Но даже няня, и та возмущалась, видя, как сквозь прорехи в его продранной на плечах рубашке просвечивает тело.

Унифред считала, что это просто еще один способ уязвить ее.

— У тебя есть другие рубашки, Эгберт, что ты ходишь в этой, старой, ведь она вся порвалась,— говорила она.

— Ничего, могу и эту доносить,— отвечал он не без коварства.

Он знал, что она ни за что не вызовется починить ему рубаху. Она не могла. Да и не хотела, правду сказать. Разве она не дала себе зарок чтить иных богов? Как же можно было им изменить, поклоняясь его Ваалам и Астартам? Сущей мукой ей было видеть его, еле прикрытого одеждой, как бы ниспровергающего ее и ее веру, подобно новому откровению. Точно языческий идол, сиянный светом, он был призван сюда ей на погибель — светозарный идол жизни, готовый торжествовать победу.

Он приходил и уходил — она все не сдавалась. И вот грянула великая война. Такой человек, как Эгберт, не может пуститься во все тяжкие. Не может предать себя растлению. В нем, истом сыне Англии, говорила порода: такой, как он, даже при желании не мог бы исповедовать низменную злобу.

И потому, когда грянула война, все существо его безотчетно восстало против нее — восстало против побоища. Он не испытывал ни малейшего желания идти побеждать каких-то иноземцев, нести им смерть. Величие Британской империи не волновало его, и слова «Правь, Британия!» вызывали разве что усмешку. Он был чистокровный англичанин, совершенный представитель своей нации, и не мог, оставаясь верным себе, исполниться воинственности на том лишь основании, что он — англичанин, как не может исполниться воинственности роза на том лишь основании, что она — роза.

Нет, Эгберт положительно не испытывал желания разить немцев во славу англичан. Различие между немецким и

английским не было для него различием между добром и злом. Для него это было просто несходство, такое же, как между болотным голубеньким цветком и белым или алым бутоном на кусте. Как между вепрем и медведем, хоть оба — дикие звери. Бывают люди хорошие по природе, бывают — дурные, и национальность тут ни при чем.

Эгберт вырос в семье, где такое усваивают с молоком матери. Ненавидеть нацию en bloc* казалось ему противоестественным. Он мог недолюбливать одного, любить кого-то другого; слово «народ» не говорило ему ничего. Одни поступки он не одобрял, другие — считал естественными; на каждый случай жизни он не имел определенного мнения.

Но одна благородная особенность была у него в крови. Он не терпел, чтобы ему навязывали мнения в соответствии с мнениями большинства. У него есть собственный взгляд на вещи, свое особое отношение к ним, и никогда он по доброй воле от них не отступится. Неужели человек должен отступить от своих подлинных представлений, своего подлинного «я» потому лишь, что так угодно толпе?

То же самое, что тонко и безоговорочно понимал Эгберт, понимал и его тесть, на свой грубоватый, строптивый лад. При всем несходстве, эти двое были истые англичане, и побуждения у них почти совпадали.

Только Годфри Маршаллу приходилось считаться еще и с окружающим миром. С одной стороны, была Германия, одержимая духом военной агрессии; с другой стороны — Англия, выдвигающая в противовес войне идею свободы и «мирных завоеваний», иначе говоря — индустриализм. Из двух зол выбирают меньшее; и, поставленный перед выбором: милитаризм или индустриализм, старый Маршалл волей-неволей отдавал предпочтение второму. Старый Маршалл, в душе которого столь живо было врожденное стремление к власти.

Эгберт же попросту отказывался считаться с окружающим миром. Отказывался хотя бы сделать выбор между германским милитаризмом и британским индустриализмом.

* в целом (франц.).

Не отдавал предпочтения ни тому, ни другому. Что до актов жестокости, он презирал тех, кто их совершает, как вырожденков с преступными наклонностями. Преступление не связано с национальной принадлежностью.

Но вот — война! Война! Война — и точка! Не рассуждения о том, кто прав, а кто не прав, — сама война. Что ему делать? Идти в армию? Отдать себя в руки войны? Этот вопрос преследовал его не одну неделю. Но не от сознания, что Англия права, а Германия — нет. Возможно, Германия и в самом деле была виновата, да он-то отказывался делать выбор. Нет, не от воодушевления преследовал его этот вопрос. А оттого, что грянула война.

Его удерживала мысль, что, вступая в армию, он должен отдать себя во власть других людей, смирить свой дух перед духом демоса, духом толпы. Полно — да надо ли? Надо ли перекраивать жизнь свою и тело по мерке тех, кто как личность заведомо уступает тебе? Надо ли предавать себя власти тех, кто тебя ниже? Предавать самого себя? Надо ли?

И однако, он знал, что сделает это, признает над собою власть тех, кто ниже его. Он подчинится. Позволит, чтобы им командовали ничтожества, *capaille**, унтер-офицерский сброд — или пусть даже офицерский, какая разница. Им, который рожден и возвращен свободным... Надо ли?

Он пошел поговорить с женой.

— Идти мне в армию, Уинифред?

Она молчала. В ней, как и в нем, все безотчетно и безоговорочно восставало против этого. Но затаенная глубокая обида заставила ее ответить:

— У тебя трое детей на руках. Ты об этом подумал, хотела бы я знать?

Шел только третий месяц войны, и старые, довоенные представления не успели еще изжить себя.

— Разумеется. Но для них это не составит особой разницы. Буду по крайней мере зарабатывать шиллинг в день.

— Знаешь что, говори лучше с отцом, — угрюмо отозвалась она.

* чернь, сброд (франц.).

Эгберт пошел к тестю. Старик, глубоко им возмущенный, ожесточился сердцем.

— Для тебя, по-моему, это будет самое лучшее,— уронил он неприязненно.

Эгберт тут же пошел и вступил в армию, рядовым. Его зачислили в легкую артиллерию.

Отныне у Уинифред появился по отношению к нему новый долг: долг жены перед мужем, который в свою очередь исполняет свой долг перед миром. Она все еще любила его. И знала, что будет любить всегда, если говорить о земной любви. Но теперь она руководствовалась в жизни чувством долга. Когда он приходил к ней — солдат в солдатской форме,— она, как подобает жене, покорялась ему. Это был ее долг. Но покоряться безраздельно его страсти она научилась навсегда. Теперь — и уже навсегда — что-то мешало ей: мешало то, что она решила для себя, в глубине души.

Он возвращался обратно в лагерь. Облик современного солдата не шел ему. Унылая, жесткая, топорная форма убивала его, погребая под собой изящество его сложения. Унизительная скученность лагерной жизни оскорбляла деликатность, присущую человеку его воспитания. Но выбор был сделан, и он мирился. Неприятное выражение портило его лицо — выражение человека, который мирится со своим падением.

Ранней весной Уинифред поехала в Крокхем, спеша захватить ту пору, когда выглянут примулы и на кустах орешника повиснут сережки. Теперь, когда Эгберт проводил почти все дни в лагерной неволе, ей было легче его прощать. Джойс не помнила себя от восторга, снова увидев сад и пустошь после мучительных восьми с лишним месяцев лондонской жизни. Она еще хромала. Нога ее еще оставалась в оковах. Но она ковыляла повсюду с проворством, нимало не обузданным ее увечьем.

Эгберт приехал в конце недели в своей топорной, жесткой, как наждачная бумага, форме, в обмотках, в уродливой фуражке. Ужасное зрелище! И это лицо, как бы не дочиста отмытое, эта болячка на губе, точно след невоздержанности

в еде и питье, точно что-то нечистое попало к нему в кровь. Он до безобразия поздоровел от лагерной жизни. Это ему не шло.

Уинифред ждала его, страстно желая исполнить свой долг, пожертвовать собой; ждала, готовая служить — солдату, не мужчине. Ему от этого становилось только тошней. Эти дни были пыткой для него: память о лагере, сознание, какая его там ждет жизнь, даже вид собственных ног в ненавистном хаки. Словно что-то нечистое проникало к нему в кровь от прикосновения заскорузлой ткани и засоряло ее. И потом — Уинифред, ее готовность служить *солдату*, когда мужчину она отвергла. Горечь, словно сор, скрипела у него на зубах. И дети, их беготня, возня, их голоса, и все — с налетом особого жеманства, какое бывает у детей, когда есть няня, есть гувернантка, есть бабушка, которая пишет стихи. И Джойс — такая хромая! Все это, после лагеря, казалось ему ненастоящим. Это лишь растревляло ему душу. В понедельник на рассвете он уехал, радуясь, что возвращается к грубой лагерной действительности.

Больше Уинифред ни разу не встречалась с ним в Крокхеме — только в Лондоне, где вместе с ними был целый свет. Иногда, правда, он ездил туда один; обычно, когда там жил кто-нибудь из друзей. Копался в своем саду. Еще этим летом сад заблестит лазурью воловиков, пурпуром огромных маков; мягко закачают станом на ветру пушистые коровяки, его любимцы, а ночью, под уханье филина, жимолость будет струить свой аромат, сладостный, точно воспоминание. Потом он подсаживался к камину, у которого собирались его друзья и сестры Уинифред, и они пели хором народные песни. Он переодевался в тонкое штатское платье, и его обаяние, красота, упругое совершенство его тела вновь победно проступали наружу. Но Уинифред там не было.

В конце лета его отправили во Фландрию, где шли бои. Он как бы уже простился с жизнью, ступил за ее пределы. Он больше почти не вспоминал свою жизнь, как человек, который готовится совершить прыжок с высоты и глядит лишь туда, где ему предстоит приземлиться.

Он был дважды легко ранен, в первые два месяца. Но оба раза получал царапины, с какими выбывают из строя на день-другой, не больше. Они опять отступали, сдерживая противника. Три скорострельные пушки — его в том числе, — прикрывали отход. Окрестность, еще не вытоптанная войной, ласкала глаз. Только воздух, казалось, раскололся на части, и земля лежала, обреченная смерти. Шли маловажные, небольшие бои, и в одном таком участвовал Эгберт.

Пушки были установлены на невысоком, поросшем кустами бугре, сразу же за деревней. Время от времени, трудно сказать откуда, доносилась винтовочная трескотня, а за нею, совсем уже издалека, тяжкие удары орудий. Вечерело; в остывающем воздухе тянуло холодом.

Высоко на железной площадке, к которой вели ступени, стоял, высматривая цели, лейтенант и заученно, отрывистым высоким голосом выкрикивал команды. Дистанция — номер орудия — «огонь!» — сухо щелкало над головой. Выстрел — и ствол пушки откатывался назад, гремел взрыв, и в воздухе легким облачком повисал дымок. Потом стреляли два других орудия, и наступало недолгое затишье. Офицер не знал точно, где находятся позиции противника. В густой купе конских каштанов внизу не наблюдалось никакого движения. Лишь где-то не умолкая бухали пушки — в такой дали, что это вселяло ощущение покоя.

Справа и слева темнели заросли утесника, но там и сям в них желтыми искорками проглядывали редкие цветы. Эгберт заметил их почти безотчетно, пережидая минуты затишья. Он был без кителя, и воздух охлаждал ему руки. Снова рубашка у него на плечах порвалась, и сквозь прорехи просвечивало тело. Он был заляпан грязью, растерзан. Но лицо его оставалось спокойным. Столь многое уходит из сознания, прежде чем сознанию приходит конец...

Перед ним, рассекая крутые, травянистые под кустами утесника скаты, бежал большак. Видно было, как на дороге белесо подсыхает грязь в колеях и глубоких рытвинах, оставленных при отходе частью его полка. Теперь здесь все стихло. Звуки, долетающие до слуха, рождались вдалеке.

Место, где он стоял, было пока еще объято тишиной и безмятежностью под остывающими небесами; за деревьями, светлая, точно видение, маячила церковка.

Резкий окрик офицера наверху — и он пришел в движение, бездумно и молниеносно, как машина. Заученный, чисто механический обряд повиновения; служба при орудии. Чисто механические действия у пушки. Они не обременяли собою душу, обнаженную, во тьме своей, для скорби. Когда приходит конец, душа одиноко скорбит над потоком вечности, словно птица над волнами темного моря.

Ничего не видно вокруг; лишь дорога, да придорожное распятие, покосившееся от толчка, да по-осеннему темные поля и леса. На небольшой возвышенности показались три всадника, совсем игрушечные на гребне вспаханного поля. Это были свои. Противник будто в воду канул.

Затишье затянулось. Вдруг, сверху — отрывистая команда повернуть пушки в другом направлении, и напряженное лихорадочное движение вниз. Но душа была по-прежнему безучастна, одинокая в своей скорби.

И все же именно душа первая уловила новый звук, новый орудийный раскат, глубокий, хватаящий прямо за сердце. Обливаясь потом, он ни на секунду не оторвался от торопливой возни у пушки. Но в душе отозвался новый звук, глубокий — глубже, чем звуки жизни.

Подтверждением ему возник тонкий, ледящий кровь свист снаряда, внезапно переросший в пронзительный, раздирающий вопль, летящий пронзить оболочку жизни. Слух принял его, но приняла и душа, застывшая в оцепенении. Он облегченно вздохнул, когда снаряд пронесся мимо и ударился оземь, далеко позади. Послышался хриплый грохот взрыва и голос солдата, окликающий лошадей. Но Эгберт не оглянулся. Он заметил только, что на дорогу внизу легла, точно приношение, веточка остролиста, усыпанная красными ягодами.

Пронесло; на этот раз пронесло. Куда ты пойдешь, туда и я пойду*. Кому он это сказал — снаряду? Куда ты пой-

* Библия. Ветхий завет. Книга Руфь, 1, 16.

дешь, туда и я. Но вот опять родился тонкий свист снаряда, и кровь в нем оборвала свой ток и затаилась, готовая его принять. Свист нарастал, похожий на порыв зловещего ветра, и Эгберт потерял способность ощущать что бы то ни было. Но в этот миг, когда время остановилось, он увидел, как снаряд тяжело падает вниз, в скалистые заросли, и оттуда хлынула ввысь земля вперемешку с камнями. Взрыва он как будто не слышал. Комья земли, камни и истерзанные кусты посыпались обратно, и вновь воцарилась тишина. Немцы пристрелялись.

Что же теперь? Отступать? Да. Офицер скороговоркой сыпал команды на последний залп перед отходом. В спешке никто не обратил внимания на новый снаряд. И тогда в тишину, в ожидание, туда, где скорбно застыла душа, ворвались наконец гром, и мгла, и вспышка нестерпимой боли, и смертный ужас. Он-то видел, как летит темная птица, летит теперь уже прямо на него. В одно мгновение жизнь и вечность потопил пожар адской боли, а потом навалилась темнота...

...Что-то слабо забрезжило во тьме, к нему возвращалось сознание, а вместе с ним — ощущение непосильной тяжести и монотонный звон в ушах. Познать миг смерти! И быть, перед смертью, обреченным нести в себе память о нем. Поистине рок, беспощадный до последнего вздоха.

Вновь, отдаваясь в ушах, зазвенела боль. Чудилось, будто она звучит извне, по ту сторону сознания, будто совсем рядом звонил огромный колокол. И однако, он знал, что боль — это он сам. Нужно было отождествить себя с нею. Выйдя из забытья, он сделал еще одно усилие и определил, что боль — у него в голове; огромная боль звенит, отдаваясь в ушах. Настолько ему удалось отождествить себя с самим собою. До того, как снова впасть в забытье.

Какое-то время спустя он, как видно, очнулся опять — очнулся и осознал, что он на фронте и что его убили. Он не открывал глаз. Свет пока оставался там, за чертою. Боль, точно гулкий колокол, звонила у него в голове, вытесняя из сознания все остальное. И он уходил от сознания

в невыразимом, страдальческом неприятии жизни.

Мало-помалу, неминуемая, точно рок, явилась потребность знать. Его ранило в голову. Вначале это была лишь смутная догадка. Но маятник боли, качаясь, раскачиваясь все ближе и ближе, толкал его к муке сознания, к сознанию муки, в котором постепенно рождалась ясность. Да, он ранен в голову — ранен в лоб, над левым глазом, а раз так — должна быть кровь. Чувствует ли он кровь — залит ли кровью левый глаз?.. И оболочка его мозга, казалось, лопнула от звона смертельной, безумной боли.

Что это — кровь у него на лице? Струя горячей крови? Или кровавый сгусток, запекшийся на щеке? Ему понадобились часы, чтобы только задать этот вопрос,— время лишилось измерений, став лишь безмерным страданием во тьме.

Он долго пролежал с открытыми глазами, пока сообразил, что видит что-то — но что? Что? Усилие вспомнить, что он видит, оказалось слишком мучительным. Нет, нет! Никаких воспоминаний!

Что это — звезды на темном небе? Неужели? Звезды на темном небе. Звезды? Вселенная? Но нет — почему ему знать! Звезды, вселенная больше не существуют для него; он закрыл глаза. Прочь, звезды, прочь, небо, вселенная. Сгиньте! Пусть остается темнота, густая, словно кровь. Пусть все поглотит густая тьма, в которой кровь изнывает от страданий.

Приди, о смерть! Весь мир есть кровь, и эта кровь корчится в агонии. Душа — как малый светлячок, малая точка света над темным морем; морем крови. Свет мерцает, бьется, трепещет в безветрии бури, тщится угаснуть и не может. Когда-то была жизнь. Когда-то была Уинифред, дети. Но бессильная от смертной муки попытка ухватиться за соломинку воспоминаний, соломинку минувшей жизни, вызвала только необоримое отвращение. Не надо! Не надо Уинифред и детей. Не надо мира, людей, населяющих его. Пусть муки влекут его дальше, в небытие — все лучше, чем тошнотворные попытки вернуться вспять. Пусть вершится дальше

страшное дело; лучше раствориться в небытии, безвозвратно кануть в черное море смерти, чем, обратясь назад, цепляться за жизнь. Забыть! Забыть! Предать забвению — и предаться великому забвению смерти. Истребить в себе жизнь, вырвать с корнем — и кануть в великую мглу. Только так. Оборвать путеводную нить и смешаться, слиться воедино с вездесущей мглой, без начала и без конца. Пусть черное море смерти само решит вопрос о жизни иной. Пусть сломит смертный волю свою и смирится.

Но что это? Свет! Ярый свет! И чьи это фигуры? Не конь ли это исполинский подступил к нему — небывалый конь-исполин вырос над ним?..

Немцы услышали легкий шорох и насторожились. Взвилась осветительная ракета, и в ее слепящем свете, у холмика земли, насыпанной взрывом снаряда, они увидели мертвое лицо.

Самсон и Далила

С автобуса, что ходит от Пензанса в Сент-Джаст-в-Пенвисте, слез мужчина и повернул на север, в горку, держа на Полярную звезду. Было всего только полседьмого, но уже высыпали звезды, с моря налетал холодный ветерок и троекратно, ровно пульсировал в ранних сумерках хрустальный свет маяка под утесами.

Мужчина был один. Он шел своей дорогой уверенно, хотя при этом настороженно и с любопытством озирался по сторонам. Из темноты, подобно остаткам некой исчезнувшей цивилизации, то и дело вставали очертания полуразрушенных копров, торчащих над оловянными шахтами. Там и сям, разбросанные по мгlistым косогорам, сиротливыми огоньками мерцали шахтерские дома, излучая убогий уют в одиночестве кельтской ночи.

Мужчина шагал твердой поступью, все так же зорко и с любопытством поглядывая вокруг. Он был высок, ладно скро-

ен и, по всей видимости, в расцвете сил. Какая-то скованность ощущалась в развороте его широких плеч, он на ходу слегка клонился вперед, от бедер, как нагибаются, когда хотят казаться ниже ростом. Но не сутулил плечи, а шел с прямой спиной, слегка клонясь вперед от бедер.

Время от времени ему попадались навстречу горняки-корнуоллцы, коренастые, приземистые, толстоногие, и с каждым он неизменно здоровался, как бы подчеркивая, что он здесь свой. Слова он произносил на западнокорнуоллский лад. Мужчина шагал по унылой дороге, поглядывая то на огоньки жилья на суше, то на далекие огни на море, где, завидев Лонгшипский маяк, меняли свой курс суда, и вид у мужчины был немного взволнованный и довольный собой; внимательный, приятно возбужденный, он двигался по курсу как хозяин положения, уверенный в своей силе.

Постепенно дорогу обступили дома — начинался шахтерский поселок, запущенный, беспорядочный, застроенный как попало, знакомый ему с давних пор. Слева, отступя от дороги, приветливо светились на тесной площади окошки трактира. Вот оно! Он бросил пытливый взгляд на вывеску: «Шахтер у камелька». Нет, имени хозяина не разобрать. Мужчина прислушался. Оживленный гомон разговора, хохот, и женский залиvistый смех в хоре мужских голосов.

Пригнув голову, он шагнул в тепло освещенного трактира. Здесь горела лампа, по выскобленному добела сосновому столу были раскиданы карты, черные, белые, красные; из-за стола встала дородная женщина, и кое-кто из мужчин-горняков оторвался от игры и поднял голову.

Отворачиваясь от взглядов, незнакомец прошел к стойке. Он был в кепке, нахлобученной на самые глаза.

— Добрый вечер! — вкрадчиво пропела хозяйка.

— Добрый вечер. Мне кружку эля.

— Кружку эля, — подхватила хозяйка услужливо. — Холд нынче — зато ясно.

— Да, — коротко согласился мужчина. И, когда от него больше ничего не ждали, прибавил: — По времени года и погода.

— В аккурат по времени, в самый аккурат,— сказала хозяйка.— Правда ваша.

Мужчина сразу поднес кружку к губам и осушил до дна. Со стуком поставил ее опять на оцинкованную стойку.

— Теперь повторим.

Женщина нацедила ему пива, и он, взяв кружку, отошел ко второму столу, у очага. Хозяйка, помедлив минуту, вновь села к игрокам, на прежнее место. Она уже заметила гостя: рослый, видный, хорошо одет и нездешний.

Правда, выговор у него был немного в нос, как у любого шахтера из местных,— смесь корнуоллского с североамериканским.

Незнакомец положил ногу на каминную решетку и стал смотреть на огонь. Смуглый румянец играл на его красивом лице с четким, как у исконного корнуоллца, очерком бровей и бездумным выражением темных корнуоллских глаз. Казалось, он целиком ушел в свои мысли. Но вот он принялся наблюдать за игроками.

Хозяйка, дородная, пышущая здоровьем, была темноволоса, с карими небольшими быстрыми глазами. Ее распирало от избытка жизненных сил, она предавалась карточной игре с таким азартом, что невольно заражала мужчин,— они горланили, хохотали, а женщина, покатываясь со смеху, хваталась за грудь.

— Ой, батюшки, умираю!— задыхаясь, приговаривала она.— Нет, в самом деле, мистер Тревору, так нечестно. Или мы честно играем, слышите, или я бросаю карты!

— Честно? Да кто ж это играет нечестно?— восклицал мистер Тревору.— Уж не хотите ли вы сказать, миссис Нанкервис, будто я передергиваю?

— Да, хочу. И скажу — передергиваете. Не у вас ли на руках пиковая дама? То-то, и нечего дурачить меня. Я же знаю, дама у вас, не будь я Алиса Нанкервис!

— А, так вас зовут Алисой? Тогда ладно, получайте даму...

— Ну, что я говорила? Видали вы такого когда-нибудь? Ох и проста, небось, жenuшка у вас, как я погляжу!

И она вновь заливалась смехом. В разгар веселья с улицы

вошли четверо в военной форме: коренастый невысокий сержант средних лет, молодой капрал и два молоденьких солдата. Хозяйка откинулась на спинку стула.

— Батюшки! Никак служивые возвратились — и, похоже, окоченели до смерти...

— До смерти! — вскричал сержант. — Не совсем покамест, мамаша.

— Не совсем, но около того, — хмуро буркнул один из солдат.

— Надо думать, голубчики вы мои. И закусить, я полагаю, не прочь.

— Не мешало бы.

— Сперва не грех промочить горло, — сказал сержант.

Хозяйка захлопотала, готовя выпивку. Солдаты расположились возле очага и протянули руки к огню.

— Вам ужин сюда подавать? — спросила она. — Или на кухне будете?

— Давайте сюда, — ответил сержант. — Здесь оно вроде бы уютнее — если вы, конечно, не против.

— Кушайте, милые, где вам любо, кушайте на здоровье.

Она скрылась. Через минуту в дверях появилась девушка лет шестнадцати. Высокого роста, свежая, с темными, юными, ничего не выражающими глазами и четким очерком бровей, с незрелой мягкостью и бездумностью чувственной кельтской природы.

— А вот и Марианна! Вечер добрый, Марианна! Как жизнь молодая? — встретил ее хор приветствий.

Она отвечала каждому тихим голосом, с каким-то своеобразным, тихим и очень милым достоинством. Она и двигалась мило, с безотчетной грацией, словно витая мыслями где-то вдалеке. Она вообще держалась как бы на отдалении, вся повадка ее дышала скромностью. Незнакомец, сидя у камина, пытливо наблюдал за нею. Пытливое, острое, бездумное любопытство изображалось на его смуглом и румянном лице.

— Я бы тоже поужинал у вас, если можно, — сказал он.

Она обратила к нему свой взгляд, ясный, не замутненный

мыслью, точно взгляд неразумной твари.

— Надо спросить у матери,— сказала она. Голос ее был легок, как вздох, певуч и нежен.— Хорошо,— почти шепотом сказала она, возвратясь из кухни.— Что вам дать?

— А что у вас есть?— спросил он, глядя ей в лицо.

— Есть холодное мясо...

— Вот и славно.

Незнакомец уселся на конце стола и начал есть вместе с усталыми, притихшими солдатами. Теперь внимание хозяйки целиком сосредоточилось на нем. Ее брови круто сошлись к переносице, на широком здоровом лице было написано смятение, но пристальный взгляд небольших карих глаз сулил недоброе. У нее, крупной, широкой в кости, глаза были небольшие, цепкие. На ней была фланелевая кофточка довольно кричащей расцветки и черная юбка.

— Что будете пить за ужином?— спросила она с новым, недобрим оттенком в голосе.

Он принужденно поворочался на скамье.

— Я уж как начал с эля, так и продолжу.

Она нацедила ему еще кружку. Потом подседа за стол к нему и солдатам и впилась в него пристальным взглядом.

— Вы что же, из Сент-Джаста прибыли?

Он поднял на нее свои темные и ясные, непроницаемые корнуоллские глаза и, помолчав, ответил:

— Нет, из Пензанса.

— Из Пензанса! И неужели рассчитываете сегодня поспеть назад?

— Да нет. Нет.

Он не сводил с нее широко открытых, ясных глаз, похожих на отшлифованные до блеска агаты. В женщине пробуждался гнев. Это было заметно по ее лицу. Но голос ее звучал по-прежнему вкрадчиво, подобострастно:

— Я так и думала — но вы не в наших краях живете?

— Нет... нет, я живу не здесь.— Всякий раз он отвечал не сразу, словно что-то стояло между ним и любым вопросом, обращенным к нему извне.

— А, понятно,— сказала она.— Значит, у вас тут родня.

Опять он посмотрел ей прямо в глаза, точно принуждая ее взглядом к молчанию:

— Да.

Больше он ничего не прибавил. Хозяйка порывисто встала. Гнев резче проступил на ее лице. В этот вечер не было больше ни смеха, ни игры в карты, хотя в обхождении с мужчинами она оставалась по-матерински благодушной и услужливой. Но все равно мужчины присмирели, они слишком хорошо знали и побаивались ее.

Ужин был съеден, посуда убрана со стола, а незнакомец все не уходил. Оба молоденьких солдата пошли спать, приветливо кинув на прощанье:

— Спокойной ночи, мамаша. Спокойной ночи, Марианна.

Незнакомец и сержант скупно переговаривались о войне — шел первый год ее, о новой армии, часть которой была расквартирована в этом районе, об Америке.

Небольшие хозяйкины глаза то и дело метали в него молнии, буря в ее груди с минуты на минуту нарастала, а он по-прежнему не трогался с места. В ней все ходило ходуном, она едва сдерживалась, и в этом было что-то страшноватое, противоестественное. Она секунды не могла усидеть спокойно. Ее грузное тело как бы помимо воли совершало внезапные, резкие движения, но минуты тянулись, а он все сидел, и ее сердце грозило разорваться от томления. Она следила, как движутся стрелки на часах. Уже и капрал отправился спать, остался только коротко стриженный пожилой сержант, маленький и жилистый, как терьер.

Хозяйка сидела за стойкой, негодуя шурша газетой. В который раз она посмотрела на часы. Без пяти десять, наконец-то!

— Господа — время! — объявила она сдавленным от бешенства голосом. — По домам, голубчики. Прошу — время. Желаю всем спокойной ночи!

Мужчины потянулись к выходу, коротко прощаясь с нею. До десяти часов оставалась одна минута. Хозяйка встала.

— Всех прошу, — сказала она. — Я запираю.

Последний из шахтеров скрылся за порогом. Женщина,

большая, грозная, стояла, придерживая дверь. А незнакомец, расстегнув черное пальто, сидел себе возле огня и курил.

— У нас закрыто, сударь,— раздался задущенный, зловещий голос хозяйки.

Сметливый, маленький, схожий с терьером сержант тронул незнакомца за руку.

— Закрывается заведение,— сказал он.

Незнакомец, не вставая с места, обернулся и перевел с сержанта на хозяйку живые, темные, блестящие, как самоцветы, глаза.

— Я сегодня остаюсь здесь,— коротко сказал он на своем корнуоллско-американском наречии.

Хозяйка стала как будто выше ростом. И странно, жутковато завела глаза.

— Вот как?— воскликнула она.— Да ну? Это кто ж так распорядился, позвольте спросить?

Он снова поднял на нее глаза:

— Я распорядился.

Машинальным движением она закрыла дверь и, как большая грозная птица, надвинулась на него. Ее голос окреп, он звучал хриповато:

— Что значит «я», скажите на милость? Кто вы такой, чтобы распоряжаться в моем доме?

Он следил за нею, не шевелясь.

— Ты знаешь, кто я такой,— сказал он.— Во всяком случае, я знаю, кто ты такая.

— Ах, да? Серьезно? И кто же я такая, объясните, если не затруднит?

— Хозяйка моя, вот кто. Законная жена. И ты это знаешь не хуже меня.

Женщина содрогнулась, будто в ней что-то взорвалось. Глаза ее бешено вспыхнули, она завела их снова.

— Знаю?— крикнула она.— Еще чего! Ничего я такого не знаю. Ничего! Вообразил, будто можно зайти в трактир и так это, между прочим, заявить, будто я ему жена,— а я и поверила! Нет, уважаемый — уж не ведаю, как вас величать,— вы обознались. Никакая я вам не хозяйка, так что

будьте любезны, ступайте отсюда сию минуту подобру-поздорову, покуда я не кликнула людей, чтоб вас выставили.

Незнакомец поднялся, слегка вытянув шею в ее сторону. Он был красиво сложен, этот корнуоллец в расцвете сил.

— Ты что это, а? Или не узнала меня?— проговорил он певучим голосом, невыразительным и глуховатым, но настойчивым — всякий уловил бы в нем сходство с голосом хозяйкиной дочери.— Я бы тебя, например, узнал где хочешь. Верь слову! С единого взгляда узнал бы. Уж ты мне поверь.

Женщина смешалась.

— Мало ли что,— отвечала она отрывисто.— Мало ли кто что скажет. Это проще простого. Мое имя на десять миль кругом почитай что всякий знает и уважает. А вот кто такой вы — неизвестно.

Она подбавила в голос яду:

— Прямо говорю — знать вас не знаю. Чужой и чужой — я вас, думается, и в глаза-то никогда раньше не видала.

Ее богатый оттенками голос звучал ядовитой насмешкой.

— Нет, видала,— все с тою же основательностью возразил мужчина.— Очень даже видала. Имя ты носишь мое, и Марианна у тебя — от меня, она моя дочка. А сама ты — моя хозяйка, и это сущая правда. Не будь я Уилли Нанкервис.

Он произнес это как очевидную истину. На его красивом лице сквозь неусыпную настороженность проступало железное упорство, и это упорство бесило хозяйку больше всего.

— Ах ты, злодей!— крикнула она.— Как у тебя совести хватило, злодей, явиться в этот дом и разговоры со мной разговаривать? Подлец ты после этого, вот ты кто!

Он окинул ее взглядом.

— Согласен,— хладнокровно сказал он.— Все справедливо.— Он чувствовал себя неловко перед нею. Только он не боялся ее. Было в нем что-то непроницаемое, подобное его глазам, блестящим, как отшлифованные агаты.

Женщина выпрямилась во весь рост и угрожающе подступила к нему.

— Вот и убирайся из этого дома, понятно?— Она топнула ногой в порыве ярости.— Сию же минуту!

Он следил за каждым ее движением. И видел, что ее подмывает ударить его.

— Нет,— проговорил он с мягким нажимом.— Я же сказал, что останусь здесь.

Он робел, зная, на что она способна, но это ничего в нем не меняло. Женщина на мгновение замялась. Ее янтарно-карие небольшие глаза сузились, как у тигрицы, превратятся в две точки слепой, лютой ярости. Мужчина поежился, но не дрогнул. И тут она спохватилась. Она кликнет войско себе на подмогу.

— Это мы еще посмотрим, останетесь вы или нет.— Жутковато, странно заведя глаза, она повернулась и бурно удалилась из комнаты. Мужчина прислушался: вот она поднялась по лестнице, вот постучала в дверь одной из спален.

— Солдатики, вы не сошли бы на минутку вниз?— раздался ее голос.— Вы мне нужны. У меня тут затруднение.

Гость снял кепку, снял черное пальто и бросил то и другое на скамейку, стоящую позади него. Черные волосы его были коротко острижены и тронуты на висках сединой. Темно-серый, отлично сшитый костюм американского покроя и рубашка с отложным воротником сидели на нем превосходно. Сразу скажешь: преуспевающий, статный, видный мужчина. Некоторая окостенелость в развороте его плеч происходила оттого, что, работая на рудниках, он дважды ломал себе ключицу.

Маленький, похожий на терьера сержант исподтишка разглядывал его.

— Это, стало быть, супруга ваша?— спросил он, указывая кивком в сторону ушедшей женщины.

— Она самая,— коротко пролаял мужчина.— Законная жена.

— Давно не виделись с нею, похоже?

— Шестнадцать годов будет, в марте месяце.

— Хм-м!

С этим лаконичным заключением сержант снова задымил трубкой.

Хозяйка между тем возвратилась, ведя за собой трех молодых солдат — они вышли, слегка сконфуженные, в одних носках, брюках и нижних рубашках. Женщина в театральной позе остановилась у конца стойки и воскликнула:

— Этот человек нипочем не желает уходить из моего дома, он заявил, что остается здесь ночевать! Вы сами знаете, мне негде его положить,— верно? И потом, у меня нет в заводе пускать на ночлег проезжающих. А он все равно собирается остаться! Только, покуда я жива, этому не бывать, и слово мое твердо до последнего вздоха! Не бывать этому, если вы, ребята, и впрямь мужчины и не откажетесь помочь женщине, за которую некому заступиться.

Глаза ее сверкали, лицо разругалось. Она стояла, прямая и воинственная, словно амазонка.

Молодые солдаты не совсем ясно представляли себе, как им быть. Один из них покосился на мужчину, второй — на сержанта; третий потупил взгляд и застегнул подтяжки на другую пуговицу.

— Ваше какое слово, сержант?— спросил один, с озорными чертенятами в глазах.

— Говорит, что он якобы муж миссис Нанкервис,— отозвался сержант.

— Никакой он мне не муж. Я до сегодняшнего дня и в глаза-то его не видала. Это обман и больше ничего, наглый обман.

— Ну что ты врешь, будто в глаза меня раньше не видела,— пролаял, стоя у очага, мужчина.— Мы с тобой женаты, а девушка эта самая, Марианна,— наша общая дочь, и ты это прекрасно знаешь.

Солдаты глазели на них с наслаждением; сержант как ни в чем не бывало попыхивал трубкой.

— Да-а,— пропела хозяйка, с бесконечным ехидством покачивая головой.— Вас послушать — выходит куда как складно. Да вот беда — не верим мы ни единому слову, а чем вы все это докажете?— Она злорадно усмехнулась.

Мужчина помолчал, направив на нее изучающий взгляд.

— Тут и доказывать нечего,— сказал он.

— Нет, извините! Тут как раз есть что доказывать, сударь,— вот именно есть!— выпевало хозяйкино ехидство.— Не на таких напали простачков, чтобы глотали без разбору, чего бы им кто ни наплел.

На мужчину это не произвело впечатления. Он все так же стоял у очага, хозяйка — у оцинкованной стойки, опираясь на нее рукой, а на полпути между ними сидел на скамье сержант и курил, закинув ногу на ногу; молодые солдаты, в нижних рубашках и подтяжках, нерешительно топтались в полутьме за стойкой. Наступила тишина.

— У вас, миссис Нанкервис, есть известия насчет того, где обретается ваш благоверный?— степенно заговорил сержант.— Жив он, вообще?

Неожиданно из глаз хозяйки хлынули горючие, крупные слезы, и молодые солдаты оцепенели от ужаса.

— Ничегошеньки мне о нем не известно,— рыдала она, нащупывая в кармане носовой платок.— Оставил меня, когда Марианна была совсем махонькая, в Америку подался на рудники, а прошло примерно полгода — замолк, и с тех пор словечка не написал мне, гроша медного не прислал. Жив он, злодей, или помер — мне неизвестно. Если я слышала что о нем, так только худое, а который уж год и вовсе ничего не слышу.— Она зарыдала еще горше.

Золотисто-смуглый красивый человек у камина смотрел, как она рыдает. Он был испуган, удручен, озадачен, однако от всех этих чувств ничего в нем не менялось.

В комнате не раздавалось ни звука, кроме бурных рыданий хозяйки. Мужчины, все как один, были потрясены.

— Вам, может, сегодня и правда уйти?— с подкупающим благородием обратился к мужчине сержант.— Пускай сперва все уляжется, а там, глядишь, и договоритесь как-нибудь. Если дело и впрямь обстоит, как она сказала, тогда особо-то много вам требовать от нее, видимо, не приходится. Тем более и нагрянули вы сюда вроде слишком уж неожиданно.

Хозяйка горестно всхлипывала. Мужчина смотрел, как колышутся ее большие груди. Они как будто заворачивали его.

— Как я с ней обходился — это к делу не относится, — отвечал он. — Я вернулся и желаю остановиться в своем доме, во всяком случае, на какое-то время. Вот вам и весь сказ.

— Безобразия, — багровея, проговорил сержант. — Покинуть женщину на столько лет, а потом объявиться и вламываться к ней насильно! Форменное безобразие, и притом не дозволенное законом.

— Законом? Плевать я хотел! — новым, полным силы голосом воскликнул мужчина. — Я из этого трактира сегодня не уйду.

Женщина оглянулась на солдат, стоящих позади нее, и ядовито-медоточивым тоном заговорила:

— Что же, ребятушки, так мы ему и спустим? Сержант Томас? Так и спасуем перед варваром и негодяем, который в Америке на рудниках такую вел жизнь, что и язык-то не повернется вымолвить, бросил бедную женщину с ребенком на руках — бейся одна, как умеешь, — а нынче надумал вернуться, поломать ей всю жизнь и заграбастать ее сбережения? Сущий стыд, если никто за меня не вступится, — стыд и позор!..

Солдаты и маленький сержант ошетинились, задетые за живое. Хозяйка нагнулась и пошарила под прилавком. Потом, незаметно для мужчины, стоящего поодаль у огня, швырнула в полутьму за стойкой сплетенную из травы веревку, какими обвязывают тюки с товаром, — веревка легла у ног молодых солдат.

Тогда женщина выпрямилась, готовая действовать.

— Полно упрячиться, — обратилась она к мужчине рассудительным, холодно-урезонивающим тоном, — надевай-ка пальто да и ступай отсюда. Будь мужчиной, а не зверюгой хуже германца какого-нибудь. Ночлег ты себе без труда отыщешь в Сент-Джасте, а коли нечем заплатить, сержант наверняка не откажется ссудить тебе пару шиллингов.

Теперь взоры всех были прикованы к мужчине. А он,

словно замороженный, словно неким бесовским умыслом одержимый, смотрел сверху вниз на хозяйку.

— Деньги у меня есть,— сказал он.— Можешь не волноваться за свои сбережения, у меня своих покуда хватает.

— Ну что ж,— урезонивала она его примирительно-холодным, почти глумливым голосом,— тогда надень пальто и ступай туда, где тебе будут рады,— будь мужчиной, а не зверюгой-германцем.

Увещевая и подзадоривая, она как бы невзначай подступила совсем близко к нему. Мужчина, с высоты своего роста, следил за нею одурманенным взглядом.

— И не подумай,— сказал он.— Никуда я не пойду. Сегодня ты меня устроишь на ночлег.

— Ой ли!— воскликнула женщина. И вдруг, обхватив его руками, повисла на нем всей своей многопудовой тяжестью, крича солдатам:— Хватайте веревку, ребята, вяжите его! Альфред, Джон — живей!..

Мужчина рванулся, дико озираясь кругом, напрягая мощные мускулы. Но и женщина была не из немощных, и к тому же очень грузная, она вцепилась в него мертвой хваткой. Лицо ее у его груди, ужасное в своем мстительном ликовании, смотрело на него снизу вверх, и мужчина рывком отдернул голову, отстраняясь от этого лица. Солдаты, которые в первую минуту испуганно взирали, как раскачивается из стороны в сторону новоявленный Лаокоон, пришли между тем в движение, и самый озорной метнулся вперед с веревкой. Она слегка запуталась.

— Давай сюда конец!— крикнул сержант.

Тем временем мужчина, натужась всем своим большим телом и судорожно пытаясь высвободиться, делал резкие повороты, так что женщину шмякало то о скамью, то об стол. Но она, пригвоздив ему руки к бокам, обвилась вокруг него, точно грузная каракатица. Мужчина, напрягаясь, раскачивался, и они кружили по комнате, с грохотом натываясь на мебель, заставляя солдат отскакивать в стороны.

Озорник изловчился и, с помощью расторопного сержанта, захлестнул мужчину веревкой. Женщина тяжело сползла

ниже, и они обмотали его веревкой еще несколько раз. В кутерьме жертва опрокинула стол и рухнула на него. Веревку затянули так туго, что она впилась ему в тело. Женщина теперь сжимала руками его колени. Один из солдат, осененный блестящей мыслью, подбежал и связал незнакомцу ноги подтяжками. Скамейки валялись вверх тормашками, опрокинутый стол отъехал к стене, но мужчина был связан по рукам и ногам. Он затих, полулежа, привалясь к столу.

Женщина встала и бессильно опустилась на скамейку у стены. Грудь ее тяжело вздымалась, язык отнялся; ей казалось, что она умирает. Связанный мужчина лежал, привалясь к опрокинутому столу, пиджак у него весь скомкался под веревкой и задрался выше поясницы. Солдаты, несколько ошалелые, но разгоряченные схваткой, сгрудились вокруг него.

Мужчина затрепыхался опять, безотчетно напирая на веревку, глубоко и шумно дыша. Лицо, золотистое от загара, побагровело, он снова натужился. Жилы вздулись у него на шее. Но веревка не поддавалась, и он обмяк. И вдруг неожиданно дрыгнул ногами.

— Еще пару подтяжек, Уильям! — возбужденно крикнул солдат. Он навалился на ноги пленника и ухитрился обмотать ему подтяжкой колени. Тот вновь затих. Слышно было, как тикают часы.

Женщина смотрела на поверженного ниц человека, на прямые, сильные ноги и руки, на сильную, усмиренную путами спину, лицо с широко расставленными глазами — так бычок на телеге, увязанный в рогожу, тужится в немом усилии, запрокидывая голову назад. Смотрела и торжествовала.

Связанное тело забилося снова. Она смотрела, не отрываясь, как перекатываются буграми мускулы — на плечах, на бедрах, на длинных, стройных ногах. Даже теперь он мог разорвать веревки. Ей стало страшно. Но бойкий солдатик уселся мужчине на плечи, и через несколько мгновений опасность миновала — пленник затих окончательно.

— Ну как, — сказал, обращаясь к нему, благоразумный

сержант,— если мы вас развяжем — даете обещание, что уйдете и не будете больше буянить?

— Здесь, в доме, я не позволю его развязывать! — крикнула женщина.— Я ему ни на грош не доверяю!

Все примолкли.

— Можно вынести наружу и там развязать,— сказал озорной солдат.— А если вздумает баловать, тогда позовем полицию.

— Да,— сказал сержант.— Можно и так.— И другим, полным суровости голосом опять обратился к пленнику:— Мы вас снаружи развяжем, а вы наденете пальто и без шума уйдете — договорились?

Мужчина не отозвался; он лежал, как связанное животное, широко открыв темные, блестящие глаза. Минута прошла в озадаченном молчании.

— Ладно, порешили,— раздраженно сказала женщина.— Выволакивайте его отсюда без долгих разговоров, и будем дом запирасть.

Солдаты так и сделали. Подняв мужчину, они вчетвером неуклюже вынесли его на безлюдную площадку перед трактором; за ними, неся пальто и кепку, вышла хозяйка. Молодые солдаты проворно сдернули с ног пленника подтяжки и поскорее юркнули назад в дом. Они были в одних носках, а звезды на дворе обжигали холодом. Они сгрудились в дверях, выглядывая наружу. Мужчина недвижно лежал на холодной земле.

— Ну вот,— понизив голос, сказал сержант,— теперь вы, хозяйюшка, идите в дом, а я ему малость ослаблю узел — дальше он сам сумеет распутать.

В последний раз она взглянула на растерзанного, связанного по рукам и ногам мужчину; он уже сидел на земле. Потом вошла в дом, и тотчас вслед за нею сержант. Слышно было, как они запирают дверь и закладывают ее на засов.

Мужчина, сидя на земле, задвигался, напрягся, пытаясь ослабить веревку. Но даже сейчас высвободиться оказалось не так-то просто. Со связанными руками, он не без труда поднялся на ноги, подошел к старой каменной ограде и стал

тереть веревку о неровный ее край. Вербка — в сущности, косица, сплетенная из травы,— быстро разлохматилась, лопнула, и мужчина сбросил с себя путы. Он был весь покрыт ушибами. Болели руки, исполосованные веревкой. Он медленно растер их. Потом поправил на себе костюм, нагнулся, надел кепку, кое-как напялил пальто и побрел прочь.

Очень ярко горели звезды. Размеренно пульсировал в ночи чистый, как хрусталь, луч маяка под утесами. Точно во сне, мужчина шагал по дороге мимо кладбища. Потом остановился и долго стоял, прислонясь к какому-то забору.

Очнулся он оттого, что у него сильно замерзли ноги. Он встряхнулся, собрался с мыслями и в ночном безмолвии повернул назад, к трактиру.

Трактир стоял, погруженный в темноту. На кухне, правда, горел свет. Мужчина помедлил в нерешительности. Потом тихонько налег на дверь.

К его удивлению, дверь оказалась незапертой. Он вошел и неслышно притворил ее за собой. Спустился с приступка, обогнул стойку и шагнул в дверь освещенной кухни. В кухонной плите потрескивали ветки дрока; перед плитой сидела его жена. Широко разведя колени, она сидела прямо перед плитой на стуле, придвинутом к решетке. Когда он вошел, она оглянулась через плечо, но ничего не сказала. И опять уставилась на огонь.

В маленькой, узкой кухне было тесно. Мужчина бросил кепку на стол, покрытый желтоватой клеенкой, и примостился спиной к стене, возле очага. Жена его сидела, все так же разведя колени, опираясь ногами на стальную решетку и уставясь в огонь немигающим взглядом. Ее кожа была гладкой и розовой в бликах огня. Все в доме сверкало чистотой. Мужчина тоже сидел молчаливо, понурив голову. Так текли минуты.

Каждый ждал, когда другой заговорит. Женщина наклонилась вперед, засовывая торчащие хворостины глубже в печь сквозь прутья решетки. Он поднял голову и взглянул на нее.

— Все спать легли, что ли?— спросил он.

Но она наглухо замкнулась в молчании.

— Холодина-то какой на улице,— заметил он, словно бы рассуждая сам с собой.

И положил руку — большую, рабочую, но хорошей формы руку — на жарко начищенную крышку плиты, черную и гладкую, как бархат. Женщина упорно не поворачивала головы в его сторону, но сама нет-нет да и косилась на него незаметно, краем глаза.

Мужчина, напротив, не сводил с нее блестящих глаз с расширенными, мерцающими, словно у кота, зрачками.

— Я бы в любой толпе распознал тебя,— сказал он.— Хоть и не ожидал, что ты эдак раздобреешь. Ишь, как хорошо поправилась.

Она еще несколько секунд хранила молчание. Потом, не вставая, круто повернулась к нему лицом:

— Погулял пятнадцать годочков да и припожаловал как ни в чем не бывало? Кто ты есть после этого, сам посуди? Думаешь, я не слыхала, как ты время проводил — и в Батт-сити, и еще кое-где?

Он и теперь не отвел от нее безмятежного, до прозрачности ясного взгляда.

— Да,— сказал он.— Ездит народ туда-сюда, временами и до меня о тебе кой-чего доходило.

Женщина гордо выпрямилась.

— И что же это тебе на меня клепали?— величественно произнесла она.

— Почему клепали? Просто рассказывали, что, дескать, живешь — не тужишь, дела идут отлично, и всякое такое.

Голос его звучал сдержанно, ровно. В ней с новой силой всколыхнулся гнев. Но она подавила его — отчасти, сознавая, что собеседник небезопасен, но больше, пожалуй, оттого, что так безбожно красива была эта голова, эти прямые, словно нарисованные брови; она не в силах была ожесточиться.

— А вот мне про тебя говорили другое,— сказала она.— И больше говорили дурного, чем хорошего.

— Вполне возможно,— сказал он, глядя на огонь. Давненько не видел, как горит дрок, подумалось ему. Они помолчали; хозяйка наблюдала за выражением его лица.

— И ты еще называешь себя мужчиной!— проговорила она, скорее не с гневом, а с презрительной укоризной.— Бросить женщину, как ты бросил меня, не заботясь, что с ней будет, а после объявиться, и, главное, молчком, как будто так и надо.

Он подвинулся на стуле, расставил ноги и, опершись руками на колени, упорно продолжал смотреть в огонь, ничего не отвечая. Черноволосая, коротко стриженная голова его очутилась так близко от женщины, что она чуть не отпрянула назад, точно он мог ее укусить.

— Это, по-твоему, называется вести себя как мужчина?— повторила она.

— Да нет,— отозвался он, подталкивая пальцами в огонь концы веток.— Я вроде бы не заикался насчет того, как это называется. Поскольку, как ни назови, оно вроде бы ничего не меняет.

Она наблюдала за каждым его движением. Молчание, которым прерывался их разговор, с каждым разом тянулось все дольше, хотя ни он, ни она не сознавали этого.

— А все же интересно знать, как ты об себе понимаешь!— запальчиво, с обидой воскликнула она.— Просто интересно — за кого принимаешь сам себя?— Возмущаясь, она, помимо всего прочего, откровенно недоумевала.

— Что ж,— сказал он и, подняв голову, оглянулся на нее.— Пускай другие отвечают за свои прегрешения, а я уж за свои как-нибудь отвечу сам.

Ей как будто сердце окатило горячей волной, когда он поднял к ней лицо. Она отвернулась, тяжело дыша, едва сохраняя власть над собою.

— Ну а меня ты за кого принимаешь?— с откровенной беспомощностью спросила она его.

Подняв к ней лицо, он скользнул взглядом по мягкой округлости ее щек, по пышной, мягко вздымающейся груди.

— За женщину в самом лучшем виде,— отвечал он с тою

немногословной прямою, которая всегда имела такую власть над ней.— Экая статья, я таких нигде не встречал, провалиться мне, да притом и краля какая. Вот не думал, что ты так приятно раздобреешь,— ей-ей, не думал, не гадал.

Горячая волна заливала ей сердце под пристальным взглядом этих агатовых, блестящих глаз.

— Как же — краля, то-то ты пятнадцать лет любовался!

Он сидел, не отвечая, не сводя с нее живых, блестящих глаз.

И вдруг встал. Она невольно вздрогнула. Но он лишь уронил коротко:

— Жарко здесь стало.

Стянул с себя пальто, бросил его на стол. Женщина между тем опасливо затаила дыхание.

— Фу ты, че-ерт, досталось моим рукам от веревки,— протяжно сказал он, растирая себе руки и плечи.

Она сидела, все так же опасливо притаясь на стуле.

— Ох и востра же ты, что так меня подловила, а?— Он медлительно усмехнулся.— Лихо расправилась со мной, ох и лихо. Не растерялась — не-ет, чтоб я пропал.

Он сел и подался вперед, ближе к ней.

— Я на тебя за это зла не держу — ей-ей, не держу. Уважаю в женщине удаль. Бой-баба — это по мне.

Она лишь молча глядела в огонь.

— Мы с тобой с самого первоначала воевали. И что же — только ты меня увидела, как в ту же минуту принялась за старое. Востра, черт меня подери,— я и опомниться не успел. Бедовая, пропади я пропадом, умеешь постоять за себя. Разве другая меня бы эдак одолела? Не-ет, другую такую во всей Америке не сыщешь, чтоб я пропал. Хороша женщина, в наилучшем виде,— честно говорю, самый сок.

Она сидела, глядя в огонь, и молчала.

— Молодец, боевая — лучше и желать нельзя, не сойти мне с этого места,— сказал он, протягивая руку и тихонько, несмело трогая ложбину между полными, теплыми ее грудями.

Она вздрогнула всем телом. Но продолжала глядеть в

огонь, а рука его тем временем украдкой забиралась все глубже в ложбину между ее грудей.

— И не подумай, что я нищим вернулся, за милостыней, — говорил он. — У меня не то что тысяча фунтов, а и поболее наберется за душой, не сомневайся. А что мне вместо здрастье руки вяжут — это в самый аккурат мне по нраву, правда. Но чтобы ты отрекалась, что ты мне жена, — такому не бывать...

Дочь лошадника

— Ну, Мейбл, а ты как думаешь жить дальше? — с дурацкой небрежностью спросил Джо. За себя он был вполне спокоен. Не дожидаясь ответа, он отвернулся, соскреб на кончик языка табачную крошку и сплюнул. За себя он был спокоен, а прочее его не волновало.

Три брата и сестра сидели за столом с остатками завтрака, неумело и вразнобой держа нечто вроде семейного совета. Утренняя почта подвела последнюю черту под разорением; все было кончено. Сама столовая — мрачная, с тяжелой, красного дерева мебелью — и та, казалось, обреченно ждала конца.

Семейный совет проходил бесплодно. Трое мужчин, развалясь вокруг стола, обменивались неопределенными репликами о своем положении, и чувствовалось почему-то, что все это — впустую. Сестра держалась особняком, невысокая хмурая девушка двадцати семи лет. Братья жили своей жизнью, она — своей. Она была бы хороша собой, но безучастная — «бульдожья», по выражению братьев, — неподвижность портила ее лицо.

Снаружи донесся нестройный конский топот. Мужчины, все так же развалясь на стульях, повернули головы к окну. За темными кустами остролиста, отделяющими полосу газона от дороги, показалась кавалькада — это со двора

выводили на проминку ломовых лошадей. Выводили в последний раз. Последние лошади, каким суждено было пройти через их руки. Три брата проводили их придирчивым и отчужденным взглядом. Привычная жизнь рушилась, и это их пугало, ощущение беды сковывало их, лишало внутренней свободы.

А между тем на вид все трое были молодцы хоть куда. Старший, тридцатитрехлетний Джо, полнокровный, дюжий детина, был по-своему недурен собой. Его багровые щеки пылали, пустые глаза беспокойно перебегали с предмета на предмет, толстые пальцы пощипывали смоляной ус. Чувственный рот его при смехе открывал зубы, по всей повадке видно было, что он глуп. Сейчас он провожал лошадей остекленелым от бессилия взглядом, как бы пришибленный невзгодой.

Могучие битюги прошествовали мимо. Вчетвером, связанные голова к хвосту, они мерно влеклись туда, где от большой дороги отходила тропа, с пренебрежением шлепая могучими копытами по черной жидкой грязи, покачивая могучими крутыми крупами и неожиданно переходя на рысь за несколько шагов до развилки, когда сворачивали на тропу. В каждом их движении угадывалась тяжеловесная дремотная мощь и тупость, которая удерживала их в ярме. Конюх впереди оглянулся, дернул повод — и процессия скрылась за поворотом, только тугой, упругий хвост последней лошади то и дело выскакивал из-за кустов, пружиня в лад могучему крупу, покачивающемуся во сне.

Джо наблюдал за ним безнадежным остекленелым взглядом. Для него лошади были точно часть его собственного тела. Точно часть его самого отнимали у него вместе с ними. Хорошо, что он обручен и невеста одних с ним лет, — ее отец служит управляющим в соседнем имении и позаботится о том, чтобы обеспечить ему место. Женится и впряжется в упряжку. Жизнь кончена, отныне он — подневольная рабочая скотина.

Он с трудом оторвал взгляд от окна, слыша, как замирает

в отдалении топот конских ног. И тотчас с дурацкой суетливостью сгреб с тарелок обрезки ветчинной кожицы и, присвистнув, бросил их терьеру, который лежал, привалясь к каминной решетке. Он следил, как собака глотает их, дожидаясь, покуда она заглянет ему в глаза. Слабая, бессмысленная усмешка тронула ему губы.

— Когда-то тебе еще перепадет ветчинки,— сказал он тонким голосом.— Верно я говорю, сукина дочка?

Собака вяло помахала хвостом, понурилась и, сделав круг по комнате, снова улеглась на полу.

Над столом в который раз повисло беспомощное молчание. Джо томился, обмякнув на стуле, но медлил уходить, пока семейство не кончит совещаться. Фред Генри, средний брат, живой, подтянутый, держался прямо. Он хладнокровнее смотрел вслед уходящим лошадям. Может быть, и он, подобно Джо, тоже был животным, но не из тех, какими помышляют. Он сам умел подчинять своей воле других, мог обуздать любого коня. От него веяло уверенной силой. Однако в сложной жизненной ситуации он оказывался беспомощен. Он расправил над верхней губою рыжеватые жесткие усы и раздраженно покосился на сестру, сидящую с непроницаемо безучастным видом.

— Поедешь у Люси поживешь первое время, да?— спросил он.

Девушка не отозвалась.

— Не знаю, что тебе еще остается,— настаивал Фред Генри.

— Можно в прислуги,— коротко вставил Джо.

Мейбл и бровью не повела.

— Я бы на ее месте пошел учиться на сестру милосердия,— подал голос третий брат, Малькольм. Он был младший в семье, двадцатидвухлетний, со свежей, задорной museau*.

Мейбл будто не слышала его. Так много лет их речи витали вокруг, летали в воздухе, не задевая ее, что она отучилась обращать на них внимание.

* мордочкой (франц.).

Мягко пробили полчаса мраморные часы на камине; собака поднялась с коврика и вопросительно поглядела на людей, собравшихся за столом. А люди все сидели, бесплодно пытались что-нибудь решить.

— А, ладно,— ни с того ни с сего объявил вдруг Джо.— Тронусь-ка я.

Он отодвинул стул, развел рывком колени, по-лошадиному перенося на них тяжесть, и широко шагнул к огню. Но все-таки не уходил из комнаты, любопытствуя, что будут делать и говорить другие. Он принялся набивать трубку, поглядывая на собаку и приговаривая деланно тонким голосом:

— Со мною собралась идти? Со мною, а? Только путь-то, слышишь, у нас сегодня будет подальше, чем ты считаываешь.

Собака слабо завиляла хвостом; Джо выставил вперед челюсть и, обхватив трубку ладонями, сосредоточенно запыхтел, отдаваясь табачному дурману и не сводя с собаки отсутствующих карих глаз. Собака отвечала ему скорбным, недоверчивым взглядом. По-лошадиному подрагивая коленями, стоял над нею Джо.

— Ты от Люси получила письмо?— спросил у сестры Фред Генри.

— На той неделе,— равнодушно уронила она.

— И что она пишет?

Ответа не последовало.

— Зовет к себе пожить?— допытывался Фред Генри.

— Говорит, если надумаю — пожалуйста.

— Тогда давай, чего же лучше. Напиши, что приедешь в понедельник.

Мейбл промолчала.

— Ну, что — значит, так тому и быть?— сказал Фред Генри, начиная терять терпение.

Она опять ничего не ответила. В комнате наступила обескураженная, досадливая тишина. Малькольм глуповато ухмыльнулся.

— Решай, времени тебе осталось — до следующей сре-

ды,— громко сказал Джо,— а не то ищи себе пристанище на улице.

Лицо девушки потемнело, но она не шелохнулась.

— А вот и Джек Фергюссон,— воскликнул Малькольм, бесцельно глазающий в окно.

— Где?— громогласно вскричал Джо.

— Да вон пошел.

— К нам?

Малькольм, вытянув шею, глянул в сторону калитки.

— Ага.

Все притихли. Мейбл сидела во главе стола, точно приговоренная к смерти. Слышно было, как кто-то свистнул на кухне. Собака, вскочив, залилась лаем. Джо открыл дверь и гаркнул:

— Заходи!

Через несколько мгновений в столовую вошел молодой человек среднего роста, с продолговатым бледным лицом и усталыми глазами. Пальто на нем было наглухо застегнуто, шея обмотана шерстяным лиловым шарфом, твидовая кепка, которую он не позаботился снять при входе, нахлобучена на самые уши.

Малькольм и Джо встретили его возгласами:

— Здорово, Джек!

— Джек, мое почтение!

Фред Генри бросил только:

— Джек!

— Как дела?— спросил гость, явно обращаясь к Фреду Генри.

— Все так же. До среды обязаны выехать... Ты что, простуду схватил?

— Схватил — да еще какую!

— Что ж не сидишь дома?

— Дома? Это я-то? Когда ноги держать не будут, тогда, может быть, и представится такой случай.— Молодой человек говорил охрипшим голосом, с легким шотландским акцентом.

— Потрясающе, честное слово,— шумно веселился

Джо,— врач разгуливает, весь осипший от простуды! Не-
добробовать теперь больным, правда?

Молодой врач смерил его долгим взглядом.

— А что, тебе тоже нездоровится?— насмешливо спросил он.

— Вроде нет. Типун тебе на язык, только этого не хватало! С чего ты взял?

— Да ты так беспокоишься насчет больных, я и подумал, уж не захворал ли сам.

— Нет, черт подери, никогда я не лечился у врачей, будь они неладны, и, бог даст, никогда не придется,— парировал Джо.

Мейбл встала, и мужчины вспомнили вновь о ее существовании. Она начала собирать со стола грязную посуду. Молодой врач посмотрел на нее, но ничего ей не сказал. Он так и не поздоровался с нею. Все с тем же безучастным видом она взяла поднос и вышла из комнаты.

— Так когда же вы уезжаете?— спросил врач.

— Я — поездом одиннадцать сорок,— сказал Малькольм.— А ты, Джо, на двуколке?

— Да. Я ведь, кажется, говорил тебе, что поеду на двуколке.

— Тогда пошли закладывать... Ну, бывай, Джек, небось не увидимся больше до моего отъезда,— сказал Малькольм, пожимая ему руку.

Он вышел; за ним, заметно присмирив, вышел Джо.

— Ах ты дьявол!— вырвалось у врача, когда они с Фредом Генри остались одни.— Значит, к среде тебя уже здесь не будет?

— Так велено,— отозвался Фред Генри.

— И куда ты — в Нортгемптон?

— Туда.

— Дьявольщина!— тихо, подавленно ругнулся Фергюссон.

Оба помолчали.

— Ты что, все сборы уже закончил?

— Более или менее.

Они опять помолчали.

— Ох и скучать я буду по тебе, Фредди, друг,— произнес молодой врач.

— И я по тебе, Джек.

— Чертовски буду скучать,— задумчиво повторил врач.

Фред Генри отвернулся. Ему нечего было сказать. Вернулась Мейбл и стала убирать со стола последнюю посуду.

— А вы что намерены делать, мисс Первин?— спросил Фергюссон.— Наверное, поедете жить к сестре?

Мейбл устремила на него твердый, опасный взгляд, от которого ему всегда становилось не по себе и его нарочитая непринужденность сменялась замешательством.

— Нет,— сказала она.

— Ну, а что ты в таком случае собираешься делать? Скажи, наконец, что?— с бессильным ожесточением вскричал Фред Генри.

Но она лишь опустила голову и продолжала заниматься своим делом. Сложила белую скатерть, постелила плюшевую.

— Уродилось сокровище — вечно ходит мрачнее тучи,— буркнул ее брат.

Ни один мускул не дрогнул на ее лице в ответ на это; она кончила прибираться — доктор, не отрываясь, с живым интересом следил за ней — и вышла.

Фред Генри, стиснув зубы, поглядел ей вслед тяжелым, откровенно неприязненным взглядом и желчно поморщился.

— Хоть режь на части, больше из нее звука не вытянешь,— процедил он.

Врач неуверенно улыбнулся.

— Но все-таки что теперь с нею будет?— спросил он.

— Убей меня бог, понятия не имею!

Они приумолкли. Потом молодой доктор встряхнулся.

— Так мы увидимся вечером?— спросил он приятеля.

— Ладно, только куда бы пойти? В Джесдейл, что ли?

— Не знаю. С такой простудой... Во всяком случае, я зайду в «Луну и звезды».

— Выходит, пускай Мэй и Лиззи один раз поскучают?

— Вот именно... Если я буду чувствовать себя, как сейчас.

— А-а, все едино...

Друзья прошли по коридору и вместе вышли на заднее крыльцо. Большой дом, покинутый прислугой, стоял безлюдный, опустелый. Позади, за мощенным кирпичом хозяйственным двориком, раскинулась широкая площадка, засыпанная красноватым мелким гравием; справа и слева на нее выходило по конюшне. Дальше, набрякшие от влаги, по-зимнему темные, полого простирались поля.

Конюшни, однако, пустовали. Глава семейства, Джозеф Первин, необразованный человек, сумел стать довольно крупным конским барышником. При нем здесь вечно царила суета, конюшни ломались от лошадей, одних приводили, других уводили, люди тоже сменялись — перекупщики, конюхи. На кухне было полно прислуги. Затем, со временем, дела пришли в упадок. Стремясь их поправить, старый лошадиник женился вторично. Когда он умер, все пошло прахом, остались только долги да угрозы кредиторов.

Уже не первый месяц Мейбл управлялась в большом доме одна, без прислуги, пытаясь на жалкие гроши как-то вести хозяйство своих ничемных братьев. Дом держался на ней последние десять лет. Но прежде она не знала недостатка в средствах. Живя среди грубости, невежества, она черпала в деньгах горделивое достоинство, уверенность. Пускай мужчины сквернословили, пускай о женщинах на кухне шла в городке дурная молва, пускай у ее братьев были незаконные дети — неважно. Пока в семье водились деньги, девушка знала, что она — на своем месте, и держалась вызывающе гордо, независимо.

У них никто не бывал, лишь барышники да грубое мужичье. Женского общества Мейбл лишилась с тех пор, как покинула дом ее сестра. Но она не тужила об этом. Исправно ходила в церковь, заботилась об отце. И жила памятью о матери, которую потеряла в четырнадцать лет и нежно любила. Она и отца любила, только иначе — полагаясь на него, чувствуя в нем надежную опору, пока, в пятьдесят че-

тыре года, он не женился второй раз. Тогда она ожесточилась против него. И вот он умер, оставив их в непоплатных долгах.

Она жестоко страдала, когда они впали в нищету. И все же ничто не властно было поколебать какую-то звериную, упрямую гордыню, владеющую каждым в этой семье. Теперь — для Мейбл, по крайней мере, — настал конец. Но и теперь она не озиралась по сторонам, ища поддержки. Все равно она поступит по-своему. В любом положении она всегда будет сама решать за себя. Бездумно и упорно, день за днем она несла свой крест. К чему размышлять? К чему отвечать на расспросы? И без того ясно, что это — конец и никакого выхода не существует. Не нужно будет больше сторониться прохожих на главной улице, стараясь никому не попадаться на глаза. Не нужно в каждой лавке сгорать от унижения, покупая самые дешевые продукты. Этому настал конец. Она не думала ни о ком, даже о себе. Бездумно и упрямо, она самозабвенно шла навстречу своему конечному предназначению, которое избавит ее от скверны, — шла соединиться с покойной матерью, которая уже обрела избавление.

Ближе к вечеру она сложила в сумку садовые ножницы, губку, ручную жесткую щетку и вышла из дому. Над темной зеленью унылых полей нависло серое небо, в промозглом воздухе стлался черный дым из трубы стоящего неподалеку литейного завода. Быстро, не поднимая глаз, не устаивая вниманием встречных, Мейбл пошла через весь городок по улице, ведущей на кладбище.

Здесь, словно бы вдали от посторонних взоров, ей было всегда спокойно, хотя на самом деле ее мог видеть всякий, кто проходил мимо кладбищенской ограды. Но все равно — ступив под сень высокой, величественной церкви, среди могил, она была неуязвима, охраняемая от внешнего мира толстой кладбищенской стеной, точно границами особого государства.

Она аккуратно подстригла траву вокруг могилы, убрала жестяной крест бело-розовыми мелкими хризантемами.

Покончив с этим, взяла с соседней могилы кувшин, сходилa за водой и тщательно, любовно протерла губкой плиту и цоколь мраморного надгробия.

Это занятие дарило ей глубокую отраду. Оно тесней сближало ее с миром покойной матери. Она работала кропотливо, старательно, ходила по кладбищу почти счастливая, как если бы, ухаживая за могилой, вступала с матерью в сокровенную незримую связь. Ибо та жизнь, которую она вела здесь, в этом мире, была для нее призрачной и чуждой в сравнении с миром усопших, унаследованным ею от матери.

Домиk врача стоял сразу же за церковью. Фергюссон, нанятый в помощники к местному доктору, вынужден был по своему положению работать как проклятый, не зная отдыха. Сейчас, спеша на прием к себе в кабинет, он мимоходом окинул взглядом кладбище и увидел девушку. И словно заглянул в иной мир — так поглощена она была своим занятием и далека от действительности. Фергюссон ощутил сопричастность некоему таинству. Глядя на нее как зачарованный, он замедлил шаги.

Она почувствовала, что на нее смотрят, и подняла голову. Их взгляды встретились. И тотчас оба взглянули друг на друга опять, с таким ощущением, будто невзначай открыли друг в друге что-то новое. Он приподнял кепку и зашагал дальше. В памяти у него нестираемой картиной запечатлелось ее лицо в ту минуту, когда она оторвалась от надгробного камня и медленно подняла на него грозные большие глаза. Да, оно было грозным, ее лицо. Оно как будто завораживало его. Тяжкая сила была в ее глазах, и он покорился ей всем своим существом, точно хватил дурманного зелья. До сих пор он чувствовал себя вялым, разбитым. Теперь жизнь снова прихлынула к нему, оттесняя с души постылое бремя повседневных забот.

В приемной он постарался отпустить больных как можно быстрее, проворно разливая по пузырькам дешевую микстуру для заждавшихся пациентов. Потом, ни секунды не мешкая, заторопился к больным на другом конце города, которых ему еще оставалось обойти до вечернего чая. Какая

бы ни стояла погода, он по возможности предпочитал ходить пешком, особенно когда нездоровится. Он верил, что движение ему на пользу.

Вечерело. Тяжело сгущались над землей ненастные, глухие сумерки, сырость и холод мало-помалу пробирали до костей, сковывая тело и душу глухим оцепенением. Да и о чем было задумываться, на что смотреть? Фергюссон торопливо поднялся на пригорок и свернул на усыпанную черным шлаком дорожку, ведущую через темно-зеленые поля. В отдалении, за неглубокой ложбиной, ворохом остывающей золы сгрудился городок: часовая башня, шпиль ратуши, горсточка убогих, приземистых, нелюдимых домов. А на ближней его окраине отлого спускалась в ложбину Старая поляна, усадьба Первинов. Конюшни и службы, рассыпанные по встречному косогору, были видны как на ладони. Да, отныне ему уж не захаживать сюда так часто! Еще одна утрата — потерян тот единственный приют, где можно было отвести душу, единственные люди, с которыми он подружился в этом чужом, невзрачном городишке. Работа, и больше ничего; нескончаемая, нудная беготня из дома в дом, по шахтерам, литейщикам. Работа изматывала его, но в то же время он к ней испытывал ненасытную тягу. Бывать в домах у рабочих людей, вторгаться, можно сказать, в самую сердцевину их жизни — в этом был свой азарт. Это приятно будоражило его. Так тесно соприкасаться с простыми, неотесанными, способными на сильные страсти мужчинами и женщинами, входить прямо в гущу их жизни! Он ворчал, он жаловался, что ему опостылела эта поганая дыра. На самом же деле общение с простыми, подвластными необузданным чувствам людьми будоражило его наподобие сильного возбуждающего средства.

Пониже Старой поляны, в зеленом, размытом дождями овражке лежал среди полей глубокий квадратный пруд. Зоркий глаз врача, скользя по окрестности, заметил, что за ворота на выгоне вышел кто-то в черном и направился к пруду. Он пригляделся. Похоже, это была Мейбл Первин. Доктор тотчас насторожился.

Зачем ей туда понадобилось? Он остановился на сбегающей под уклон дорожке и стал наблюдать. Лишь с трудом удавалось ему различить, как движется в глубь предвечерней тени черная фигурка. Тьма обступала ее так плотно, что он, подобно ясновидящему, скорее улавливал ее мысленным взором, а не обычным зрением. Впрочем, ее было все-таки видно, если как следует сосредоточиться. Он понимал, что стоит отвлечься, и он окончательно потеряет ее в ненастных, густеющих с каждой минутой сумерках.

Напрягая глаза, он следил, как она идет к пруду напрямик через поле быстрой, четкой походкой, точно движимая не собственной волей, а чужой. На берегу секунду задержалась, но так и не подняла головы. И медленно вошла в воду.

Он застыл. Медленно, неуклонно черная фигурка продвигалась к середине пруда; очень медленно, постепенно погружаясь в стоячую воду, уходила все дальше, забрела уже по грудь. Вот ее больше не разглядеть в глухих, гнетущих потемках.

— Фу ты! — вырвалось у него. — Да что же это такое?

Он сорвался с места и ринулся по сырым, пересыщенным влагой полям, не разбирая дороги, продираясь сквозь живые изгороди, вниз, в равнодушную холодную темноту. Через несколько минут он очутился у пруда и стал на берегу, тяжело отдуваясь. Ничего не видно. Глаза его силились проникнуть в толщу безжизненной воды. Да, наверное, это ее черная одежда выделяется темным пятном на поверхности.

Он неуверенно ступил в пруд. На топком дне глубоким слоем лежал рыхлый ил; он увяз, и вода смертельным холодом сомкнулась вокруг его ног. При малейшем движении гнилой и холодный ил вставал со дна, распространяя зловоние. Оно оскорбляло его легкие. Превозмогая брезгливость, он зашел глубже. Холодная вода поднялась ему по бедра, по пояс, подобралась к ребрам. Отвратительная ледяная стихия поглотила всю нижнюю часть его тела. И потом, это вязкое, ненадежное дно, оступисься — вода попадет тебе в рот. Плавать он не умел, и ему было страшно.

Присев, он развел под водою руками и поводил ими

вокруг, пытаюсь нашарить девушку. Холодный, безжизненный пруд колыхался у его груди. Он шагнул чуть глубже и опять пошарил вокруг под водой. И коснулся ее одежды. Но она ускользнула у него из-под пальцев. Он рванулся следом, пытаюсь схватить ее.

Рванулся — и потерял равновесие, полетел с головой в гнилую, затхлую жижу, захлебнулся, глотая эту дрянь, отчаянно барахтаясь. Через несколько мгновений, долгих, как вечность, он наконец прочно стал на ноги, выпрямился и огляделся. Перевел дух, убеждаясь, что цел и невредим. Посмотрел на воду. И увидел ее — она всплыла на поверхность совсем рядом. Он схватил ее за платье, подтянул ближе и повернул с нею назад, к берегу.

Он брел потихоньку, осторожно, обдумывая каждый шаг. Потихоньку выходил на мелкое место, выбираясь из воды. Она уже доставала ему только до лодыжек, и он повеселел, с огромным облегчением чувствуя, что вырвался из цепких лап пруда. Поднял девушку и, шатаясь, ступил на берег, прочь из зловещего, илистого, мокрого плена.

Он положил ее наземь. Она лежала без чувств, как неживая, с нее струилась вода. Он перевернул ее — вода хлынула у нее изо рта, — потом принялся делать ей искусственное дыхание. Ему пришлось трудиться не так уж долго, она вздохнула раз, другой и задышала. Он удвоил свои усилия, ощущая, как она оживает у него под ладонями, возвращается к жизни. Он отер ей лицо, укутал ее в свое пальто, окинул взглядом мир, погруженный в сизую мглу, и, подняв девушку с земли, неверными шагами побрел с берега через выгоны.

Дорога казалась невообразимо долгой, ноша была так тяжела, что он уже не чаял добраться до усадьбы. Наконец он все-таки очутился на конюшем дворе, а там и на мощном дворике. Открыл дверь, вошел в дом. На кухне он положил ее на коврик перед камином и крикнул хозяев. Никто не отозвался. Однако за каминной решеткой горел огонь.

Тогда он снова опустился на колени и склонился над девушкой. Она дышала ровно, с широко открытыми глазами, и как будто очнулась, но было в ее взгляде какое-то отсут-

ствующее выражение. Она пришла в себя, но еще не воспринимала окружающее.

Фергюссон взбежал по лестнице наверх, сгрэб с одной из кроватей одеяла и расстелил их у огня, чтобы согрелись. Потом снял с нее насквозь промокшую, воняющую затхлым одеждой, досуха растер ей все тело полотенцем и, раздетую, завернул в одеяло. Пошел в столовую взглянуть, не найдется ли там спиртное. Нашлась бутылка с остатками виски. Он наспех глотнул сам и ей тоже влил в рот несколько капель.

Это подействовало сразу. Она взглянула ему прямо в лицо, так, словно видела его и раньше, но только теперь узнала.

— Доктор Фергюссон?

— Что?— отозвался он.

Он стягивал пиджак, надеясь, что отыщет для себя наверху сухую одежду. Запах гнилой, илистой воды был нестерпим, к тому же он всерьез опасался заболеть.

— Что это я сделала?— спросила она.

— Забрели в пруд.— Его трясло, как в ознобе, он с трудом заставлял себя вникать в смысл ее слов. Она не сводила с него глаз, от этого мысли у него мешались, и он отвечал ей беспомощным взглядом. Дрожь, сотрясающая его, немного утихла, жизнь с новой силой прихлынула к нему из неведомых, темных глубин его существа.

— Я что, лишилась рассудка?— спросила она.

— Возможно, на какое-то время.— К нему вновь вернулась сила, а с нею вернулось и спокойствие. Тревожная, странная неловкость покинула его.

— Я и сейчас не в своем уме?

— Сейчас?— Он на миг задумался.— Нет,— честно ответил он.— Я не нахожу.— Он отвернулся, избегая ее взгляда. Теперь на него напала робость, в голове стоял туман — он смутно догадывался, что она сейчас превосходит его своею властью. А она все смотрела и смотрела на него в упор.— Вы не скажете, где мне найти для себя что-нибудь сухое?

— Вы ныряли за мною в пруд?— спросила она.

— Нет, шел по дну. Правда, разок пришлось и окунуться с головой.

Наступило короткое молчание. Фергюссон замялся. Ему ужасно хотелось пойти наверх и переодеться в сухое. Но было в нем и иное желание. Ее взгляд удерживал его, не отпускал. Он словно лишился воли и был способен только беспомощно топтаться на месте. Но изнутри его согревало тепло. Дрожь унялась окончательно, хотя на нем сухой нитки не было.

— Зачем вы это сделали?— спросила она.

— Не мог же я допустить, чтобы вы совершили такую глупость.

— Это не глупость.— Она лежала на полу, с диванной подушкой под головой, и по-прежнему не сводила с него глаз.— Так надо было. Мне лучше знать.

— Пойду сброшу с себя мокрое.— Но, покуда она его не отпустила, он был бессилён сдвинуться с места. Как будто она держала в руках корень его жизни, и он не мог высвободиться. Или, может быть, не хотел.

Вдруг она порывисто села. До нее дошло, в каком она виде. Она почувствовала, как шерстят одеяла, ощутила свои обнаженные руки и ноги. Ей почудилось на мгновение, что она и в самом деле теряет рассудок. Она огляделась, дико блуждая глазами, словно что-то искала. Он замер в страхе. Она увидела свои раскиданные по полу вещи.

— Кто меня раздел?— спросила она, впиваясь ему в лицо немигающим, неотвратимым взглядом.

— Я,— отозвался он.— Чтоб привести вас в чувство.

Она затихла на миг, вперив в него ужасный взгляд, приоткрыв рот.

— Значит, вы любите меня?

Он лишь стоял и смотрел на нее, точно околдованный. Душа в нем растаяла.

Она подползла к нему на коленях и обвила его руками, обняла его ноги, прижимаясь грудью к его коленям и бедрам, держа его с непостижимой и судорожной уверенностью, прижимая к себе его бедра, плотнее притягивая его к своему

лицу и горлу, глядя на него снизу вверх горящими и смиренными глазами, преображенная, торжествующая в восторге первоначального обладания.

— Вы меня любите,— испугленно лепетала она с тоской и торжеством, с непостижимой убежденностью.— Любите. Вы любите меня, я знаю, знаю.

И страстно целовала его колени сквозь мокрую ткань, осыпала страстными поцелуями его колени, ноги, все подряд, не разбирая.

Он глядел сверху вниз на спутанные, мокрые волосы, на животную плоть оголенных в неистовстве плеч. Он был озадачен, изумлен, испуган. Он никогда не помышлял, что может ее любить. Никогда не хотел любить ее. Когда он вытаскивал ее из воды и приводил в сознание, он был врач, она — пострадавшая, и только. Ничто личное не закрадывалось к нему в голову. Напротив — это вторжение личного претило ему до чрезвычайности, как нарушение врачебной этики. То, что она обнимала его колени, было неприлично, непристойно. Все существо его противилось этому, решительно и бурно. И между тем — между тем ему недоставало духу вырваться.

Она опять устремила на него взгляд, полный той же молящей, безмерной любви, того же невыразимого, страшного, сияющего торжества. Мягкий свет исходил от ее лица, и пред этим сиянием он был бессилен. А ведь он никогда не собирался ее любить. Никогда. И что-то в нем упорно этому сопротивлялось.

— Вы меня любите,— в упоении, с глубокой верой повторяла она.— Любите меня.

Она тянула его ниже, привлекая к себе. Это отпугивало его, отчасти даже коробило. Ведь он действительно вовсе не помышлял ни о какой любви. А она все тянула его к себе. Ища опоры, он выставил вперед руку и ухватился за ее голое плечо. И точно пламя обожгло ладонь, сжимающую мягкое плечо. У него в мыслях не было ее любить, вся его воля противилась этому. А между тем сладостно было прикосновение к ее плечу, прекрасен свет, озаряющий ее лицо. Может

быть, она и правда сошла с ума? Ему жутко было ей уступить. А сердце ныло, тянулось ей навстречу.

Он упорно смотрел мимо нее, на дверь. Но по-прежнему держал руку у нее на плече. Внезапно она притихла. Он перевел на нее взгляд. Теперь ее глаза расширились от страха, от сомнения, свет на лице у нее угасал, мрак опять напал на него зловещей тенью. Осязая на себе вопрошающие, прикованные к нему глаза, видеть, как проступает за вопросом лик смерти,— этого он не вынес.

С безмолвным стоном он сдался, дал волю ноющему сердцу. Ласковая усмешка вдруг взошла на его лицо. И глаза, неотрывно прикованные к нему, медленно, очень медленно налились слезами. Он следил, как, подобно медлительному роднику, взбухает, наполняя ее глаза, странная влага. Сердце горело и таяло у него в груди.

Стоять и глядеть на нее сделалось выше его сил. Он упал на колени, обхватил ее голову, прижал к себе. Она не издавала ни звука. У него разрывалось сердце, жгло ему грудь неведомой мукой. Он чувствовал, как, одна за другой, каплют ему на шею горячие слезы. И не мог шелохнуться.

Он чувствовал, как ему орошают шею ее горячие слезы, собираясь в ямке у ключиц, и не шевелился — время для него остановилось. Только теперь ему стало важнее всего на свете, чтобы к нему тесно прижималось это лицо, невозможно стало выпустить ее из рук. Невозможно выпустить из тесного кольца рук эту голову. Пусть это длится вечно, пусть сердце вечно разрывается от боли, в которой для него отныне вся жизнь. Сам того не замечая, он смотрел на ее влажные, мягкие каштановые волосы.

Потом, как-то сразу, уловил знакомый тошнотворный запах тухлой воды. В тот же миг девушка отстранилась и взглянула на него. В непроницаемой глубине ее глаз стояла тоска. Он в страхе кинулся целовать ее, сам не понимая, что делает. Только бы исчез из ее глаз этот пугающий, непроницаемый, тоскливый взгляд.

Когда она опять подняла к нему лицо, на нем рдел тонкий, мягкий румянец, и опять грозным сиянием занималась в ее

глазах радость, наводящая на него ужас, но теперь он жаждал видеть ее, ибо еще ужасней было видеть в ее глазах сомнение.

— Вы любите меня?— дрогнувшим голосом спросила она.

— Да.— Ему стоило мучительного труда выговорить это слово. Не потому, что он сказал неправду. А потому, что правда была чересчур внове и сказать о ней вслух было все равно что еще раз полоснуть острым по его кровоточащему сердцу. И потом, даже теперь он был не слишком рад, что это правда.

Она обратила к нему лицо, и он, склонясь, поцеловал ее в губы, нежно, как целуют однажды в жизни, давая клятву навек. И опять сердце больно сжалось у него в груди. Ведь он совсем не собирался любить ее. Но вспоминать об этом было поздно. Он уже перешагнул через пропасть, разделяющую их, и все, что оставалось позади, съежилось и рассыпалось прахом.

После поцелуя глаза ее опять медленно налились слезами. Отстранясь от него, она сидела как изваяние, поникнув головой, сложив руки на коленях, и медленно роняла слезы. Наступила полная тишина. Он тоже молчал, неподвижно сидя на каминном коврике. Непонятная боль разрывала ему сердце, захлестывала его. Чтобы он мог полюбить ее? Чтобы такое называлось любовью? Чтобы вот так разрывалось сердце? И это у него, врача! Как осмеяли бы его все, если б узнали! Какая пытка даже подумать, что об этом могут узнать!

Содрогаясь от непонятной, острой боли при этой мысли, он опять посмотрел на нее. Она по-прежнему сидела, понурясь в раздумье. Он увидел, как капнула слеза, и сердце ему ожгло огнем. Он впервые заметил, что с одного плеча у нее совсем сползло одеяло, одна рука обнажилась, виднелась одна маленькая грудь — неясно, потому что в комнате почти совершенно стемнело.

— Отчего ты плачешь?— спросил он изменившимся голосом.

Она глянула на него, и впервые на лице у нее проступила

сквозь слезы краска стыда от сознания, что она сидит перед ним в таком виде.

— Я не плачу, это я так,— сказала она, боязливо наблюдая за ним.

Он потянулся вперед, и пальцы его мягко сомкнулись на ее голой руке.

— Я люблю тебя! Люблю тебя!— сказал он грудным, трепетным, низким, неузнаваемым голосом.

Она отпрянула, потупив голову. Мягкое, настойчивое пожатие его пальцев тяготило ее. Она подняла на него глаза.

— Мне нужно сходить наверх,— сказала она.— Хочу достать для вас что-нибудь сухое.

— Зачем? Мне и так хорошо.

— Так нужно. И я хочу, чтобы вы переоделись.

Он выпустил ее руку, и она натянула на себя одеяло, поглядывая на него испуганно. Но встать медлила.

— Поцелуйте меня,— тихонько попросила она.

Он поцеловал ее, но быстро, полусердито.

Тогда, помедлив еще секунду, она неловко поднялась, путаясь в одеяле. Он следил, как она в замешательстве силится высвободиться и запахнуть на себе одеяло так, чтобы оно не мешало при ходьбе. Следил в упор, не трогаясь ее смущением. А когда она пошла прочь, мелькая босыми ногами, и в темноте забелело ее колено, он попытался вообразить ее такой, какой она была, когда он укутывал ее в одеяло. Но сразу отказался от этой попытки, потому что тогда она ничего для него не значила, и все в нем воспротивилось тому, чтобы воображать ее такой, как в те минуты, когда она ничего не значила для него.

Что-то с глухим стуком упало в глубине темного дома; он вздрогнул. «Вот, возьмите одежду»,— услышался ее голос. Он встал и, подойдя к подножию лестницы, поднял брошенные ею вещи. Потом вернулся к огню, досуха вытерся и оделся. Кончив одеваться, он оглядел себя с насмешливой улыбкой.

Огонь догорал, и он подложил в камин угля. Теперь в доме стало совсем темно, только слабый свет уличного фонаря

пробивался внутрь сквозь ветви остролиста. Он нашел на каминной доске спички и зажег газовую лампу. Свою влажную одежду он свалил в кучу в посудомойне, опорожнив сперва карманы. Ее насквозь промокшие вещи бережно подобрал с пола и сложил отдельно на крышке медного котла.

Каминные часы показывали шесть. Его собственные давно стали. Пора было бежать назад в приемную. Он подождал; она все не спускалась. Наконец он подошел к лестнице и крикнул:

— Я скоро должен уходить!

И почти сразу услышал, как она сходит вниз по ступенькам.

Она надела вуалевое черное платье — свой лучший наряд,— тщательно причесалась, хотя волосы у нее еще не высохли. Оглядела его и невольно улыбнулась.

— Не красит вас эта одежда,— сказала она.

— На пугало похож, правда?

Оба старались побороть застенчивость.

— Я приготовлю вам чаю.

— Нет, мне надо идти.

— Неужели?— Она опять взглянула на него широко открытыми, полными тоски и сомнения глазами. И опять, по той боли, которой отозвался этот взгляд в его сердце, он понял, что любит ее. Он шагнул к ней, нагнулся и поцеловал ее страстно, вложив в поцелуй всю боль своего сердца.

— Волосы у меня так противно пахнут,— сокрушенно пролепетала она.— Ужас! И все у меня ужасное, все! Нет, я просто ужасна!— Она расплакалась, горько, навзрыд.— Я вам противна, меня нельзя любить.

— Полно, полно, не говори глупости,— сказал он, стараясь ее утешить, целуя ее, обнимая крепче.— Я хочу тебя, хочу на тебе жениться, мы поженимся, скоро, очень скоро — завтра же, если удастся.

Но она только зарыдала еще горше:

— Какой ужас! Боже мой, какой ужас! Я чувствую, что противна тебе.

— Нет, ты нужна мне, я хочу тебя,— твердил он в беспомощности неузнаваемо чужим голосом, который пугал ее едва ли не сильнее, чем пугала страшная мысль, что она может быть ему не нужна.

Солнце

1

— Увезите ее отсюда к солнцу,— сказал доктор.

Сама она отнеслась к этому скептически, но позволила, чтобы ее морем увезли вместе с ребенком, матерью и няней.

Корабль отплывал в полночь. И два часа, пока укладывали ребенка и пассажиры поднимались на борт, муж оставался с ней. В черной ночи Гудзон колыхал свою тяжелую черноту в россыпях искр струящегося света. Она облокотилась о поручни и, глядя вниз, думала: море, оно глубже, чем можно себе представить, и таит больше воспоминаний. В этот миг море напряжилось, подобно извечному змею хаоса.

— Знаешь, эти расставания до добра не доведут,— говорил рядом с ней муж.— До добра не доведут. Не нравятся мне они.

В его тоне слышались настороженность, опасение, чувствовалось, что он цепляется за последнюю соломинку надежды.

— Да, мне тоже,— ответила она безучастно.

Она вспомнила, как им до боли хотелось разъехаться, ему и ей. Расставание слегка взбудоражило ее чувства, но привело лишь к тому, что печаль, гнездившаяся в ее душе, пронзила ее еще глубже.

Они посмотрели на своего спящего сына, и глаза отца увлажнились. Но влага на глазах — не в счет, в счет — глубинный, железный ритм привычки, привычки длиною в год, длиною в жизнь, таящийся в глубине силовой заряд.

А силовые заряды обоих — его и ее — были враждебны.

Подобно двум работающим вразной двигатель, они разносили друг друга вдрызг.

— Провожающие, на берег! Провожающие, на берег!

— Морис, тебе нужно идти.

Про себя же она подумала: «Ему — *«Провожающие, на берег!»* Мне — *«Отчаливаем!»*»

Что ж, прощаясь с безотрадным полуночным причалом, он махал платком, пока корабль дюйм за дюймом отходил все дальше от берега, — пылинка в толпе. Пылинка в толпе! *C'est ça!**

На перевозе через Гудзон все еще скользили пароходики, похожие на громадные блюда, увешанные гирляндами огней. Та черная пасть, должно быть, — пристань Лэкавонна.

Корабль удалялся по, казалось, бесконечному Гудзону. Наконец они обогнули излучину, их встретили скудные огни набережной Бэттери. Свобода остервенело вздымала факел вверх. Шумел прибор.

И хотя Атлантический океан был сер, как лава, в конце концов она добралась до солнца. У нее даже был дом над самым синим из морей, с огромным садом или виноградником; лозы и оливы круто сбегали вниз, терраса за террасой, к узкой полоске побережья; с садом, полным укромных уголков, обширных лимонных рощиц далеко внизу, в глубокой лощине, и скрытых от глаз прозрачно-зеленых водоемов; из маленькой пещеры бежал родник, из которого древние сикулы** пили еще до прихода греков; в превращенном в закут древнем склепе с опустевшими нишами бляела серая коза. Веяло запахом мимозы, а за ним — снегами на вершине вулкана.

Она видела все это, и в какой-то мере это успокаивало. Но все это было внешнее и, по правде говоря, было ей безразлично. Сама она оставалась такой же, как прежде, с засевающим внутри у нее гневом и разочарованием, со своей неспособностью к настоящему чувству. Ребенок ее раздра-

* Так-то вот (франц.).

** Сикулы — древний народ, населявший Сицилию.

жал — он покушался на покой ее души. С ужасом, с отвращением чувствовала она свою ответственность за него: словно она должна отвечать за каждое его дыхание. Это было мучением для нее, для ребенка, для всех, кого это касалось.

— Ты помнишь, Джульетта, доктор велел тебе лежать на солнце раздетой. Почему ты это не выполняешь? — спросила мать.

— Когда буду готова к этому, тогда и выполню. Ты хочешь моей смерти? — набросилась на нее Джульетта.

— Твоей смерти? Да нет, я желаю тебе только добра.

— Ради бога, перестань желать мне добра.

В конце концов мать настолько оскорбилась и прогневалась, что уехала.

Море побелело, потом вовсе скрылось из виду. Полил проливной дождь. В доме, построенном для солнца, было холодно.

И вот вновь утро, из-за края воды поднялось, рассыпая искры, обнаженное и расплавленное солнце. Дом выходил на юго-восток. Лежа в постели, Джульетта наблюдала восход. Словно никогда прежде не видала, как восходит солнце. Никогда не видала она, как встает на горизонте чистое, обнаженное солнце, освобождаясь из объятий ночи.

И вот в ней тайно зародилось желание погулять обнаженной на солнце. И желание это она лелеяла, словно тайну.

Но ей хотелось уйти подальше от дома — от людей. А в краю, где у каждой оливы есть глаза, где каждый склон открыт взору издали, нелегко укрыться.

Но она нашла такое место: далеко выступающий в море, открытый солнцу утесистый мыс, поросший большими кактусами с плоскими листьями, что зовется «колючий медведь». Над сизо-серым бугром кактусов поднимался единственный кипарис с бледным, толстым стволом и гибкой вершиной, которая клонилась в синеве. Он стоял словно страж, обозревающий море, или низкая серебристая свеча, чье громадное пламя темнело на фоне света: то земля возносила ввысь гордое пламя своего мрака.

Джульетта села под кипарисом и разделась. Уродливые кактусы вокруг нее образовали лесок, безобразный, но манящий. Она сидела, подставив солнцу грудь, даже и теперь вздыхая от тяжелой боли, сопротивляясь жестокости вынужденного подчинения.

А солнце шествовало по синему небу и в пути посылало вниз свои лучи. Она чувствовала нежное дыхание морского воздуха на груди, которая, казалось, никогда не нальется зрелостью. Ее груди — плоды, которые пожухнут, так и не созрев.

Однако вскоре она почувствовала в них солнце. Оно согревало теплее, чем любовь, теплее, чем молоко или ручки ее ребенка. Наконец, наконец под жарким солнцем ее груди налились, словно длинные белые виноградные гроздья.

Она скинула остальную одежду и лежала на солнце нагая и, лежа, прикрыв глаза ладонями, смотрела вверх, на солнце посредине неба, на его синюю пульсирующую округлость, струящую по краям блеск. Пульсирующее чудесной синевою, струящее по краям белое пламя живое солнце! Устремившее на нее свой сине-огненный взор, объяввшее ее грудь и лицо, ее шею, усталый живот, колени, бедра, ступни!

Она лежала закрыв глаза, сквозь веки сочилось розовое пламя. Слишком ярко. Она вытянула руку и прикрыла глаза листьями. Потом снова легла, будто белая тыква, что на солнце должна созреть и стать золотой.

Она чувствовала, как солнце проникает в самые ее кости, нет, глубже — в ее мысли и чувства. Тяжкое напряжение ее чувств стало ослабевать, холодные, темные сгустки мыслей — рассасываться. Она начинала ощущать, что тепло проникает насквозь. Перевернувшись, она подставила солнцу плечи, поясницу, спину, бедра, даже пятки — пусть оттаивают! Она лежала, чуть не до умопомрачения ошеломленная происходящим — этим чудом. Ее утомленное, прозябшее сердце оттаивало и, оттаивая, испарялось.

И вот, потрясенная, она отправилась домой, почти ничего не различая, ослепленная солнцем и потрясенная солнцем. И слепота была ее богатством, а смутное, теплое, тяжелое,

полубессознательное состояние — сокровищем.

— Мамочка! Мамочка!— Ее ребенок бегом бежал к ней, зовя ее с той особой, похожей на птичью, тревогой, какая диктуется необходимостью, постоянной потребностью в матери. Она подивилась тому, что на этот раз ее разомлевшее сердце не отозвалось в ответ беспокойством болезненной любви. Она подхватила ребенка на руки, но подумала: нельзя, чтобы он рос таким слюнтяем! Он окрепнет, когда станет бывать на солнце.

Ее раздражали цеплявшиеся за нее ручонки, особенно за шею. Она дернула шейей. Ей не хотелось, чтобы к ней прикасались. Бережно опустила ребенка на землю.

— Беги!— сказала она.— Беги на солнышко!

И тут же, прямо на месте, раздела его и голенького выпустила на теплую террасу.

— Поиграй на солнышке!— сказала она.

Он был испуган и собирался заплакать. Но в пронизанной теплом расслабленности тела и полном безразличии сердца она покатила к нему по красным плиткам апельсин, и мягкое, несформировавшееся тельце пустилось за ним вдогонку. Но как только мальчик поймал апельсин, он тут же его бросил — его прикосновение к телу вызывало незнакомое ощущение. Недовольный, он обернулся и посмотрел на нее, сморщив личико, готовый заплакать, напуганный своей наготой.

— Неси мне апельсин,— говорила она, изумляясь своей полной безучастности к его тревогам.— Неси мамочке апельсин.

«Он вырастет не таким, как отец,— сказала она себе.— Не как червь, никогда не видавший солнца».

2

Раньше она была бесконечно поглощена ребенком, своей мучительной ответственностью, словно, родив его, должна была держать ответ за все его существование. Ее раздражало, даже если у него текло из носа, задевало за живое так, будто она должна была выговаривать себе самой: полюбуйся, что ты произвела на свет!

Теперь произошла перемена. Ребенок больше так живо не интересовал ее, и она освободила его от бремени своего беспокойства и воли. И от этого он стал только крепче и здоровее.

Про себя же она думала о солнце, о его великолепии, о своем соединении с ним. Теперь жизнь ее стала целым обрядом. Она всегда просыпалась до рассвета и, лежа, наблюдала, как серый цвет переходит в бледно-золотой, чтобы узнать, не закрыт ли край моря облаками. Ее охватывала радость, когда, расплавленное, оно вставало в наготу своей, озаряя нежное небо сине-белым пламенем.

Но порой оно выплывало, рдея румянцем, подобно крупному, застенчивому человеку. Порой — неторопливое, пунцово-красное, с разгневанным видом медленно прокладывало себе путь. Порой же она не видела его — оно двигалось за ровной стеной облаков, отбрасывая вниз лишь золотой и алый отсветы.

Ей повезло. Неделя шла за неделей, и хотя рассвет порой выдавался облачный, а после полудня все, случалось, затягивало серым, не проходило ни дня без солнца — несмотря на зиму, дни в основном стояли ослепительные. Расцвели маленькие, тоненькие дикие крокусы, лиловые, полосатые; дикие нарциссы вывесили свои зимние звездочки.

Каждый день отправлялась она к кипарису посреди рощицы кактусов на бугре с желтоватыми утесами у подножия. Теперь она поумнела, стала сообразительнее и надевала лишь пеньюар голубиного цвета и сандалии. Так что в любом укромном уголке она вмиг представала перед солнцем нагой. А в то мгновение, как облачалась снова, становилась серой и невидимой.

Каждый день с утра до полудня лежала она у подножия могучего кипариса с серебристыми лапами, под весело катившим по небу солнцем. Теперь она чувствовала солнце в каждой жилочке своего тела, в ней нигде не гнездилась холодная тень. А ее сердце, исполненное тревоги и напряжения сердце, исчезло, подобно цветку, что опадает на солнце, оставляя лишь зрелую коробочку с семенами.

Она знала это солнце на небесах, иссиня-расплавленное, с белой огненной каймой, излучавшее пламя. И хоть светило оно всему свету, когда она лежала, сбросив одежду, оно устремлялось к ней. Это было одно из его чудес — солнце могло светить миллионам людей и все же оставаться лучезарным, великолепным и единственным солнцем, устремленным к ней одной.

Познав солнце, она, уверенная, что и солнце *познало* ее, в космическом, чувственном смысле слова, испытывала отчуждение от людей, известное презрение ко всему роду человеческому. Они так далеки от стихий, от солнца. Так похожи на могильных червей.

Даже проходившие со своими осликами по древней каменной дороге крестьяне, хоть и почернели от солнца, все же не были пронизаны солнцем. Словно улитка в раковине, таилось в них мягкое белое ядрышко страха, где, съжившись от страха смерти, от страха естественного сиянья жизни, пряталась душа человека. Он не смел по-настоящему выйти наружу, вечно прятался внутри. Таковы все мужчины.

Но к чему принимать мужчин!

В своем безразличии к людям, к мужчинам она теперь не так опасалась, что ее увидят. Маринине, которая покупала для нее в деревне продукты, она сообщила, что доктор прописал ей солнечные ванны. И довольно с них.

Маринине было за шестьдесят; высокая, сухая, державшаяся совершенно прямо женщина с поседевшими темными кудрявыми волосами, темно-серыми глазами, таившими мудрость тысячелетий, и тем смехом, что неизменно приходит, когда много прожито и пережито. Трагедия — порождение неопытности.

— Прекрасно, наверно, ходить на солнце раздевшись,— сказала Маринина с мудрым смехом в глазах, глядя на женщину пронизательным взглядом. Белокурые, коротко стриженные волосы Джульетты легким облачком курчавились у висков. Маринина была родом из Великой Греции,*

* Так назывались в древности владения Греции в Южной Италии и на Сицилии.

и у нее была древняя память. Вновь взглянула она на Джульетту.— Но чтоб не оскорбить солнце, надо самой быть прекрасной. Так ведь?— добавила она.

— Кто знает, красива я или нет,— сказала Джульетта.

Но красива ли, нет ли, она чувствовала, что любима солнцем. А это одно и то же.

Иногда в полдень, удалившись в тень, она спускалась по скалам вниз, минуя обрыв, вниз, в глубокую лощину, где в вечной тени и прохладе висели лимоны, и, сбросив в тишине пеньюар, быстро окуналась в одно из глубоких, ясных зеленых озерц; в тусклом зеленоватом сумраке под листвой лимонных деревьев она замечала, как розовеет ее тело, розовеет, переливаясь золотом. Словно она стала другим человеком. Она стала другим человеком.

И вспомнилось ей, что, как говорили греки, белое, незагорелое тело похоже на рыбу, в нем нет здоровья.

Слегка натерев кожу оливковым маслом, она бесцельно бродила в темном царстве под лимонными деревьями, положив на пупок цветок лимона, и смеялась сама с собой. Вероятно, ее мог бы увидеть какой-нибудь крестьянин. Но, увидев, он испугался бы ее больше, чем она его. Она знала это белое ядрышко страха, скрытое в одетых телах мужчин.

Знала даже в своем сынишке. Как он не доверял ей теперь, когда она, с напоенным солнцем лицом, смеялась над ним. Она требовала, чтобы он голенький гулял на солнце каждый день. И теперь его крошечное тело тоже порозовело, густые, белокурые волосы откинута со лба, нежно-золотистую кожу загорелых щек заливают гранатово-алый румянец. Он был красив и здоров, и слуги, которым нравились красные, золотые, синие краски ребенка, называли его ангелом небесным.

Но матери он не доверял: она смеялась над ним. И в его широко открытых голубых глазах на слегка нахмуренном личике она видела то средоточие страха, боязни, что — теперь она была в этом уверена — таится в глубине глаз всех мужчин. Она называла это страхом перед солнцем.

«Он боится солнца»,— говорила она себе, вглядываясь в глаза ребенка.

И, наблюдая, как он ковыляет на солнце, качаясь и падая с легким птичьим криком, она видела, что он сторонится солнца и прячется от него, замыкаясь в себе. Его дух, словно улитка в раковине, прятался у него внутри в сырой, холодной щели. Если б только она могла вывести его наружу, заставить его вырваться в беззаботной раскованности!

Она решила взять его с собой под кипарисовое дерево, окруженное кактусами. Из-за колючек придется наблюдать за ним, но там-то он уж, конечно, выйдет из своей раковинки. Личико его очистится от напряжения, порожденного цивилизацией.

Она расстелила для мальчика коврик и усадила его. Затем сбросила пеньюар и сама легла, следя за полетом сокола в синей вышине и склоненной вершиной кипариса.

Мальчик играл на ковре в камешки. Когда он поднялся на ножки, чтобы уйти, она тоже села. Он обернулся и посмотрел на нее своими голубыми глазами. Это был почти вызывающий, теплый взгляд настоящего мужчины. Он был хорош — алый цвет играл на золоте его белоснежной кожи. Только, по правде говоря, он не был белым. У него была золотисто-смуглая кожа.

— Осторожно, дорогой, там колючки.

— Колючки! — повторил ребенок, щелбеча, словно птичка, по-прежнему в сомнении глядя на нее через плечо, будто голенький херувим на картине.

— Безобразные, противные колючки.

— П'ативные колючки!

Он шлепал по камням в сандаликах, дергая сухую дикую мяту. Когда он чуть было не наткнулся на колючки, она подскочила к нему стремительно, как змея. Это изумило даже ее.

«Да я, право, что дикая кошка!» — сказала она про себя.

Каждый день, когда светило солнце, она приводила его к кипарису.

— Слушай! — говорила она. — Давай пойдем к кипарису.

Если ж выдавался облачный день, дул ветер, трамонтана, и она не могла пойти туда, ребенок щелбета без умолку:

— Кипарис! Кипарис!

Он скучал по дереву не меньше ее.

Это были не просто солнечные ванны, а нечто гораздо большее. Внутри у нее что-то раскрылось, распустилось, она была посвящена. Какой-то таинственной силой, сокрытой у нее внутри, глубже, чем доступно ее сознанию и воле, она соединилась с солнцем, и независимо от нее ток исходил из ее лона. Сама она, ее сознательное «я» стали чем-то второстепенным, второстепенным лицом, почти что сторонним наблюдателем. Истинная же Джульетта темным потоком изливалась из глубин своего сердца навстречу солнцу.

Она всегда была сама себе хозяйкой, создававшей все, что делает, и пребывавшей в напряжении от своей собственной силы. Теперь она ощущала внутри совсем иную силу, нечто более могучее, чем она, изливавшееся независимо от нее. Теперь сама она стала неприметной, но обладала силой, не подвластной ей.

3

Конец февраля неожиданно оказался очень жарким. От малейшего дуновения цвет миндаля опадал, словно розовый снег. Распустились маленькие розовато-лиловые шелковистые анемоны; высоко, все в бутонах, поднялись асфодели; море отливало васильковой синевой.

Джульетта перестала волноваться о чем бы то ни было. Теперь они с ребенком почти весь день проводили на солнце, и это было все, чего ей хотелось. Иногда она спускалась к морю и купалась, часто бродила в лощинах, пронизанных солнцем, вдали от людских глаз. Иногда она видела крестьянина с ослом, и он видел ее. Но она шла с ребенком так свободно и просто, да и слава о целительной силе солнца — и для тела, и для души — уже разнеслась по округе, и потому встреча не вызывала волнений.

Оба, и она, и ребенок, покрылись теперь золотисто-розовым загаром с головы до пят.

— Я стала другим человеком! — говорила она себе, глядя на свою золотисто-румяную грудь и бедра.

Ребенок тоже стал другим существом, отмеченным какой-

то особой, тихой, проморенной солнцем сосредоточенностью. Теперь он тихо играл один, и ей почти не приходилось следить за ним. Как будто он даже и не замечал, когда оставался один.

Не было ни малейшего ветерка, море отливало ультрамарином. Она сидела у огромной серебристой лапы кипариса, разомлев от солнца, но ее чуткая грудь жила, налитая соком. Она начинала понимать, что в ней пробуждается энергия, которая приведет ее к новой жизни. И все же она не хотела понимать. Слишком хорошо знала она огромный холодный механизм цивилизации, от которого так трудно спастись.

Обогнув огромный раскидистый кактус, ребенок прошел несколько ярдов по каменистой тропинке. Она видела, как он, поистине золотисто-коричневое дитя ветров, с выгоревшими золотыми волосами и румяными щечками, рвал крапчатые мухоловки, укладывая их рядками. Сейчас он двигался уверенно и быстро справлялся со своими трудностями, точно молодой зверек, поглощенный безмолвной игрой.

Вдруг она услышала, как он позвал:

— *Посмотри, мамочка! Мамочка, посмотри!*

Какая-то нотка в его щебечущем голосе заставила ее резко податься вперед.

У нее замерло сердце. Он смотрел на нее через свое обнаженное плечико и мягкой ручкой показывал на змею, которая с шипеньем поднялась в ярде от него, изготовясь к броску, в раскрытой пасти, словно тень, подрагивал мягкий черный раздвоенный язык.

— Посмотри, мамочка!

— Да, милый, это змея,— раздался ее медленный, грудной голос.

Он смотрел на нее широко открытыми голубыми глазами, не уверенный, надо бояться змеи или нет. Дарованное ей солнцем спокойствие успокоило и его.

— Змея!— прошептал он.

— Да, милый! Не трогай ее, она может укусить.

Змея опустилась на землю и, разматывая кольца, свернувшись в которые она спала на солнцепеке, медленно изви-

ваясь, потянула свое золотое с коричневым тело среди камней. Мальчик повернулся и молча наблюдал за ней.

Потом сказал:

— Змея уходит!

— Да! Не мешай ей. Она любит быть одна.

Он все еще следил за медленным движением длинного ползущего тела, пока с безразличным видом та не скрылась.

— Змея ушел,— сказал он.

— Да, ушла. Пойди на минутку к маме.

Он подошел и сел к ней на колени. Обнаженная, она держала его пухлое, обнаженное тельце и гладила светлые, выгоревшие волосы. Она ничего не говорила, чувствуя, что все позади. Странная, умиротворяющая сила солнца, словно чудо, наполняла ее, наполняла все это место, и змея так же принадлежала к этому миру, как она и ребенок.

На другой день на одной из террас, где росли оливы, она увидела ползущую по сухой каменной ограде черную змею.

— Маринина,— сказала она,— я видела черную змею. Они опасны?

— А, черные,— нет! А вот желтые — да! Если укусит желтая змея — умрешь. Но когда они мне попадают, я их боюсь, я их боюсь, даже черных.

Джувьетта все равно ходила с ребенком к кипарису. Прежде, чем сесть, она неизменно осматривала все вокруг, обследуя места, куда бы он мог пойти. Потом ложилась, открываясь солнцу, устремив вверх загорелые, похожие на груши груди. Она не предавалась размышлениям о завтрашнем дне. Ни о чем за пределами сада не желала думать и писем писать не могла, поручая это обычно сделать няне.

4

Наступил март, солнце набирало все больше и больше силы. В жаркие часы она лежала в тени под деревьями или даже спускалась вниз, погружаясь в прохладную глубину лимонной рощи. Вдалеке, словно поглощенный жизнью молодой зверек, бегал ребенок.

Однажды, испугавшись в одном из больших водоемов, она

сидела на солнце на крутом склоне лощины. Внизу, под лимонными деревьями, продираясь сквозь заросли желтых цветов тенелюбивой кислицы, ребенок собирал опавшие лимоны; на его загорелое тельце падали пестрые тени — он был весь пятнистый.

Неожиданно высоко над кручей, на фоне залитого солнцем бледно-голубого неба показалась Маринина, повязанная черным платком, и тихо позвала:

— Signora! Signora Giulietta!*

Джульетта обернулась, встала; Маринина на миг смолкла при виде живо поднявшейся обнаженной женщины с похожими на облачко выгоревшими светлыми волосами. Затем проворная старуха спустилась по круто сбегавшей вниз тропинке.

Совершенно прямая, она стояла в нескольких шагах от женщины цвета солнца и внимательно разглядывала ее.

— До чего ж вы хороши, ах, до чего!— произнесла она невозмутимо, почти цинично.— Приехал ваш муж.

— Мой муж!— воскликнула Джульетта.

Старуха рассмеялась резким мудрым смешком, насмешливым смехом былых времен.

— Разве у вас его нет, мужа-то?— поддразнила она.

— Но где же он?— воскликнула Джульетта.

Старуха поглядела через плечо.

— Шел следом,— сказала она.— Он бы один не нашел дороги.

И она вновь рассмеялась тем же резким смешком.

Тропинки сплошь заросли высокой травой, цветами и перителла** и теперь напоминали звериные тропы в дикой, нетронутой глуши. Странная она, эта живая дикость древних очагов цивилизации, дикость, которая не навеивает тоски.

Джульетта задумчиво посмотрела на служанку.

— Что ж, очень хорошо!— сказала она наконец.— Пусть идет.

— Пусть идет сюда? Сейчас?— спросила Маринина,

* Синьора! Синьора Джульетта! (итал.).

** кошачьей мятой (итал.).

устремив взгляд смеющихся дымчато-серых глаз в глаза Джульетты. Потом легонько передернула плечами.— Хорошо, как угодно. Для него это в самый раз!

Она открыла рот в беззвучном и радостном смехе. Потом показала на ребенка, который собирал внизу лимоны, прижимая их к груди.

— Поглядите, до чего хорош ребенок! Уж это наверняка порадует беднягу. Так я приведу его.

— Приведи,— сказала Джульетта.

Старуха вновь быстро вскарабкалась по тропинке. С серым лицом, в серой фетровой шляпе и темно-сером костюме, Морис в растерянности стоял посреди виноградника, уступами уходившего вниз. В ослепительном сиянии солнца, под сенью эллинского мира вид у него был донельзя жалкий и нелепый — словно чернильное пятно на бледном, раскаленном от солнца склоне.

— Идите сюда!— позвала его Маринина.— Она здесь, внизу.

И она быстро повела его, ступая проворно и размашисто, прокладывая путь в траве. На краю обрыва она вдруг остановилась. Далеко внизу темнели макушки лимонных деревьев.

— Ступайте, ступайте вниз,— сказала она; он поблагодарил ее, бросив на нее снизу быстрый взгляд.

Сорокалетний мужчина с серым лицом, гладко выбритый, очень спокойный и по-настоящему застенчивый, он вел свое дело, не ошеломляя успехами, но компетентно. И никому не доверял. Старуха родом из Великой Греции раскусила его с первого взгляда: он добрый, сказала она себе, только он не мужчина, бедняга.

— Синьора там, внизу!— сказала Маринина с таким жестом, точно она одна из парок.

С безжизненным взглядом повторив «Спасибо! Спасибо!», он осторожно ступил на тропинку. Маринина с радостью злоумышленника вздернула подбородок. Затем размашистым шагом удалилась к дому.

Продираясь по спутанным травам Средиземноморья, Мо-

рис шагал с осторожностью, так что не заметил жены, покуда не прошел небольшой поворот совсем рядом с ней. Обнаженная, она стояла во весь рост у выступа скалы, излучая солнце и теплоту жизни. Казалось, ее чуткая грудь вздымалась, прислушиваясь к чему-то; коричневые бедра, казалось, налились быстротой. Когда он появился, будто чернильное пятно на промокашке, она скользнула по нему быстрым и нервным взглядом.

Бедняга Морис заколебался и отвел взгляд в сторону. Отвернулся.

— Привет, Джули!— сказал он, нервно покашливая.— Великолепно! Великолепно!

Он приближался, отвернувшись в сторону, снова и снова бросая короткие взгляды на стоявшую поодаль жену, чья загорелая кожа отливала на солнце каким-то особым, шелковистым блеском. Во всяком случае, она не казалась столь уж чудовищно обнаженной. Ее одевал золотисто-розовый солнечный загар.

— Привет, Морис!— сказала она, отстраняясь.— Не ожидала тебя так скоро.

— Да,— сказал он.— Да! Мне удалось удрать немножко пораньше.

И от ощущения неловкости он снова кашлянул.

Они стояли в нескольких ярдах друг от друга и молчали.

— Что ж!— сказал он.— А... великолепно, великолепно! Ты... а... великолепна! А где мальчик?

— Вон он,— ответила она, указывая вниз, где в густой тени голенький карапуз собирал в кучу опавшие лимоны.

Отец рассмеялся странным коротким смешком.

— Ах да! Вон он! Вон, значит, где наш мальчуган! Чудно!— говорил он. Его подавленную, нервную душу охватил настоящий трепет.— Привет, Джонни!— окликнул он мальчика, но зов его прозвучал довольно слабо.— Привет, Джонни!

Ребенок глянул вверх, выронив из пухлых ручек лимоны, но ничего не ответил.

— Думаю, лучше спуститься к нему,— сказала Джульет-

та, повернулась и уверенно пошла по тропинке. Муж последовал за ней, наблюдая, как быстро опускаются и поднимаются при ходьбе ее розовые, легкие бедра, чуть раскачиваясь в талии, как на шарнире. Он был ошеломлен от восторга, но вместе с тем до смерти растерян. Что ему делать с самим собой? В темно-сером пиджаке и светло-серой шляпе, с серым монашеским лицом застенчивого бизнесмена, он абсолютно не вписывался в картину.

— Он хорошо выглядит, правда?— сказала Джульетта, когда они продрались сквозь целое море желтых цветов кислицы под лимонными деревьями.

— А!.. Да-да! Великолепно! Великолепно!.. Привет, Джонни! Ты узнаешь папочку? Ты узнаешь папочку, Джонни?

Он присел на корточки и протянул к мальчику руки.

— Лимоны!— прошебетал, как птичка, ребенок.— Два лимона.

— Два лимона!— подхватил отец.— Много лимонов.

Ребенок подошел и положил по лимону в раскрытые руки отца. Потом отступил назад и посмотрел.

— Два лимона!— повторил отец.— Иди ко мне, Джонни! Иди и поздоровайся с папочкой.

— Папа уезжает?— спросил ребенок.

— Уезжает? Ну... ну... не сегодня.

И он подхватил сына на руки.

— Снимет пиджак! Папочка снимет пиджак!— говорил мальчик, очаровательно отстраняясь от его одежды.

— Хорошо, сынок! Папочка снимет пиджак.

Он снял пиджак и аккуратно положил в сторонку, затем снова взял на руки сына. Обнаженная женщина смотрела на обнаженного ребенка, которого держал на руках мужчина в рубашке. Мальчик стащил с отца шляпу, и Джульетта посмотрела на прилизанные, черные с сединой волосы мужа — не выбился ни один волосок. Совсем, совсем как в помещении. Она долго молчала, пока отец разговаривал с ребенком, обожавшим папочку.

— Что ты думаешь предпринять, Морис?— сказала она неожиданно.

Он быстро, искоса посмотрел на нее:

— А... в каком отношении, Джули?

— Да во всех! С этим вот! Я не могу вернуться назад на Сорок седьмую...

— А...— он колебался,— нет, полагаю, что нет... по крайней мере не сейчас.

— Никогда,— сказала она; последовало молчание.

— Ну... а... не знаю,— сказал он.

— Думаешь, ты мог бы приезжать сюда?— спросила она.

— Да!.. Я могу остаться на месяц. Думаю, я могу выкроить месяц.— Он колебался. Затем осмелился вновь бросить на нее неизъяснимый, смущенный взгляд и вновь отвернулся, так что лица его не было видно.

Она посмотрела на него сверху вниз, ее чуткая грудь со вздохом вздымалась, словно ее колыхал легкий ветерок нетерпения.

— Я не могу вернуться домой,— произнесла она медленно.— Не могу уехать от этого солнца. Если ты не можешь приехать сюда...

Она оборвала на неоконченной ноте. Со все возрастающим восхищением он, все меньше смущаясь, снова и снова украдкой поглядывал на нее.

— Да!— сказал он.— Это как раз то, что тебе нужно. Ты великолепна! Да, полагаю, ты не можешь уехать.

Он думал о том, какая бледная, молчаливая была она в нью-йоркской квартире, как ужасно, как угнетающе действовала на него. Мягкая, робкая душа в отношениях с людьми, он был глубоко напуган после рождения ребенка ее жуткой, безмолвной враждебностью. Он понимал, что жена ничего не может с этим поделать. Так устроены женщины. Их чувства обращаются в свою противоположность, даже вопреки их собственной воле, это ужасно... ужасно! Ужасно, ужасно жить в одном доме с женщиной, чьи чувства обратились в свою противоположность даже вопреки ее собственной воле! Ему казалось, что он раздавлен жерновом ее ненависти, с которой она ничего не в силах поделать. Она и себя раздавила, да и ребенка тоже. Нет, что угодно, только не это.

— А как же ты?— спросила она.

— Я? Ах, я!.. Я могу вести свое дело и... а... приезжать сюда в отпуск... пока ты захочешь оставаться здесь. Оставайся, сколько тебе хочется.— Он долгим взглядом уставился в землю, потом поднял смущенные глаза и почти с мольбой посмотрел на нее.

— Даже навсегда?

— Ну... а... да, если хочешь. Навсегда — это долгое время. Тут срока не установишь.

— И я могу делать все, что мне хочется?— Она смотрела с вызовом, прямо ему в глаза. Он был бессилен перед ее розовой, овечьей ветром наготой.

— А... да!.. Полагаю, что да! До тех пор, пока это не будет во вред тебе... или мальчику.

Опять он взглянул на нее с неизъяснимым, смущенным призывом — думая о ребенке, но и сам на что-то надеясь.

— Не будет,— быстро проговорила она.

— Нет!— сказал он.— Нет! Я и не думаю!

Наступило молчание. Колокола в деревне нетерпеливо отбивали полдень. Значит, время полдничать.

Она накинула пеньюар из серого крепа, завязала вокруг талии широкий зеленый пояс. Затем набросила на мальчика через голову голубую рубашечку, и они в гору стали подниматься к дому.

За столом она внимательно разглядывала мужа, его серое городское лицо, его приглаженные, черные с проседью волосы, его особую чинность за столом, его предельную умеренность в том, что он ел и пил. Иногда он украдкой поглядывал на нее из-под черных ресниц. Золотисто-серые глаза его напоминали глаза животного, пойманного совсем молодым и выросшего в неволе.

Пить кофе вышли на балкон. Внизу, поодаль, на соседнем *podere**, за узкой ложиной с отвесными краями, под деревцем миндаля, рядом с зеленой пшеницей, расположился крестьянин с женой. Они полдничали, расстелив на земле белую тряпицу. Огромный каравай хлеба, стаканы вина.

* владении, участке (итал.).

Джульетта посадила мужа спиной к этой сцене, сама села лицом. Ибо в тот миг, когда они с Морисом вышли на балкон, крестьянин поднял глаза и взглянул.

5

Она знала его прекрасно — издалека. Довольно полный, очень коренастый малый лет тридцати пяти, он жевал хлеб, откусывая его большими кусками. Его смуглолицая статная мрачная жена держалась настороженно. Детей у них не было. Вот и все, что удалось узнать Джульетте.

Крестьянин много работал один на соседнем podere. Неизменно чисто и опрятно одетый, белые брюки, цветная рубашка, старая соломенная шляпа. И он, и его жена имели вид спокойного превосходства, присущего не классу, а личности.

Привлекала в нем живость, особая бурная энергия, придававшая — при всей его полноте и приземистости — очарование его движениям. Вначале, еще до того, как она пристрастилась к солнцу, Джульетта неожиданно повстречала его среди скал, когда она перебралась на соседний podere. Он увидел ее раньше, чем она его, так что, когда она подняла наконец глаза, он снял шляпу, с гордостью и робостью глядя на нее большими синими глазами. У него было широкое, загорелое лицо с коротко подстриженными темными усами и густыми темными бровями, почти такими же густыми, как усы, и сходящимися под низким, широким лбом.

— Ах! — сказала она. — Можно мне здесь пройти?

— Конечно! — ответил он с той особой, жаркой поспешностью, которая отличала его движения. — Мой padrone* разрешил бы вам ходить по его земле где угодно.

И он запрокинул голову с быстротой, живостью и робостью своей щедрой натуры. Она быстро пошла дальше, мгновенно постигнув безудержную щедрость его крови и столь же безудержную, farouche** робость.

С тех пор издали она видела его ежедневно и поняла, что

* хозяин, владелец (итал.).

** дикую, строгую, неприступную (франц.).

он из тех, кто по большей части держится сам по себе, точно быстროное животное, и что жена любит его глубоко и ее ревность доходит порой до ненависти, потому, вероятно, что он все еще стремился отдать себя дальше, много дальше того предела, куда она могла следовать за ним.

Однажды под деревом расположилась группа крестьян, и она увидела, как он быстро и весело кружит в танце с ребенком, — жена угрюмо наблюдала за ним.

Постепенно они с Джульеттой сблизилась через разделявшее их расстояние. Они ощущали присутствие друг друга. Утром она угадывала миг, когда он появлялся со своим ослом. А стоило ей выйти на балкон, как он в то же мгновение оборачивался, чтобы посмотреть на нее. Но они никогда не здоровались. Однако ей недоставало его, когда он не приходил работать на свой podere.

Однажды жарким утром она наткнулась на него, гуляя обнаженная в глубокой лощине между двумя участками, — склонив к земле могучие плечи, он собирал хворост и грузил его на застывшего в ожидании осла. Подняв разгоряченное лицо, он увидел ее — она пятилась назад. Пламя полыхнуло в его глазах, и по ее телу пробежало пламя, плавя кости. Но она беззвучно пятилась, пока не скрылась в кустах, удалившись в ту сторону, откуда пришла. С легким возмущением размышляла она о том, как тихо мог он работать, скрытый кустарником. Словно дикое животное.

С тех пор в теле каждого отчетливо жила боль осознания, хотя ни один из них не желал признаваться в этом и виду не подавал, что знает. Но жена крестьянина инстинктивно обо всем догадалась.

Джульетта же размышляла: отчего нельзя мне побыть час с этим человеком и родить от него ребенка? Отчего моя жизнь должна быть привязана к жизни мужчины? Отчего не встретиться с ним на час, на столько, сколько продлится желание, — и не больше? Между нами уже вспыхнула искра.

Но ни разу не подала она ни единого знака. И видела теперь, как он посмотрел вверх, сидя у белой тряпицы напротив одетой в черное жены, посмотрел вверх на Мориса. Его

сумрачная жена обернулась и тоже посмотрела вверх.

И Джульетта почувствовала, как ее охватила злость. Ей придется опять носить в себе ребенка Мориса. Она прочла это в глазах мужа. И поняла по его ответу, когда заговорила с ним.

— Ты тоже будешь ходить на солнце раздетый?— спросила она.

— Отчего ж... а... да! Да, пока я здесь, я б хотел... полагаю, посторонним сюда вход воспрещен?

Его глаза затеплились отчаянной смелостью желания, он смотрел, как вздымается под пеньюаром ее чуткая грудь. В этом смысле он тоже был мужчиной, он принимал вызов мира — его мужская смелость не была подавлена полностью. Он дерзнет ходить на солнце, даже если будет смешон.

Но он весь пропитался этим миром с его оковами и ублюдочной приниженностью. Помечен клеймом, которое не было знаком высокой пробы.

В этот миг, само совершенство, вся золотисто-розовая от солнца, но с сердцем, похожим на опавшую розу, она желала спуститься вниз, к горячему, застенчивому крестьянину и понести от него ребенка. Ее чувства поникли, как лепестки. Она видела, как играет кровь на его загорелом лице, видела пламя в синих, южных глазах, и в ответ в ней вспыхнул огонь. Он мог бы стать для нее плодотворным солнечным омовением, которого она жаждала.

Тем не менее ее следующий ребенок будет ребенком Мориса. Такова уж роковая цепь неизбежности.

Рубеж

Кэтрин Фаркуар и в сорок лет оставалась красивой и, хотя утратила былую стройность, привлекала пышной и зрелой женственностью. Носильщики-французы суетились вокруг нее, казалось, сами чемоданы этой дамы будят в них чувственность. К тому же Кэтрин одаряла их непомерно высокими

чаевыми. Во-первых, она никогда не знала цены деньгам, а во-вторых, панически боялась недоплатить, да еще услужливому мужчине.

И впрямь смешно смотреть, как эти французы — и не только носильщики — суеются вокруг нее, величают «мадам». Сколько чувственности в их обхождении! Ведь она немка, из бошей. За пятнадцать лет супружества с англичанином — вернее, с двумя англичанами — она в сути своей не изменилась. Как родилась дочерью немецкого барона, так ею и осталась, и душою и телом, хотя и обрела в Англии вторую родину. Да и по виду немка: свежее, моложавое лицо, крепко сбитая фигура. Впрочем, как и у большинства людей, в жилах ее текла не только немецкая кровь, были у нее в роду и русские, и французы. Она часто переезжала из страны в страну, и все вокруг уже изрядно приелось. Можно понять, почему так суетились парижане, ловили для нее такси, уступали место в омнибусе, предлагали меню в ресторане, подносили чемоданы — для них это почти плотское удовольствие. Кэтрин они очень забавляли. И что греха таить, парижане пришлись ей по душе. Угадывала она в них мужское начало, хотя и иное, нежели в англичанах. Завидит парижанин миловидное лицо, пышную фигуру, искорку беспомощности в глазах и самозабвенно бросается на помощь. Кэтрин отлично понимала, что с сухой и внешне суровой англичанкой или американкой французы не стали бы церемониться. И их отношение Кэтрин полностью разделяла: нарочитая самостоятельность претит любой женщине.

На Восточном вокзале французам, конечно, в каждом пассажире мерещился бош, и носильщики держались с показной, почти детской заносчивостью, впрочем, скорее по привычке. Однако Кэтрин Фаркуар проводили до самого ее места в первом классе — все с той же плотоядной готовностью. Как-никак мадам путешествует одна.

В Германию она ехала через Страсбург, в Баден-Бадене ее поджидала сестра. Филип, ее муж, тоже был в Германии — корреспондентом от своей газеты. Кэтрин порядком надоели газеты и их высосанные из пальца «корреспонден-

ции». Филип, правда, человек умный и по журналистским меркам незаурядный.

Она давно убедилась, что и весь ее круг составляли в основном люди незаурядные. С заурядными она не водилась никогда, а все Выдающиеся (да еще с большой буквы) давно и основательно вымерли. Да и нынешняя жизнь, насколько она знала, такова, что в ней нет места истинно выдающейся личности. Зато она кишмя кишит ничтожными заурядностями, да и незаурядных людей хватает. Видимо, думалось ей, так и должно быть.

Но иной раз закрадывались сомнения.

К примеру, Париж, его Лувр, Люксембургский сад, Нотр-Дам — все это для Выдающихся. Места эти так и зывали к великим духам прошлого. А «заурядные» и «незаурядные» людишки точно воробьи: дерутся из-за крох да пачкают дворцовый мрамор.

Париж воскрешал для Кэтрин ее первого мужа, Алана Анструтера, рыжеволосого воина-кельта, отца ее двоих ныне взрослых детей. Жила в Алане сверхъестественная убежденность, что обычные человеческие мерки не для него. И откуда она взялась, Кэтрин так и не разгадала. Сын шотландского баронета, капитан шотландских стрелков — возгордиться вроде бы не с чего. У Алана была привлекательная внешность, неистовые голубые глаза, ему шла форма, даже килт — юбка шотландского стрелка. Ничто, даже нагота не умаляла его мужественности, сухопарое тело дышало отвагой и властью. Не по нраву Кэтрин пришлась лишь его непоколебимая внутренняя уверенность в собственном превосходстве, своей избранности. Алан был умен и допускал, что генерал А. или полковник Б. по положению выше его. Но столкнись он с кем-нибудь из них, сразу на худом лице надменно выгибалась бровь и в почтительное приветствие вкрадывалась едва заметная презрительная нотка.

Сколь бы избранным Алан себя ни сознавал, добился он в делах житейских не очень многого. Неоспоримо одно: Кэтрин любила его, а он — ее. Правда, когда дело касалось их врожденной избранности, коса находила на камень. Ибо

очаровательная Кэтрин, подобно царствующей в улье пчеле, полагала, что только ей должны воздаваться самые высокие почести.

Неуступчивый и высокомерный, Алан ни словом не попрекал ее, лишь порой в его взгляде вспыхивали ярость, оторопь и негодование. Это оторопелое негодование было просто невыносимо. Да что, в конце концов, он о себе мнит?!

Суровый неглупый шотландец с философским складом ума, но обделенный чувствами. Обожаемого ею Ницше он презирал. Как стерпеть такое! Алан представлялся себе скалой, о которую разобьются все волны современного ему мира. Однако они не разбивались.

Тогда Алан всерьез занялся астрономией и стал разглядывать в телескоп другие миры, один дальше другого. Кажется, он нашел в этом успокоение.

Десять лет прожили они вместе, потом судьба разлучила их, хотя они по-прежнему страстно любили друг друга. Ни простить, ни уступить один другому не мог — мешала гордость, а связать свою жизнь с кем-либо со стороны тоже мешало высокомерию.

С университетской скамьи Алан водил знакомство с другим шотландцем — Филипом. Тот учился на адвоката, но занялся журналистикой и весьма преуспел. Невысокий брюнет, хитрый, умный, проницательный. Женщин в нем как раз и привлекали проницательный взгляд черных глаз да некая загадочность маленького смуглого шотландца. И еще одним замечательным свойством обладал он: словно любящий пес, умел одарить теплом и лаской. Причем в любую минуту, стоило лишь захотеть. Долгие годы Кэтрин относилась к нему весьма прохладно, даже чуть пренебрежительно, но потом подпала под чары темноглазого хитреца.

— Эх ты! — бросила она как-то Алану, разозлившись на его господское высокомерие. — Тебе даже невдомек, что женщина тоже живое существо! В этом тебе до Филипа далеко! Он неплохо разбирается в женской душе.

— Ха! Этот плюгавый... — И Алан наградил друга презрительно-непристойным эпитетом.

Однако знакомство их не угасло, в основном стараниями Филипа, он необычайно сильно любил Алана. А тот лишь равнодушно снисходил. Впрочем, он привык к Филипу, а привычка значила для него много.

— Алан поразительный мужчина!— делился Филип с Кэтрин.— Истинный мужчина, таких мне не доводилось встречать.

— Ну почему же?— удивилась Кэтрин.— А себя вы разве не считаете истинным мужчиной?

— Ну что вы, я совсем не такой. Я всегда уступаю, подчиняюсь — в этом моя сила. Могу увлечься, потерять голову, правда, до сих пор всякий раз удавалось ее вновь найти. Алан же,— голос у Филипа зазвучал почтительно и даже с завистью,— Алан же никогда не потеряет головы. Таких мужчин я больше не встречал.

— Если бы!— вздохнула Кэтрин.— Алана легко обвести вокруг пальца, сыграв на чем угодно, хотя бы на тщеславии.

— Нет, вам это полностью не удастся,— возразил Филип.— Его просто невозможно обмануть. Все, что для него в жизни имеет смысл, проверено им раз и навсегда. Проверено на истинность, понимаете? Весь он в этом — истинен до мозга костей и другим быть просто не может.

— Ну, вы его переоцениваете,— презрительно фыркнула Кэтрин.

Но когда позже в разговоре с мужем они коснулись Филипа и Алан лишь равнодушно пожал плечами, Кэтрин не стерпела:

— Плохой ты друг!

— Друг?— переспросил он.— Никогда не держал его за друга. Если он считает меня своим другом, так это его дело. Меня он решительно никогда не интересовал и не интересуется. Он совсем другой человек, меж нами рубеж.

— Тогда не позволяй ему считать себя твоим другом. Не позволяй преклоняться перед тобой, скажи прямо, что тебе это не по душе.

— Говорил не раз. Его это лишь умиляет. По-моему,

он и не представляет наших отношений по-иному.

И Алан вернулся к своему телескопу.

Пришла война, а с ней и разлука с Аланом, его полк отправляли во Францию.

— Ну вот, теперь тебе расплачиваться за то, что вышла замуж за солдата. Еду сражаться с твоими соотечественниками. Вот как обернулось.

Она даже не заплакала — так больно ударили его слова.

— До свидания! — Он нежно и крепко поцеловал ее в губы. Как-никак, прощался со своей женой.

Обернулся: во взгляде — и нежность и забота мужа о любимой женщине. А еще читалось в голубых глазах смирение перед судьбой. И от этого взгляда вскинулась душа Кэтрин. Переменить бы все! Переменить бы прошлое, весь ход истории, чтобы отвратить эту ужасную войну! В потайном уголке души еще теплилась надежда: ее всеильная любовь и воля способны пустить историю по другому руслу, даже вспять.

Но в привычно-ласковом мужнином поцелуе, в его объятиях, во взгляде угадала она отрешенность и смирение и поняла, что ее надеждам не сбыться. Что вся сила, вся власть ее материнского и женского сердца — ничто перед неодолимым течением человеческой судьбы. Правильно говорил Алан: лишь мужской холодный и сильный разум, приемля неодолимые невзгоды, способен угадать течение судьбы, которое принесет его к спасительным берегам. Но сперва нужно выдержать эту долгую череду невзгод.

На мгновенье дрогнула ее воля, отчаялась душа. Но вот Алана уже нет. И сразу в глубине ее существа возродились прежние уверенность и сила.

Немалым утешением стал для нее Филип. Он проклинал войну и все, что ее породило, считал, что человечество должно признать ее величайшей и позорнейшей ошибкой.

Кэтрин, однако, чуяла немецким своим нутром, что это не ошибка. Война явилась как неизбежность, даже как необходимость. Но любовь Филипа несказанно успокаива-

ла, и мало-помалу Кэтрин приходила в себя.

Алан не вернулся. Весной 1915 года он пропал без вести. Кэтрин не горевала по нему. И представляла его не иначе как живым. Она даже ликовала. Еще бы: теперь пчелка-царица расправит крылья, ей покорится весь мир, ей — Женщине, Матери, Кормилице с хлебным колосом в руке, а не Мужчине с мечом.

Филип всю войну прошел журналистом, отстаивая гуманность, истину и мир. И безмерно утешая Кэтрин. В 1921 году она вышла за него замуж.

Хоть и отмерен уготованный нам жребий — осталось лишь отрезать по этой мерке, — иной раз промедлит десница судьбы, будто кто ответит ее.

Поначалу новое замужество радовало Кэтрин, успокаивало душу, услаждало плоть — могла ль она желать лучшего в тридцать восемь лет? Он и ласкал, и утешал, и предугадывал любое ее желание.

Потом Кэтрин стала замечать в себе необъяснимые и все более пугающие перемены. Она сделалась неуверенной и нерешительной, словно заболела. Жизнь казалась все скучнее и фальшивее, такого чувства она раньше не испытывала. Она даже не сопротивлялась и не страдала. Тело омертвело, не внимало окружающему. Жизнь обернулась мерзостной трясиной.

Порой тоска отступала, и Кэтрин, как и прежде, радовалась жизни. Но вскоре вновь накатывала мутная волна, и Кэтрин задыхалась, чувствуя себя ничтожной и жалкой. Но почему, почему виделось ей в этих переменах собственное ничтожество? Конечно, сознание это жило лишь в самом сокровенном уголке души и никоим образом не было заметно со стороны.

Вновь ей стал вспоминаться Алан, его неумолимый и жесткий нрав, но теперь, не давая воли сердцу, Кэтрин вспоминала о первом муже без злобы и враждебности. К памяти о нем прибавилось даже некоторое благоговение. Кэтрин противилась этому. Благоговеть она не привыкла.

Как по-разному складывалась ее жизнь с мужьями: первый — неутомимый борец, прирожденный воин, всю жизнь с обнаженным мечом; второй — хитроумный миротворец, верткий и умный суеслов, пытающийся уравнять веса справедливости.

Филип был умнее ее. Он возвысил Кэтрин, пчелку-царицу, Мать, Женщину, ее суждения, хитроумно подлачился под нее, вверил ей вершить справедливый суд. Но, крепко завязав ей глаза, выносил все решения сам.

Кэтрин смутно догадывалась об этом. Но лишь догадывалась, ибо, стараниями Филипа, не могла убедиться воочию. Он, словно фавн, исподволь завораживал ее взор, заволакивал его пеленой.

Порой она задыхалась: не хватало воздуха, простора. И перед глазами появлялось угловатое, жесткое и властное, но такое бесхитрое лицо Алана, и на душе делалось легко, как в былые годы; сладострастная душная пелена спадала, мерзостная трясина отпускала, и душа воспаряла, радуясь бескрайней небесной стихии. Даже споря с нею.

Именно такое чувство нахлынуло на нее на борту парохода, пересекавшего Ла-Манш. Будто рядом Алан, а Филипа вообще не было. Будто Филип всего лишь портняжка, снимавший с нее мерку в ателье. Тогда-то, во время своего одинокого путешествия из Англии во Францию по холодному, неприветливому проливу, и утвердилось в ней это чувство: Филипа никогда не было, а муж у нее один — Алан. Муж и по сей день. И едет она к нему.

Потому она и блаженствовала в Париже, потому и благоволили к ней французы: приятно видеть женщину, очарованную мужчиной, грезящую им наяву. Какие бы ни складывались отношения между народами, главное — отношения между мужчиной и женщиной.

Сейчас поезд вез Кэтрин на восток. На душе неспокойно: и тревожно, и радостно.словно в былые дни, когда она навещала в Германии родной дом. Нет, в былые дни, но не в те, а когда она возвращалась к Алану.

Всякий раз, когда она ехала к нему, ей казалось, что поезд несет ее словно на крыльях, какие бы чувства к мужу она в тот момент ни питала. Даже наверняка знала, что Алан обойдется с ней грубо и жестоко, растопчет ее любовь, но все равно летела на крыльях.

А к Филипу она ехала всегда с необъяснимой неохотой, как к чужому. Впрочем, лучше вообще о нем не вспоминать.

Задумавшись, она смотрела в вагонное окно, не замечая холодного зимнего пейзажа. Вдруг словно кто толкнул ее, и она прозрела. Серая равнина, пашня, земля на полях, что прах погибших, тонкие, голые, окоченевшие деревья, точно проволочное ограждение по обочинам уводящих в небытие дорог. Среди деревьев проглянул разрушенный дом, потом разоренная деревня: остовы домов, как гнилые зубы, на ровной, прямой улице.

Внезапно ее пронзил ужас — наверное, поезд проезжает долину Марны, страшное место. На берегах этой реки и окрест из века в век складывают головы люди в бесславных боях. Рубеж, на котором и по сей день истребляют друг друга народы романских и германских кровей.

Может, в этой пепельно-серой земле покоится и ее муж.

Невыносимо! Лицо у нее посерело от ужаса. Бежать бы отсюда без оглядки.

«Знай я, что поедем этой дорогой,— подумала она,— выбрала бы кружной путь через Базель».

Поезд сделал остановку в Суассоне, от одного названия по спине поползли мурашки. Нужно взять себя в руки и ни на что не обращать внимания. Завтрак подоспел как избавление. В вагоне-ресторане она села напротив невысокого французского офицера в небесно-голубой форме. Он менее всего походил на военного. Простодушное, милое, почти детское лицо, невинный взгляд — его сохраняют под маской так называемой порочности многие французы. В его обществе Кэтрин стало много легче. Его бутылка красного вина съехала по тряскому столу на ее полови-

ну, и она переставила ее — офицер застенчиво поблагодарил поклоном. Какой милый! Найдись женщина, которой понравился бы такой мужчина, и он с готовностью отдал бы ей всего себя.

Однако ее самое сейчас все это не волновало. Мужчины, женщины, кто-то любит, кто-то любим.

После завтрака, разморенная жарой в вагоне и белым вином — выпила в ресторанчике полбутылки,— Кэтрин заснула, хотя ноги ей припекало: из-под железной решетки на полу веяло жаром. И в полудреме ей представилось, что вся минувшая жизнь — это мираж, обман. И солнце в небе ненастоящее, словно огромный глаз прожектора, над которым курится дымок, оно освещает какие-то ненастоящие кусты и деревья, освещает так ярко, что ночь кажется солнечным днем. Все призрачно, и вся ее жизнь под этим ярким, но фальшивым солнцем — точно роскошный бал, призрачный сон. И все ее чувства, и любовь, и страх, что ее можно потерять,— все мираж. А как же боялась она, что, пока идет война, потеряет любовь: больше не полюбит сама и никто не полюбит ее. И вот теперь даже страх этот кажется пустым и надуманным.

За Филипа она уцепилась, как утопающий за соломинку. И вот сейчас оказывается, что и страх, и ее спасение — все мираж.

Что же тогда явь? Если любовь, самое сильное начало в ее душе,— лишь самообман, что же тогда истинно? Бесплотные тени умерших?

За окном стемнело. Поезд миновал Нанси. Она бывала в этих краях еще девочкой. В половине восьмого Кэтрин приехала в Страсбург, здесь придется заночевать, поезд в Германию — только утром.

Русоволосый крепыш носильщик заговорил с ней на эльзасском диалекте. Он вызвался проводить Кэтрин до гостиницы, конечно немецкой, и не отставал ни на шаг, охраняя добросовестно и со знанием дела, будто приставлен к ней часовым. Как это не похоже на французов!

Вечер выдался холодный и ненастный, однако, поужи-

нав, Кэтрин решила сходить в собор. Он запомнился ей еще с той призрачной жизни.

По улицам гулял студеный, колючий ветер. Город словно вымер, и исчезло его обаяние. Редкие коренастые пешеходы разговаривали на гортанном эльзасском диалекте. Вывески магазинов почти все французские, но на многих снисходительный перевод на немецкий внизу. Витрины буквально ломятся от товаров с некогда немецких фабрик Мультхаузена и окрестных городов.

По мосту она перешла через реку, едва различимую в ночной мгле. Вдоль берега на мостках стоят будки прачек, даже сейчас, в тусклом свете электрических фонарей, видно, как несколько женщин наклонились над темной водой и полощут белье. Кэтрин вышла на просторную площадь, и сразу рванул леденящий ветер, на площади ни души. Город покорился, на этот раз стихии.

А вдруг она забыла, как пройти к собору? Вон застыл француз полицейский в голубой пелерине и высокой фуражке, сиротливо и неприкаянно, в этом грубом эльзасском городе его французский лоск нелеп, точно шелковая заплатка на толстом сукне. Она подошла и спросила по-французски, далеко ли собор. Полицейский указал ей первый поворот налево. Кэтрин не заметила в нем враждебности, лишь томление: оттого что зима, оттого что это чужой город, оттого что рядом извечный рубеж.

Французам всегда присуще чувственное томление, в неотесанных эльзассах такого не сыскать.

Ей вспомнилась узенькая улочка, нависшие над тротуаром дома, почерневшие крыши, высокие фронтоны. И вдруг из черной глубины, словно наваждение, надвигается черная с пурпуром, подавляющая своим величием громада собора, взирающего с высоты на ничтожных суетных горожан. Построен собор из темно-красного камня, и по ночам кажется, будто сотворен он из плоти и крови. Огромное, необычайно высокое здание проступило перед Кэтрин в ночи. Где-то в вышине, точно грудь великана, виднеется круглое окно-розетка, еще выше, теряясь в

небесах, взметнулись венчающие собор каменные шпили.

Стоит собор, грозно нацелившись в свинцовое зимнее небо. Помнится, в детстве душа Кэтрин так и рвалась вслед за устремленными ввысь шпилями. А сейчас багрово-пурпурный, точно окровавленный, Великан выглянул из-за туч и замер — вот-вот шагнет и спокойно, неумолимо раздавит.

Душа Кэтрин преисполнилась безотчетного первобытного страха перед таинственной демонической силой. Какой необычный собор — ровно языческий храм. Огромное каменнозубое чудище, в жилах которого древняя бунтарская кровь, замерло, готовясь к наступлению на серых, как прах, людишек. Смутная догадка забрезжила в сознании Кэтрин: за скорбным пеплом, за желто-зеленой ядовитой пеленой нашей цивилизации издревле следит напоенное мертвой кровью чудище, дожидаясь своего часа, чтобы сокрушить нашу хрупкую чистую жизнь; и тогда вновь закипит кровь у него в жилах, воспрянут былая гордость и сила.

Даже с земли страшен кровавый великан, затмевающий бога, которому призван служить.

Словно кто вдруг скатал черный свиток ночного неба, и отчетливо проступили контуры страшного чудища, изготовившегося к нападению.

Двери собора и слева и справа заперты. Кэтрин собралась уже уходить, но, повернувшись, заметила на мостовой мужчину, он стоял невдалеке от почты, такой неуместной на соборной площади. Кэтрин мгновенно узнала темную неподвижную фигуру — Алан! Он стоял одиноко и отрешенно.

И в ее сторону не сделал ни шагу. Кэтрин замерла в нерешительности, потом пошла ему навстречу, будто бы к почте. Вот он совсем близко и все так же стоит не шелохнувшись. Кэтрин поравнялась с ним, сердце у нее замерло, и тут он обернулся и в упор, чуть сверху, взглянул на нее.

Да, это Алан, хотя в пурпурно-черных тенях лица почти не различить.

— Алан!— прошептала она.

Он не ответил, лишь властно положил ей руку на плечо, бессловесно и повелительно, как в далекие времена их супружества. От легкого прикосновения она послушно повернулась, и они неспешно пошли по главной улице мимо галереи еще освещенных магазинов.

Кэтрин взглянула в его лицо: оно потемнело, приобрело пурпурный оттенок, таким она никогда его не видела. Вроде и чужой, и все ж таки он, только он не проронил ни слова. Что ж, и это в его привычке. Губы плотно сжаты, глаза внимательны, но бесстрастны. Ночь окутала его молчанием, хоть и непроницаемым, но не холодно-равнодушным. Скорее горделиво-отчужденным и трепетным, которое окружает диких зверей.

Кэтрин сознавала, что идет рядом с привидением. Но нимало не боялась. Будто все это в порядке вещей. Напротив, к ней даже вернулось давнее полузабытое ощущение покоя и блаженства женщины, согретой любовью мужчины, которому она всецело принадлежит. В молодости, замужем за Аланом, она изведала эту тихую, но бесценную радость, истинное блаженство. Но именно из-за ее бесценности Кэтрин и не смогла оценить ее по достоинству. Потом, как ей сейчас думалось, она почти сознательно лишила себя этой радости, этого покойного и раздольного, как река, блаженства, которое приносил ей, женщине, муж.

Прошли годы, и лишь теперь она поняла это. Поняла здесь, на улице чужого города, чувствуя рядом Алана; поняла, что для счастья женщине довольно и того покойного блаженства, которое дарит ей самый близкий мужчина, ее муж. И в этом предназначение женщины, ее высшее исполнение.

Лишь с годами поняла она это. А как терзала она себя, противясь чувству поначалу! Зачем? Сейчас она не могла бы ответить. Разве важно, чем занимается

мужчина или каков он по характеру, главное — плыть вместе с ним по покойной и раздольной реке блаженства, большего от него и ждать нельзя. Но этого ей показалось мало, и, желая невозможного, она унижала себя, разрушала свою душу.

Теперь Кэтрин все поняла и приняла со смирением. Она шла рядом с мужчиной, вернувшимся к ней из небытия, чтобы утешить ее. Она чувствовала, как он, хотя и молча, страдает ей, и благодаря ему пепельно-серый, трепетный страх перед реальной жизнью покидает ее. Она шла рядом с ним спокойно и с легким сердцем, будто избавившись от пут. У моста он остановился, снял руку с ее плеча. Она поняла: сейчас он уйдет. Он взглянул на нее из-под козырька фуражки загадочно, но ласково, помахал рукой. Слово и прощался, и обещал больше не покидать, не оставлять ее без своей любви и ласки, неизбывных в его сердце.

Она со слезами на глазах взбежала на мост и поспешила в гостиницу. Торопливо поднялась к себе в комнату, разделась, стараясь не смотреть в зеркало. Увидев свое лицо, она может потерять волшебное видение.

Расставшись с ним, она поняла, что как зеницу ока должна хранить эту окутавшую ее тайну. Она знала, что муж восстал, знала, сколь желанно его явление и сколь оно зыбко. Он вернулся, его привело безутешное любящее сердце, она желанна ему и поныне. И перечить ему нельзя ни в чем. Она вновь почуяла его дух, его ласку, силу, молчаливую сдержанность. Сомнений нет — это он. Нельзя думать о нем, как думаешь об обычном человеке, стараясь все понять и уяснить. Не разумом, а самой сокровенной частичкой души должна она ведать, что он жив в ней. Не нужно вглядываться ему в лицо, искать его подле себя. А стоит выказать чрезмерную притязательность, протянуть руку, дотронуться, и видение исчезнет навсегда, схлынет бесценный раздольный покой, вновь умиривший женскую душу.

«Ну нет! — решила она. — Если покой этот пребудет

во мне и впредь, большего и просить нельзя!»

А как докучала она ему прежде просьбами, расспросами, требовала объяснений! Много ли дали ей те объяснения? Слова обратились в прах.

Но ныне она познала иной, ни с чем не сравнимый страх — страх перед пепельно-серой, лишенной чувств жизнью. И если смерть вернула мужа ей во избавление, она, Кэтрин, не станет докучать ему вопросами, а смиренно и с благодарностью, которую не выразить никакими словами, примет его.

Утром Кэтрин вышла на улицу. Ледяной ветер гнал по небу тучи. Может, Алан ждет ее на прежнем месте? Хотя после вчерашней встречи она еще не успела стосковаться по нему — он жил у нее в душе. Но, как знать, может, он ждет.

Каменный, холодный город, серые, продрогшие люди, на них запечатлелась обреченность. Как далеки они от нее! Кэтрин стало жаль их, но что поделать, она не властна над временем и вечностью. А люди, взглянув на нее, отводили глаза, словно им было неловко за себя.

Под холодным зимним солнцем темно-багровый вздыбившийся собор уже не давил и не страшил своей громадой, как ночью. Площадь холодная и чужая. В соборе, несмотря на разноцветные блики от витражей, было тоже холодно и неуютно. Алана нигде не видно.

Кэтрин поспешила обратно в гостиницу, она хотела успеть к поезду 10.30 в Германию.

За Рейн отправлялись лишь немногие неприкаянные, и в поезде Кэтрин стало тоскливо и одиноко. Носильщик-эльзасец все с той же собачьей преданностью проводил ее. В вагоне первого класса, который шел дальше, до Праги, она ехала одна. На глаза ей попался носильщик-француз с усами, в широкой блузе, с небрежно-горделивой походкой. Желая подбодрить ее, он сказал что-то шутовское, используя весь небогатый запас немецких слов. Но под взглядом Кэтрин осекся — он не хотел дерзить. Даже в этом виделась ей какая-то безысходность.

Медленно и уныло отходил поезд от города. Вон вдали зловещий согбенный собор-великан, его шпиль, точно перст, воздет высоко над городом. Ну почему именно таким построили его встарь немцы?!

Пейзаж за окном постепенно менялся: равнины, болота, каналы, плакучие ивы, почти сухие обледенелые шлюзы. Природа вокруг будто истомилась. Великий старец Рейн несет свои зеленые полные воды, неумолимым рубежом разделяя народы, томимые войной, но они не в силах вырваться из ее цепкой удавьей хватки. Холодное зеленое полноводье под железным мостом сливалось с холодным серым небом и невыразимо угнетало.

В Киле поезд надолго задержался. Французские и немецкие чиновники подчеркнуто официально соблюдали нейтралитет, от которого мурашки бежали по спине. Деловито проверили паспорта, провели таможенный досмотр. Но поезд все стоял, словно выбирая, в какую сторону двинуться,— притяжение обеих сторон в этой точке уравнивалось, ни один народ не довлел здесь над другим, ни одно мировоззрение не главенствовало.

Кэтрин Фаркуар это не волновало, она пребывала во власти вчерашней молчаливой встречи. Она не слышала, как к ней обращались по-французски, по-немецки, лишь что-то механически отвечала на том или ином языке. Паровоз со свистом пускал пары, ему не терпелось перевалить этот новый рубеж, миновать нейтральную полосу за Рейном.

Из-за серых облаков наконец выглянуло тусклое солнце, поезд бесшумно, но неровно повез Кэтрин прочь от нейтральной полосы. В пойме Рейна подернулись льдом лужи, оставшиеся после паводка. Прямые борозды пашни уводили в бесконечность, казалось, заледенел сам воздух, однако земле все нипочем: затаив свою первозданную неукротимую силу, она дышала глубоко и мерно, и каждый вздох рвал стылый воздух, налетал мощным порывом, словно из глубин вечности.

Правобережье Рейна в этих местах тоже было занято

французами, отсюда и непривычное безлюдье, словно и не жил здесь никто, лишь напряженная тишина, витающая над аккуратно вспаханнами бескрайними полями в предвосхищении неотвратимой беды.

Поезд долго стоял в Аппенвайере, важном железнодорожном узле за Рейном. На станции ни души. Кэтрин помнила, какая суета царила здесь до войны.

— И зачем нас так торопили в Страсбурге, раз держат здесь бог знает сколько! — пожаловался проводник-немец начальнику станции.

Жесткий баварский выговор! Как претит немцам подневольное смирение! Про себя Кэтрин улыбнулась: ясно, значит, оккупированная зона позади.

Наконец поезд тронулся и пошел на север. Кончились прирейнские равнины, потянулись хвойные леса. Непокоренная сильная земля, дикарскими космами сплелись деревья и кусты. И все та же напряженная тишина, все то же — из глубины вечности — могучее дыхание под коростой умирающей цивилизации. Она еще тоненько, пискляво напоминала о себе, но ее перекрывал зычный голос сосновых лесов, дальнего северного края. Кэтрин сердцем слышала эту разноголосицу.

Мимо окон проплывали насупившиеся холмы Чернолесья, они сурово вздыбились, словно охраняя внутренние покои Германии. Черные крутобокие склоны поросли дремучим лесом, лишь изредка мелькнет снежно-белой прогалиной поле. Как близко застыли в своем черно-белом наряде суровые холмы-часовые!

Кэтрин хорошо знала эти места. Но такими их еще не видела: безлюдные, угрюмые, скованные невыносимым молчанием.

А вот и Штайнбах! От него рукой подать до Ооса, там она переседет в поезд до Баден-Бадена, куда она и держит путь. Может, уже в Оосе ее встретит Филип. Правда, ему специально придется ехать из Гейдельберга.

Да, так и есть, встречает! Ей сразу подумалось, что он нездоров, пожелтел лицом, осунулся, понурился.

— Ты болен?— спросила она, выйдя на безлюдную платформу.

— Страшно замерз,— ответил он.— И никак не согреться.

— А в поезде такая жара.

Подошел носильщик, подхватил чемоданы и понес к уже ожидавшему маленькому составу на Баден-Баден.

— Как у тебя дела?— спросил он, в глазах у него застыло страдание и страх.

— Прекрасно! Германия такая непривычная.

— Не знаю, какова Германия на самом деле, только она мне всю душу выморозила и на сердце давит.

— Ну, долго мы гостить не будем,— беззаботно сказала Кэтрин.

Он не сводил глаз с ее просветленного лица. А она смотрела на него и думала, что непривычно видеть его больным. Невероятно! Внезапно ей открылось — точно озарило,— насколько унижительно быть женой этого человека, носить его имя. Унижительно даже произносить фамилию Фаркуар, свою и мужнину фамилию, а когда-то она ей нравилась. Подумать только! Я — жена этого недомерка!— негодовала она. Ношу его фамилию! Она явно не подходит. То ли дело ее девичья фамилия: фон Тоднау; или фамилия первого мужа: Анструтер. Первая — самая подходящая, вторая слилась воедино с душой, а третья — Фаркуар — совсем чужая.

На вокзале ее ждала сестра Марианна. Через минуту они уже щебетали по-немецки, смеялись, плакали, снова заливались смехом, напрочь забыв о Филипе. В те дни война еще напоминала о себе — не было такси,— носильщик на тележке отвез багаж в гостиницу, а сами они пошли пешком по пустынным улицам.

— А что, твой гномик милый,— снисходительно похвалила Марианна.

— Ну, еще бы!— в тон ей ответила Кэтрин, и, остановившись посреди улицы, сестры расхохотались.

«Гномиком» Марианна прозвала Филипа.

— Все-таки твой первый больше на мужчину похо-

дил,— продолжала сестра.— Но с этим тебе, должно быть, легче. С гномиком-то куда легче!— И она снова залилась обидным смехом.

— Да он у меня неваляшка!— усмехнулась Кэтрин, уподобив мужа кукле со свинцом в ногах: как ни вали — все стоит.

Филипу было очень тоскливо. Он привык являть свою силу в слабости, умело разжалобить женщину, прилепиться к ней. На деле же он хитростью всегда поворачивал по-своему, хотя делал вид, что уступает. Когда налетали житейские бури, он смиренно склонял голову или падал ниц, как того требовали обстоятельства, и переживал. Потом поднимался и вновь становился чутким и нежным, кротким, как ангел, покоряясь всем и вся. А непокорные сложили голову в войну. Филип убедился в этом воочию и самодовольно усмехался про себя. Когда убивают льва, добыча достается собаке. Так и ему досталась Кэтрин, львица Алана. Живая собака лучше мертвого льва. И маленький журналист-ангелочек упивался победой своей слабости.

Но в послевоенной Германии, похожей на кошмарный сон, он чувствовал себя не в своей тарелке. Кругом холод, пустота, онемелая бесчувственность, точно дочерна обмороженная рука, которую не оживить. А жизнь без чувств для Филипа страшнее смерти.

— Я ужасно рад, Кэтти, что ты приехала,— сказал он Кэтрин.— Ни одного бы дня больше без тебя не продержался. Ты — единственно живая в этом омертвевшем мире.

— А ты для меня словно бесплотная тень.

— Конечно, тень! Я и впрямь тень, когда один. Зато с тобой я оживаю, чувствую себя настоящим мужчиной. Поверь мне!

Да, именно такие признания некогда и очаровали ее, задев самые тонкие струнки женского самолюбия. И она влюбилась в этого человека, великодушно признающего в женщине такие лестные ей черты. Как не похож был он на

царственного Алана, ожидавшего от женщин покорности и смирения!

Мало-помалу холод омертвелой Германии стал пробираться и в душу Кэтрин. И ей стал гадок этот маленький скулящий зверек, оживающий лишь подле женщины. Она ничего не ответила Филипу, засмотревшись на падающий снег, он стеной отгораживал от нее черные деревья. То был иной мир. Но вот снег перестал падать, и отчетливо проступили силуэты высоких, враждебно оцетинившихся заснеженных елей — точно привидения в белых балахонах.

Филипа бил озноб, он пожелтел еще больше. В Германии было плохо с продуктами, с горючим — вообще со всем было плохо. Ему хотелось, чтобы Кэтрин поехала с ним в Париж, однако она решила погостить у родных недели две, не меньше. Бытовые неудобства ее не смущают. Вечером у темного курзала — город освещался лишь наполовину — она увидела смиренно стоявших в очереди горожан — точно цепочка безмолвных призрачных теней. Они стояли с бутылками за горячей водой из источника: растопить плиту, вскипятить воду им было не по карману. Филипа бил озноб, но Кэтрин это совсем не трогало. Озноб так озноб.

Под ногами сухо хрустел снег, Кэтрин решила прогуляться по крутым лесистым склонам. Удивительно! Будто она одна во всем мире и природа заново обрела первозданность. Кэтрин вдруг отчетливо поняла: погибни все человечество — природа быстро вернется к своему первозданному состоянию. Рядом, отступаясь, едва не падая, ковылял Филип. Лицо у него еще больше осунулось и пожелтело. До чего ж он смешон! Нет, он не из тех мужчин, кто шагает твердо и решительно. Вот и вовсе шлепнулся в снег. А меж деревьями она чуяла Алана, его дыхание, биение его сердца. Она пристально всмотрелась в большую разлапистую ель, такую зеленую, живую, могучую, и у нее самой зашло сердце. В каждом величавом, могучем дереве виделся ей Алан. Подойти бы, прижаться бы к могучему стволу всем телом! Но неподалеку, сидя на снегу, канючил Филип:

— Кэтти, я не могу больше идти, сил нет совсем!

Ни слова не говоря, она застыла на тропе, горделиво и презрительно отвернувшись от него. Неподалеку из-под снега выглядывали тускло-бурые валуны. Конечно же, Алан там, он ждет ее меж валунов, она знала точно. Ее властно и неудержимо тянуло туда. Однако она повела вконец раскисшего Филипа домой.

Ему и впрямь было худо. Кэтрин уложила его в постель, и он с готовностью покорился. Вызвали врача. На Филипа вдруг накатил панический страх, его пугало буквально все. Кэтрин ходила на прогулки в лес одна. Она ждала Алана и с трепетом думала о встрече. А Филип дома метался в бреду и всякий раз, когда она возвращалась, смотрел на нее большими, блестящими от жара глазами и говорил, топорща верхнюю губу, будто норовя зарычать:

— Как далеко от меня ты была!

— Разве это далеко?— откликнулась она.

Наконец она дождалась Алана, он вышел к ней из-за бурых валунов. На нем был килт, подчеркивающий его мужественную фигуру, и рубашка цвета хаки. Он вышел с непокрытой головой и направился к Кэтрин. Она сразу признала его походку: при каждом шаге взметывался коленями килт. Он шел как победитель во всем своем великолепии, и она, трепеща, ждала. Как обычно, он не проронил ни слова, обнял ее и увлек за собой; она безмолвно покорилась — такого она за собой не знала.

Словно зачарованная вернулась она домой. Увидела, что Филип занемог не на шутку. Неужели умрет? Впрочем, не все ли ей равно? Она принялась ухаживать за ним, не отходила от постели всю ночь. К утру ему, похоже, полегчало.

А днем после обеда ее снова потянуло в лес. Ей *непреренно* нужно там быть! Ее ждет муж, повелитель, может ли она послушаться? Ей непременно нужно идти. Филип, увидев, что она оставляет его, ударился в истерику:

— Вот увидишь, я умру без тебя! Вот увидишь, умру, если уйдешь!— и так закатил глаза, что ей подумалось: и вправду умрет. Она осталась дома, угрюмая, исполненная

презрения, хотя душа была там, среди валунов.

К вечеру сильно похолодало. Филипу никак не удалось согреться под большой периной.

— Ну и холодина! Умереть можно! — причитал он.

Ну и умри, равнодушно подумала она. Сидя подле больного, она полностью отрешилась от всего, что ее окружало, и была сейчас далеко-далеко в лесу, под морозным небом. Словно могучий поток нес ее к иной жизни. Вон Алан, он машет ей, вот он рядом, обнимает ее. И с каждым часом сильнее и сильнее ощущала она его. Обычно она спала с Филипом в одной комнате, но в ту ночь решила вовсе не ложиться. Филип совсем ослаб. Придется сидеть подле него до утра.

— Кэтрин, я не вынесу этого! — взмолился он и закатил глаза так, что остались видны лишь белки.

— Чего ты не вынесешь? — наклонилась над ним Кэтрин.

— Я не вынесу этого! Не вынесу! Обними меня! Обними! — прошептал он, страшась надвигающейся смерти.

Она с неохотой приподняла его за плечи, обняла. И в это мгновение распахнулась дверь и вошел Алан. Голова не покрыта, лицо сурово. Филип трясущимися руками обвил шею Кэтрин и тихо застонал. С непокрытой головой, в безмолвии Алан подошел к постели, разъял руки Филипа и сложил их у него на груди. У Филипа вздернулась в предсмертном оскале верхняя губа. Кэтрин почувствовала, как дрогнуло и обмякло его тело у нее на руках.

Вещи

Они были, что называется, люди с идеалами, оба — выходцы из Новой Англии. Оговоримся: мы начинаем издалека, с довоенного времени. За несколько лет до войны они встретились и поженились; он — молодой человек из Коннектикута, высокий, с острым взглядом, и она — маленькая девушка из Массачусетса, с пуританской строгостью в об-

лике и манерах. У обоих имелись деньги. Правда, небольшие. Даже если сложить вместе, получалось неполных три тысячи в год. Но все же они давали свободу. Свободу!

Ах, свобода! Свобода распоряжаться жизнью по-своему! Молодость; двадцать пять и двадцать семь лет, с возвышенными идеалами, с общей любовью к прекрасному, тяготением к «индийской философии» — разумея под этим, увы, теософию миссис Безант* — и с доходом почти в три тысячи годовых! А впрочем, что такое деньги? Жить полной и прекрасной жизнью — вот предел желаний. В Европе, разумеется, у самой колыбели культуры. Можно бы, пожалуй, и в Америке — той же Новой Англии, предположим. Однако с определенными издержками в части «прекрасного». Истинно прекрасное созревает за века. Барокко стоит лишь на полпути к истинной, зрелой красоте. Нет, подлинная красота, серебристое ее цветение, золотой медвяный букет восходят к Возрождению, а не к более поздним временам, когда вкусы измельчали.

А потому сразу же после свадьбы в Нью-Хейвене чета идеалистов села на пароход и отправилась в Париж — Париж, где все дышит стариной. Сняли ателье на бульваре Монпарнас и зажили как настоящие парижане, но не в нынешнем, пошлом смысле слова, а в прежнем, полном очарования. Мерцающий мир чистых импрессионистов, Моне и его последователей; мир, зримый в категориях чистого света, тонов и полутонов! Какая прелесть! Прелесть ночей у реки, утренние часы на старых улицах, возле цветочных лотков и книжных киосков; слепополуденные прогулки по Монмартру или Тюильри, вечера на бульварах!

Оба занимались живописью, однако не слишком рьяно. Искусство не захватило их безраздельно, и они не пытались безраздельно отдаться Искусству. Писали понемногу, и только. Обзаводились знакомыми — по возможности своего круга, хотя приходилось мириться и с исключениями. И были счастливы.

Но, по-видимому, человеку в жизни необходимо за что-то

* Анни Безант (1847—1933) — английская теософка.

уцепиться. «Быть свободным», «жить полной и прекрасной жизнью» невозможно, увы, если не прилепиться к чему-нибудь. «Полная и прекрасная жизнь» немыслима без прочной привязанности к чему-то основательному — во всяком случае, если говорить о людях с идеалами, — иначе наступает скука, происходит некое качание незакрепленных нитей в воздухе: так раскачиваются жадные усики лозы, тянутся, поворачиваются, ища, за что бы уцепиться, по чему бы вскарабкаться выше, к животворящему солнцу. Не найдя ничего, лоза, достойная называться лозой только наполовину, способна лишь влачиться по земле. В этом и заключается свобода — в том, чтобы ухватиться за нужный колышек. А каждый человек — лоза. В особенности человек возвышенный. Он — лоза, и его потребность — цепляться и карабкаться вверх. И того, чья участь — быть ничтожной *картофелиной*, репой, деревянной чуркой, он презирает.

Наши идеалисты были страшно счастливы, но при этом постоянно нащупывали, к чему бы прикрепиться. На первых порах им хватало Парижа. Они обследовали Париж вдоль и поперек. И учили французский, пока не заговорили на нем так бойко, что стали ощущать себя заправскими французами.

Но все же, знаете, на французском языке по душам не поговоришь. Не получится. И хоть вначале куда как занимательно потолковать по-французски с разумным французом — а впечатление всегда такое, что француз намного тебя разумней, — от этого в конечном счете все-таки остается чувство неудовлетворенности. От бесконечно рассудочного *материализма* французов веет холодом, в конце концов ты ощущаешь за ним пустоту, выхолощенность, чуждую исконному духу Новой Англии. Так решила для себя чета идеалистов.

Они отвратили свои взоры от Франции — и с каким нежным сожалением! Франция не оправдала их надежд!

— Было чудно, Париж так много нам дал! Но со временем — а время прошло немалое, шутка сказать, несколько

лет — он расхолаживает. Это все же не совсем то, что надо.

— Но ведь Париж еще не Франция.

— Да, пожалуй. Франция и Париж далеко не одно и то же. Франция — прелесть, совершенная прелесть. Но *нам*, хотя мы и любим ее, она мало что говорит.

Поэтому, когда началась война, наши идеалисты подались в Италию. И влюбились в нее! Италия им казалась прекрасной и трогала душу сильнее, чем Франция. Она куда ближе подходила к новоанглийским представлениям о красоте как о чем-то девственно чистом, полном человеческого тепла, лишенном французского материализма и цинизма. В Италии идеалисты словно бы дышали родным воздухом.

Кроме того, Италия гораздо больше, чем Париж, располагала к трепетному приятию слова Будды. Увлечение современным буддизмом захлестнуло их с небывалой силой — они читали, погружались в самосозерцание, сознательно поставив себе целью истребить в душе своей корысть, страдание и скорбь. Они до поры до времени не ведали, что жажда Будды избавиться от страдания и скорби есть сама тоже вид корысти. Нет, им виделся в мечтаниях идеальный мир, где страданиям, скорби и уж тем более корысти не будет места.

Но вот в войну вступила Америка, и пришлось чете идеалистов также внести свою лепту. Они работали в госпитале. И хотя жизнь на каждом шагу вновь и вновь подтверждала, что избавить мир от корысти, страдания и скорби необходимо, все же становилось сомнительно, чтобы буддизм или теософия могли полностью восторжествовать над затянувшимся бедствием. Где-то в неведомых тайниках души зрела смутная догадка, что корысть, страдание и скорбь вообще нельзя искоренить, поскольку люди в большинстве своем нимало о том не радуют и не будут радеть никогда. Наши идеалисты чересчур прочно принадлежали Западу, чтобы прельститься мыслью, что-де пускай весь мир летит в тартарары, лишь бы уцелеть им обоим. Им недоставало себялюбия, чтобы сиднем сидеть под деревом Бо и сам-друг погружаться в нирвану.

Скажем больше. Не тем наградила их природа *Sitzfleisch**, чтобы, уютно присев под деревом Бо, погружаться в нирвану посредством созерцания чего-либо и в последнюю очередь — собственного пупа. Ежели не спасется весь мир, им как-то не особенно улыбалось помышлять о персональном спасении. Нет, это не сулило ничего, кроме одиночества. Им, детям Новой Англии, надобно все или ничего. От корысти, страдания и скорби надлежит избавить *весь мир*, а иначе что толку истреблять их в самом себе? Решительно никакого толку! Иначе ты — просто жертва.

Итак, при всей любви к «индийской философии», всем тяготении к ней... одним словом, вновь прибегая к нашей метафоре, тот колышек, по которому доныне взбирались вверх зеленолистые мятущиеся лозы, оказался на поверку трухлявым. Он обломился, а лозы опять медленно поникли к земле. Без стука, без треска. Какое-то время они еще держались на сплетенной листве. Потом поникли. Колышек «индийской философии» рухнул до того, как две лозы — он и она — успели перекинуться с его верхушки выше, в неведомый им мир.

С протяжным шорохом они опять полегли наземь. Однако же не возрптали. Снова их постигло крушение надежд. Но они в том не признавались. «Индийская философия» подвела их. Однако они не жаловались. Не обмолвились об этом ни единым словом, даже друг с другом. Они пережили разочарование, обманулись в своей мечте, неуловимой, но заветной — и оба знали это, но молча, про себя.

К тому же в жизни еще оставалось так много! Еще оставалась Италия — милая Италия. Оставалась свобода, бесценное сокровище. И так много оставалось «прекрасного»! С «полной жизнью» обстояло сложнее. Появился сын, которого они любили, как и полагается родителям любить свое дитя, благоразумно воздерживаясь при этом от того, чтобы сосредоточиться на нем всецело, строить свою жизнь на нем одном. Нет-нет, они должны жить своей собствен-

* седалищем (нем.).

ной жизнью! У них хватало здравого смысла сознавать это.

Беда в том, что они уже были не очень молоды. Двадцать пять и двадцать семь миновали, их сменили тридцать пять и тридцать семь. И хотя они изумительно прожили в Европе эти годы и были по-прежнему влюблены в Италию — милую Италию! — все же их постигло разочарование. Европа дала им немало — нет, серьезно, очень немало! А все же не то, что они ожидали, не *совсем* то, не вполне. Европа полна прелести, но она отжила свое. Живя в Европе, живешь непременно прошлым. Да и европейцы, при всем своем внешнем шарме, лишены *подлинного* обаяния. Слишком они земные, в них нет настоящей души. Им попросту недоступны сокровенные порывы человеческого духа, ибо эти порывы умерли в них, эти люди изжили себя. Вот-вот, это очень точно сказано: европейцы изжили себя, в них не осталось поступательного заряда.

Новый колышек подломился, рухнула новая опора под живую тяжестью зеленой лозы. На сей раз это произошло весьма болезненно. Ведь более десяти лет молчаливо взбиралась зеленая лоза по стволу старого дерева, именуемого Европой, — десять безмерно важных лет, годы самого расцвета. *Жизнь*, не что-нибудь, доверили двое идеалистов Европе, укореняясь на европейской почве, питаясь европейскими соками, подобно двум лозам в вечнозеленом винограднике.

Здесь они завели себе дом — дом, какого нипочем не заведешь в Америке. «Прекрасное» было их девизом. Последние четыре года они снимали второй этаж старинного палаццо на реке Арно, тут у них были собраны все их «вещи». Эта обитель служила им источником глубокой улады: величавая тишина этих древних покоев, окна, выходящие на реку, блеск темно-красных полов, чудная мебель, которую идеалистам посчастливилось «откопать».

М-да, жизнь наших идеалистов, незаметно для них самих, все это время с неистовой скоростью мчалась по вертикали. Они превратились в неистовых, ненасытных охотников за «вещами» для своего дома. Пока душою они устремлялись

ввысь, к солнцу старой европейской культуры или древней индийской философии, страсти мчали их по вертикали, понуждая цепляться за «вещи». Естественно, они покупали вещи не ради вещей как таковых, но во имя «прекрасного». Не вещи — при чем тут «вещи!» — но единственно красота составляла для них убранство их дома. Валери отыскала для окон длинного *salotto**, выходящего на реку, сказочной красоты шторы — шторы из удивительной старинной ткани, напоминающей тончайшего плетения шелк; краски, некогда пунцовые, рыжие, черные, золотые, от времени чудесно поблекли и рдели мягким огнем. Входя в *salotto*, Валери всякий раз превозмогала желание молитвенно опуститься пред шторами на колени.

— Шартр! — говорила она. — Для меня они то же, что Шартрский собор**!

А у Мелвилла при взгляде на его венецианский, шестнадцатого века книжный шкаф, в котором стояли два-три десятка тщательно подобранных томов, всякий раз пробегал по спине холодок. Это было святое!

И молчаливо, почти суеверно сторонился этих памятников старины мальчик, словно боялся потревожить гнездо спящих кобр или задеть ненароком ковчег завета*** — «вещь», какой и вовсе рискованно касаться. Молча, со сдержанным, но непреодолимым содроганием мальчик чурался домашних святынь.

Однако траченное временем великолепие обстановки не может заполнить собою жизнь идеалистов из Новой Англии. По крайней мере таких, как наши. Они привыкли к изумительному болонскому буфету, привыкли к дивному венецианскому шкафу, к книгам, к сиенским шторам и бронзе, к очаровательным кушеткам, столикам, стульям, которые «откопали» в Париже. А откапывали они вещи с первого дня, как только ступили на европейскую землю. И до сих пор не перестали. Для приезжего, как, впрочем, и аборигена, по-

* гостиной (итал.).

** Готический собор во Франции, знаменитый, в частности, своими витражами.

*** Библия, «Числа», 10, 33.

добного рода занятие всегда припасено в Европе — на худой конец.

Когда к Мелвиллам приходили гости и восторгались интерьерерами, Валери и Эразм чувствовали, что прожили жизнь не зря — что жизнь продолжается! Но по утрам, в те долгие часы, когда Эразм пытался сосредоточить разбегающиеся мысли на литературе Флорентийского возрождения, а Валери наводила порядок в комнатах — но в долгие послеобеденные часы,— но долгими и обычно очень холодными тоскливыми вечерами ореол вокруг обстановки меркнул, и «вещи» в старом палаццо становились просто вещами, скоплением рухляди, которая стоит и висит вокруг *ad infinitum**, ничего не говоря ни уму, ни сердцу,— и в такие часы Валери и Эразм готовы были возненавидеть их. Жар, порождаемый красотой, подобно всякому жару, меркнет, если его ничем не питать. «Вещи» были по-прежнему дороги сердцу идеалистов. Но идеалисты уже владели ими. А как ни печально, к вещам, за которыми охотишься с таким жаром, через год или два сильно охладеваешь. Другое дело, конечно, если они становятся предметом всеобщей зависти, если их наперебой стараются заполучить музеи. А у Мелвиллов как ни хороши были «вещи», но все-таки не настолько.

Короче, мало-помалу вся эта красота померкла в их глазах, померкло очарование Европы, Италии,—«что за *преlestь* эти итальянцы!»— померкло даже великолепие покоев на Арно. «Нет, будь у меня такая квартира, мне никогда, никогда в жизни не захотелось бы выйти из дому. Это сама гармония, само совершенство!» Естественно, слышать такие слова — это уже кое-что.

И тем не менее Валери с Эразмом уходили из дому — скажем больше, они уходили прочь от его вековой тишины, тяжелой, как камень, холодной, как мраморные полы; от его мертвенного величия.

— Ты чувствуешь, Дик, мы живем прошлым,— говорила мужу Валери. Она называла его Дик.

Стиснув зубы, они продолжали цепляться за этот колы-

* Здесь: в неисчислимом множестве (лат.).

шек. Им не хотелось сдаваться. Не хотелось расписываться в своем поражении. Двенадцать лет они были «свободные» люди, живущие «полной, прекрасной жизнью». Двенадцать лет Америка была для них Содомом и Гоморрой, гнусным исчадием промышленной бездуховности.

Нелегко расписываться в своем поражении. Очень неприятно сознаваться, что тебя тянет назад. Но в конце концов, скрепя сердце, они решили вернуться — «ради сына».

— *Сил* нет расставаться с Европой. Но Питер как-никак американец, пускай поглядит на Америку, покуда мал.

По произношению, по манере держаться Мелвиллы были совсем англичане — почти совсем: кое-что переняли от итальянцев, кое-что от французов.

Они все же расстались с Европой, но кусочек ее — сколько было в их силах — захватили с собой. Несколько полных контейнеров, если уж быть точным. Все свои обожаемые, незаменимые «вещи». И в полном составе прибыли в Нью-Йорк: идеалисты, их сын и солидный кусок Европы, погруженный в контейнеры.

Валери рисовала себе симпатичную квартиру где-нибудь на Риверсайд-драйв, где не так дорого, как на Западной стороне, и где так красиво станут их изумительные вещи. Они с Эразмом занялись поисками. Но увы! Когда годовой доход существенно меньше трех тысяч... Поиски завершились... да разве не ясно, чем они должны были завершиться! Две комнатухи и кухонька, и *боже* нас упаси ставить сюда хоть что-нибудь из «вещей»!

Увесистый кус, который им удалось отхватить от Европы, проследовал на склад — пятьдесят долларов в месяц за хранение. А идеалисты сидели в двух комнатухах с кухонькой и спрашивали себя, для чего, собственно, они это все затеяли.

Конечно, Эразму следовало поступить на работу. Так значилось на скрижалях, только супруги отказывались видеть это. Недаром для них статуя Свободы всегда таила в себе эту неясную, эту непостижимую угрозу: «Человек, поступи на работу!» Эразму же были, как говорится, и карты в руки. Ему еще не поздно было вступить на преподаватель-

ское поприще. Он в свое время с блеском кончил Йельский университет и не оставлял своих «изысканий», пока находился в Европе.

Но об этом они с женой подумать не могли без содрогания. Преподавательское поприще! Университетский мирок! Американский к тому же! Брр — и еще раз брр! Ради этого пожертвовать свободой, расстаться с полной и прекрасной жизнью? Ни за что! Никогда! А между прочим, Эразму через год исполнялось сорок...

«Вещи» пребывали на складе. Валери как-то раз наведальась к ним. Это стоило ей доллара в час — и мучительных терзаний. «Вещи», бедненькие, имели на складе достаточно жалостный и обшарпанный вид.

Но разве Америка клином сошлась на Нью-Йорке? Есть Запад с его нетронутыми просторами! И, взяв Питера, но оставив «вещи», Мелвиллы подались на Запад. Пожить простою жизнью на лоне гор. Но что за пытка, оказывается, самим все делать по дому! Смотреть на вещи приятно, кто спорит, однако ухаживать за ними — одно мучение, даже когда они красивы. А уж заделаться рабами уродских вещей, растапливать печку, стряпать еду, мыть посуду, таскать воду и мести полы — это вообще черт знает что такое, это не жизнь, а ужас!

В убогой горной хижине Валери грезилась Флоренция, утраченные покои на берегу Арно, болонский буфет, стулья эпохи Людовика XV, а главное — ее «Шартр», ее сказочные шторы, прозябающие в Нью-Йорке за пятьдесят долларов в месяц.

Избавление явилось в образе знакомого миллионера, который предложил им свой коттедж на Калифорнийском побережье. Калифорния! Край, где у человека вновь рождается душа! Идеалисты переехали еще немного дальше на Запад, радостно цепляясь за новый колышек надежды.

И обнаружили, что он — соломинка! Миллионеров коттедж был идеально оборудован. Он приближался, можно сказать, к пределу совершенства, так предусмотрено в нем было все, что облегчает труд: отопление — электрическое,

плита — тоже, глазурированная, снежно-перламутровая кухня, пыли и грязи просто взяться неоткуда, разве что от человека. Час-полтора, и вся работа по дому окончена. И ты «свободен» — свободен слушать, как бьется в берег Великий океан, и ощущать, как существо твое полнится новой душой.

Увы! Великий океан молотил в берег с удручающей жестокостью, как воплощение слепой, жестокой силы! А новая душа — нет, чтоб струиться в тебя нежным ручейком — прямо-таки вгрызалась в самое твое существо, нагло вытесняя оттуда прежнюю душу. Чувствовать, что над тобой занесен кулак слепой, всесокрушающей силы, что из тебя выгрызают самое дорогое: твою возвышенную душу, оставляя взамен только досаду и раздражение, — тут, знаете, хорошего мало.

Прошло примерно девять месяцев, и идеалисты покинули Запад, а с ним — и Калифорнию. Это была грандиозная затея, они нисколько не жалеют о ней. Но все-таки в конечном счете Запад — неподходящее для них место, и они убедились в этом. Нет уж, пусть новой душой обзаводятся те, у кого есть в ней потребность. А они, Валери и Эразм Мелвиллы, лучше будут, по мере сил, пестовать в себе ту душу, какая есть. Тем более что притока каких-то новых душевных сил на Калифорнийском побережье они не ощутили. Скорей напротив.

Итак, с заметной прорехой в капитале — речь идет уже не о духовных ценностях — они вернулись в Массачусетс и вместе с сыном посетили родителей Валери. Внука, несчастного бездомного ребенка, ее родители приняли ласково; Валери — с холодком; Эразму был оказан ледяной прием. В один прекрасный день мать напрямик объявила Валери, что Эразму следует поступить на работу и дать своей жене возможность жить по-человечески. Валери высокомерно напомнила ей о великолепных покоях на Арно, об изумительных «вещах», хранящихся на складе в Нью-Йорке, и о том, какой «чудесной и содержательной жизнью» жили они эти годы с Эразмом. Мать возразила, что ничего особенно чудесного в жизни дочери пока не видит: семья без крыши над головой, муж в сорок лет болтается без дела, ребенку

надо дать образование, а деньги тают,— по ее понятиям, это не чудесная жизнь, как раз наоборот. Пускай Эразм подыщет себе место в каком-нибудь университете.

— В каком?— перебила ее Валери.— И какое место?

— При таких связях, как у твоего отца, и таких данных, как у Эразма, место найдется. Тогда можно забрать все твои ценные вещи со склада и действительно развести у себя дома такую красоту, что все только ахнут. А так мебель лишь съедает ваше состояние, а сами вы, как крысы, забились в дыру, где носа высунуть некуда.

Это было вполне справедливо. Валери начинала томиться по собственному дому, обставленному ее «вещами». Конечно, мебель можно было продать, и за приличные деньги, но на такое Валери не согласилась бы ни за что на свете. Пусть рушится все вокруг: культуры, верования, материки, надежды,— ничто и никогда не разлучит ее с «вещами», которые они с Эразмом собирали с такою страстью. К «вещам» она была прикована намертво.

Да, но как отказаться от свободы, от полной и прекрасной жизни, в которую они так верили? Эразм проклинал Америку. Он решительно не желал зарабатывать деньги на жизнь. Он тосковал по Европе.

Вверив мальчика попечениям родителей Валери, чета идеалистов снова отправилась в Европу. В Нью-Йорке, уплатив два доллара, они провели короткий и горький час, осматривая «вещи». На пароходе плыли «студенческим классом» — иначе говоря, третьим. Доход их теперь составлял неполных две, а не три, как прежде, тысячи годовых. И путь они держали в Париж — Париж, где все так дешево.

На этот раз поездка обернулась полнейшей неудачей.

— Мы возвратились в Европу, как псы на блевотину свою,— говорил Эразм,— только блевотина за это время успела обратиться в прах.

Он обнаружил, что не переносит Европу. Каждая мелочь здесь раздражала его. Он и Америку терпеть не мог. Но по сравнению с этим злосчастным, заплеванным материком,

где, кстати, дешевизны больше нет и в помине, Америка все же была во сто крат лучше.

Валери, памятуя о «вещах» — она просто изнемогала от желания извлечь их с этого проклятого склада, где они простояли уже три года, поглотив напрасно две тысячи долларов, — написала матери, что Эразм, пожалуй, вернулся бы в Америку, если бы для него нашлась подходящая работа. Эразм, в расстроенных чувствах, близкий к бешенству, к помутнению рассудка, болтался по Италии в обтрепанном, как у последнего забулдыги, костюме и с лютой ненавистью ко всему, что его окружало. И когда для него отыскалось место преподавателя французской, итальянской и испанской литературы в Кливлендском университете, стеклянный блеск в его глазах усилился, черты его странно вытянутого лица, искаженные крайним смятением и яростью, заострились еще резче, придавая ему сходство с крысиной мордой. В сорок лет работа все-таки настигла его.

— По-моему, милый, надо соглашаться. Европа больше не привлекает тебя. С нею все кончено, она, как ты сам выразился, изжила себя. Нам обещают предоставить дом на территории университета, и мама говорит, там хватит места для всех наших вещей. Я думаю, надо дать телеграмму, что мы согласны.

Эразм, точно загнанная в угол крыса, метнул на нее злобный взгляд. Так и мерещилось, будто по бокам его заострившегося носа топорщатся, подрагивая, крысиные усы.

— Ну как, посылать мне телеграмму? — спросила она.

— Посылай! — выпалил он.

И Валери пошла давать телеграмму.

Эразма словно подменили с этих пор — он притих, перестал поминутно раздражаться. Тяжкое бремя свалилось с его плеч. Клетка захлопнулась.

Но когда перед ним дремучим черным лесом выросли исполинские кливлендские печи с искрометными каскадами раскаленного добела металла, подле которых под непомерный, неистовый шум гномиками копошились люди, он сказал жене:

— Что ни говори, с этой силищей сегодня в мире не сравнится ничто.

И когда они въехали в свой вполне современный домик на территории Кливлендского университета и незадачливые обломки Европы: болонский буфет и венецианский книжный шкаф, епископское кресло из Равенны, столики в стиле Людовика XV, шторы «Шартр», лампы сиенской бронзы — стали по местам и пришлось совершенно не к месту, вследствие чего приняли крайне импозантный вид; когда у идеалистов, разинув от изумления рты, собрались гости и Эразм, слегка рисуясь, принимал их в лучших европейских традициях, но одновременно с настоящим американским радушием, а Валери блистала изысканностью манер, но при всем том «мы отдаем предпочтение Америке», — тогда, метнув на жену странный взгляд крысиных острых глаз, Эразм сказал:

— Как майонез к омарам, Европа недурна, но все же сами омары — это Америка, верно?

— Безусловно! — довольная, отвечала жена.

Эразм внимательнее взгляделся в ее лицо. Он попался — ну что же, зато в клетке чувствуешь себя надежно. Да и Валери, как видно, стала наконец сама собой. Ее добро — при ней. Правда, по углам его ученого носа затаилось странное, недоброе выражение откровенного скептицизма. Но он был большой любитель омаров.

Победитель на деревянной лошадке

Жила на свете женщина, она была хороша собой и начинала свой путь со многими иными преимуществами, но не было ей удачи. Вышла замуж она по любви, любовь обратилась в прах. У нее росли прелестные дети, но они обременяли ее, и она не любила их. Дети смотрели на нее холодно, будто в чем-то обвиняли. И она спешила скрыть эту вину. Хотя и не знала, что именно ей надо было скрывать. И все же, когда дети были рядом, она чувствовала, что сердце ее каменеет.

Это тревожило ее, и она старалась держаться с детьми как можно заботливей и нежней, словно очень их любила. Лишь она одна и знала, что в сердце у нее есть каменный уголок и она не может любить никого. О ней говорили: «Какая прекрасная мать! Она обожает своих детей». Но только она одна да еще дети знали, что это не так. Они читали это в глазах друг друга.

У нее были мальчик и две девочки поменьше. Жили они в чудесном доме с садом, держали воспитанных слуг и чувствовали свое превосходство над всеми соседями.

И хотя жили они, ни в чем себе не отказывая, в доме постоянно витала какая-то тревога. Все время не хватало денег. У матери было небольшое состояние, у отца — тоже, но чтобы жить на широкую ногу, этих состояний не хватало. Отец поступил на службу. На это возлагались большие надежды, но им не суждено было сбыться. Все в доме мучительно ощущали недостаток денег и продолжали ни в чем себе не отказывать.

Наконец мать сказала: «Попробую-ка я что-нибудь сделать». Но она не знала, с чего начать. Она ломала голову, бралась то за одно, то за другое, но так ни в чем и не преуспела. Только неудачи прочертили на лице ее глубокие морщины. Подрастали дети — пора было устраивать их в школу. Нужны были деньги, нужны были деньги. Отец оказался не способным ни к какому серьезному занятию, зато он любил дорогие изящные вещи. Но и матери, столь верившей в себя, удалось добиться ничуть не больше, а расточительна она была не менее мужа.

И в доме точно поселилось невысказанное «Нужны деньги! Нужны деньги!». Дети слышали это непрестанно, хотя никто ничего не говорил вслух. Они слышали это на рождество, когда детская наполнялась дорогими яркими игрушками. Из-за новенького блестящего коня-качалки, из-за нарядного кукольного домика доносился шепот: «Нужны деньги! Нужны деньги!» И дети бросали игру и прислушивались. Они заглядывали друг другу в глаза убедиться, что все они слышат одно и то же. И каждый читал в глазах дру-

гого: «Да, и я слышу: «Нужны деньги! Нужны деньги!»

Случалось, так поскрипывали пружины коня-качалки, и он, наклонив деревянную морду, нетерпеливо грыз удила и тоже не пропускал ни слова. Большая розовощекая кукла сидела в новой колясочке и ухмылялась, она тоже все прекрасно слышала и оттого ухмылялась еще самонадеянней. Бестолковый щенок — он занял место игрушечного медвежонка — выглядел так поразительно бестолково именно потому, что слышал по всему дому тайный шепот: «Нужны деньги!»

Но никто никогда не произносил этого вслух. Шепот звучал повсюду, и не надо было ничего говорить вслух. Ведь не говорят же люди: «Мы дышим», хотя дышат все время.

— Мама,— спросил однажды сын,— почему у нас нет своей машины? Почему мы всегда берем дядину или такси?

— Потому что мы бедные, бедней наших родственников,— ответила мать.

— Но почему?

— Ну, я полагаю,— произнесла мать медленно, с горечью,— потому, что нашему отцу ни в чем не везет, нет ему везенья.

Поль задумался.

— Мама, везенье — это деньги?— спросил он робко.

— Нет, Поль, не совсем. Везенье помогает иметь деньги.

— А-а!— протянул мальчик.— Значит, когда дядя Оскар говорит «везенный металл», это он про деньги.

— Деньги называют презренным металлом,— поправила мать.— Оскар говорит «презренный металл».

— Ясно,— кивнул Поль.— Но тогда что же такое везенье, мама?

— То, что помогает иметь деньги. Если тебе везет, у тебя есть деньги. Так что не родись богатым, а родись счастливым. Богатый может разориться, потерять свои деньги. Но если ты везучий, у тебя всегда будут деньги.

— Правда?! А наш папа везучий?

— Нет, вовсе даже нет,— с горечью сказала мать.

Мальчик взглянул на нее недоверчиво.

— Почему?— спросил он.

— Не знаю. Никто не знает, почему одному везет, а другому нет.

— Правда? Совсем никто не знает? Никто, никто?

— Может быть, бог. Но он молчит об этом.

— Он должен сказать. Мама, а тебе тоже не везет?

— Мне не может везти, раз у меня такой муж.

— Ну, а тебе самой, самой?

— До замужества мне казалось, что везет. А теперь, думаю, я очень несчастна.

— Почему?

— Ну... да неважно! Может, это и не так.

Мальчик пытливо посмотрел на нее: что она хочет этим сказать? Но складки у губ говорили лишь о том, что она хочет что-то скрыть от него.

— А я вот везучий,— сказал Поль решительно.

— Это почему же?— рассмеялась мать от неожиданности.

Мальчик пристально взглянул на нее. Он и сам не знал, отчего у него вырвалось такое.

— Мне сказал бог,— выпалил Поль.

— Хорошо бы, милый!— И она опять горько рассмеялась.

— Он сказал мне, мама!

— Отлично!— воскликнула мать (это было излюбленное папино словечко).

Поль видел, что мать ему не верит, во всяком случае, не принимает его слова всерьез. Это уязвило его, и он решил убедить ее в своей правоте.

Мальчик пустился в поиски, наугад, по-детски пытаюсь разгадать, что же такое «везенье». Погруженный в себя, никого не замечая, он слонялся по дому и тайно, втихомолку искал «везенье». Он жаждал его, жаждал, жаждал. Когда в детской девочки играли в куклы, Поль взбирался на коня-качалку и, рассекая воздух, бешено раскачивался, своим неистовством приводя в смущение младших сестреночек. Конь несся во весь опор, темные вьющиеся волосы мальчика развевались, глаза невыразимо блестели. В такие минуты

сестры не решались заговорить с ним.

А когда неистовая скачка кончалась, Поль слезал с коня и долго, неотрывно глядел ему в опущенную морду. Алые губы коня приоткрывались, взгляд огромных, широко открытых глаз стекленел.

— Ну же!— командовал он храпящему коню.— Неси меня вперед, к везенью! Вперед!

Он стегал коня по холке маленьким кнутом, который подарил ему дядя Оскар. Поль был уверен, конь домчит его к удаче, нужно только его заставить. Мальчик снова взбирался на коня, снова пускался в неистовый скак: он должен туда добраться. И знал, что доберется.

— Поль, ты сломаешь коня,— волновалась няня.

— Поль всегда так скачет! Пусть лучше оставит коня в покое!— сердилась старшая из сестер, Джоан.

Но мальчик упорно молчал и пристально смотрел на них. И няня сдалась. Что она могла с ним поделывать? Он уже был не в ее власти.

Однажды во время такой бешеной скачки в комнату вошли мать и дядя Оскар. Поль даже не заметил их.

— Привет маленькому жокею! Пришел первым, а?— воскликнул дядя Оскар.

— По-моему, ты слишком взрослый для коня-качалки. Ты ведь уже не маленький мальчик, правда?— заметила мать.

Поль промолчал, только еще сильнее заблестели его большие синие глаза. Когда он скакал во всю прыть, он ни с кем не разговаривал. Мать с тревогой следила за сыном.

И вдруг, резко оборвав галоп, он остановился и слез с коня.

— Вот я и добрался!— решительно объявил Поль; он стоял, широко расставив ноги, синие глаза его все еще блестели.

— Куда же ты добрался?— спросила мать.

— Туда, куда хотел.— Глаза мальчика вспыхнули.

— Молодец, сынок!— одобрил дядя Оскар.— Пока туда не доберешься, не останавливайся. Как зовут коня?

— Никак не зовут,— ответил мальчик.

— Ему и так неплохо?— спросил дядя Оскар.

— Ну, у него бывают разные клички. На прошлой неделе его звали Сансовино.

— Тот, что выиграл «Аскот»*? Откуда ты о нем знаешь?

— Он все время говорит о скачках с Бассетом,— вмешалась Джоан.

Дядюшка обрадовался: его маленький племянник разбирается в скачках! Молодой садовник Бассет, раненный на войне в левую ногу, бывший ординарец Оскара Кроссуэла, через которого он и получил свое теперешнее место, был завсегдаем скачек. Он страстно увлекался ими и увлек мальчугана.

Оскар Кроссуэл узнал об этом от самого Бассета.

— Пришел ко мне как-то мастер Поль и давай расспрашивать, так что пришлось ему все рассказать, сэр.— Бассет произнес это до того серьезно, словно речь шла о вере в бога.

— А он когда-нибудь ставил на лошадь, которая ему приглянулась?

— Не хочу выдавать его, сэр, парнишка-то совсем молоденький, такой хороший парнишка, сэр. Вы уж лучше спросите его самого. Ему это вроде в удовольствие, а так он думает, я его выдал, уж лучше спросите сами, сэр.

Бассет был серьезен, как проповедник.

Оскар вернулся к племяннику и повез его покататься на машине.

— Поль, дружище, скажи мне, ты когда-нибудь ставил на лошадь?

Мальчик в упор взглянул на дядю.

— А что, мне нельзя?— уклонился от ответа Поль.

— Что ты, совсем наоборот! Я хотел с тобой посоветоваться, на кого мне ставить на «Линкольне»**.

Машина уже выехала за ворота и направлялась к дядюшкиному дому в Гемпшире.

— Слово чести?— спросил мальчик.

— Слово чести, сынок!— ответил Оскар.

— Ну, раз так, ставьте на Даффодила.

* Название скачек.

** Название скачек.

— Даффодила? Сомневаюсь, сынок. А как насчет Мирзы?

— Я знаю только победителя,— сказал Поль.— Это Даффодил.

— Неужели Даффодил?

Мальчик промолчал. Даффодил никогда не числился в фаворитах.

— Дядя!

— Да, сынок?

— Вы больше никому об этом не скажете? Я обещал Бассету.

— Черт подери этого Бассета, дружище! Он-то тут при чем?

— Мы с ним партнеры. С самого начала. Он, дядя, одолжил мне первые пять шиллингов, а я их проиграл. Я дал ему слово чести, что все это останется между нами; а выигрывать я начал только тогда, когда вы, дядя, дали мне те десять шиллингов,— так что вам везет. Вы ведь никому не скажете, правда?

Мальчик испытующе посмотрел на дядю своими большими ярко-синими глазищами. Дядя смущенно рассмеялся:

— Ты прав, сынок! Я сохраню все в тайне. Так, значит, Даффодил? Сколько же ты на него ставишь?

— Все, кроме двадцати фунтов,— ответил мальчик.— Двадцать фунтов оставляю про запас.

Дядя решил, что Поль шутит.

— Так, значит, двадцать фунтов оставляешь про запас, а, маленький фантазер? Сколько же ты ставишь на Даффодила?

— Я ставлю триста,— важно сказал мальчик.— Но это между нами, дядя Оскар! Слово чести?

Дядя Оскар расхохотался.

— Ладно, все останется между нами, маленький Нат Гулд*,— сказал Оскар со смехом.— А где же твои три сотни?

— Они у Бассета. Мы же партнеры.

* Натаниэль Гулд (1857—1919)— английский журналист и писатель, автор многочисленных романов о скачках.

— Само собой! А сколько ставит на Даффодила Бассет?

— Думаю, он поставит меньше, чем я. Наверное, сто пятьдесят.

— Чего, пенсов? — рассмеялся дядя.

— Фунтов. — Мальчик удивленно посмотрел на Оскара. — Бассет про запас оставляет больше меня.

Дядя Оскар озадаченно замолчал. Он решил никому обо всем этом не рассказывать, а Поля взять с собой на скачки.

— Итак, сынок, ставлю двадцать фунтов на Мирзу и пять за тебя на любую лошадь, какую захочешь. Так на какую?

— На Даффодила, дядя.

— Нет, на Даффодила не могу.

— Были б пять фунтов мои, я б поставил, — сказал Поль.

— Ладно! Ладно! Пусть будет по-твоему! Ставлю на Даффодила, пять за тебя и пять за себя.

Поль никогда прежде не был на скачках, синие глаза его горели. Сжав губы, он внимательно следил за происходящим. Прямо перед мальчиком сидел француз, он поставил на Ланселота. Размахивая руками, вне себя от возбуждения он кричал с сильным акцентом: «Ланселот! Ланселот!»

Первым пришел Даффодил, вторым — Ланселот, третьим — Мирза.

Поль покраснелся, глаза его сияли, но держался он на редкость невозмутимо. Дядя Оскар принес ему четыре пятифунтовых билета, выигрыш был четыре к одному.

— Что с ними делать? — воскликнул Оскар, размахивая перед носом Поля деньгами.

— Я думаю, надо поговорить с Бассетом, — ответил мальчик. — Теперь у меня, наверное, тысяча пятьсот фунтов и двадцать в запасе, и еще эти двадцать.

Дядя Оскар пристально взглянул на Поля.

— Послушай, сынок, — начал он. — Ты, конечно, шутишь насчет Бассета и полутора тысяч?

— Вовсе нет. Но это только между нами, дядя. Слово чести?

— Ладно, сынок, слово чести! Но я должен поговорить с Бассетом.

— Если вы хотите быть нашим партнером, мы можем быть все вместе, втроем. Только, дядя, дайте слово чести, что об этом никто больше не узнает. Нам с Бассетом везет, и вам, наверное, тоже везет, потому что с ваших десяти шиллингов я и начал выигрывать.

Днем дядя Оскар взял Бассета и Поля в Ричмонд-парк*, чтобы там поговорить с ними.

— Вот, сэр, как оно вышло-то,— начал Бассет.— Мастер Поль все выспрашивал, как там на скачках, да что говорят, да всякое такое. И все хотел знать, выиграл я или нет. Уж теперь, почитай, год прошел, как я поставил за него пять шиллингов на Отблеск Зари, и мы проиграли. А потом нам повезло на Сингальца, когда вы ему дали десять шиллингов. И с тех пор мы почти всегда выигрываем, такие вот дела. А вы что скажете, мастер Поль?

— Когда мы уверены, у нас все в порядке,— сказал Поль.— А когда не совсем уверены, то проигрываем.

— Но тогда мы осторожны,— вставил Бассет.

— А когда вы уверены?— улыбнулся дядя Оскар.

— Это все мастер Поль, сэр,— таинственно и важно заметил Бассет.— Он вроде узнает про это оттуда, с небес. Вроде как сегодня про Даффодила. Тут уж все было ясно как божий день.

— И ты поставил на Даффодила?— спросил Оскар Кроссуэл.

— Да, сэр, поставил.

— А мой племянник?

Бассет упрямо молчал, глядя на Поля.

— Я выиграл тысячу двести, правда, Бассет? Я уже сказал дяде, что поставил триста на Даффодила.

— Так оно и есть, сэр,— подтвердил Бассет.

— Но где же деньги?— спросил дядя Оскар.

— Они у меня припрятаны, сэр, целехоньки. Мастер Поль может взять их, когда захочет.

— Что, тысячу пятьсот фунтов?!

* Самый большой городской парк Великобритании, расположен на юго-западной окраине Лондона.

— И еще двадцать! Даже сорок, вместе с сегодняшними.

— Поразительно!— воскликнул дядя Оскар.

— Мастер Поль предлагает вам стать партнером, сэр, простите меня грешного, что советую, но я б на вашем месте согласился.

Оскар Кроссуэл задумался.

— Я хочу взглянуть на деньги,— сказал он.

Они вернулись домой, и Бассет в самом деле принес в беседку тысячу пятьсот фунтов. Двадцать фунтов они оставили у Джо Гли, на счете при тотализаторе.

— Понимаешь, дядя, когда я уверен, у нас все в порядке! И мы не глядя ставим на все деньги. Верно, Бассет?

— Верно, мастер Поль.

— А когда ты уверен?— смеясь, спросил дядя Оскар.

— О, иногда я совершенно уверен, ну, как с Даффоидом!—воскликнул мальчик.— Иногда у меня есть предположение, а иногда и предположения нет, правда, Бассет? И тогда мы осторожны, потому что почти всегда проигрываем.

— Ясно, ясно! А когда ты уверен, как с Даффоидом, почему ты уверен, сынок?

— Ну, я не знаю,— смутился мальчик.— Просто уверен, вот и все.

— Ну точно кто шепнул ему с небес, сэр,— снова подсказал Бассет.

— Должно быть, так и есть,— согласился Оскар.

И стал их партнером. А когда подошли следующие скачки, «Лиджер», Поль был «уверен», что победит Веселая Искорка, лошадь ничем не примечательная. Мальчик настоял, чтобы на Искорку за него поставили тысячу фунтов. Бассет отважился на пятьсот, а Оскар Кроссуэл — на двести. Веселая Искорка пришла первой, и выигрыш платили десять к одному. Поль получил десять тысяч.

— Видите,— сказал он.— Я был совершенно уверен.

Даже Оскар Кроссуэл выиграл две тысячи.

— Послушай, сынок,— сказал он.— Мне от всего этого как-то не по себе.

— Ну что вы, дядя! Я теперь, наверное, долго не буду уверен.

— А что ты собираешься делать с деньгами?— спросил Оскар.

— Да я,— начал мальчик,— затеял все это ради мамы. Она сказала, что ей не везет, потому что не везет папе, и я подумал, если повезет мне, может, он перестанет шептаться.

— Кто перестанет шептаться?

— Наш дом. Я ненавижу его за этот шепот.

— Что же он шепчет?

— Ну... Ну...— Мальчик заволновался.— Не знаю я. Но у нас всегда не хватает денег, понимаете, дядя.

— Да, сынок.

— Маме все время присылают счета.

— Да, к сожалению, это так.

— И тогда в доме словно кто-то начинает шептать, а то и смеется у тебя за спиной. И так страшно, так страшно! Вот я и подумал, если мне повезет...

— Ты сможешь покончить с этим,— продолжил за него дядя.

Большие синие глаза мальчика холодно блеснули, и он не прибавил больше ни слова.

— Ладно!— воскликнул дядя.— Что же нам делать?

— Я не хочу, чтобы мама узнала, что мне везет,— сказал Поль.

— Но почему?

— Она запретит мне.

— Не думаю.

— Нет, дядя!— Лицо мальчика исказилось.— Я не хочу, чтобы она знала.

— Хорошо, сынок! Устроим все без ее ведома.

И они все легко устроили. Полю посоветовали передать пять тысяч фунтов дяде, который отдал деньги адвокату их семьи, а тот должен был сообщить матери Поля, что один из родственников передал в его руки пять тысяч фунтов и в течение пяти лет в каждый ее день рождения она будет получать по тысяче фунтов.

— Итак, в течение пяти лет она будет получать в подарок по тысяче фунтов. Надеюсь, это не станет для нее новым испытанием.

День рождения у матери был в ноябре. Дом «шептался» как никогда, и Полю, несмотря на везенье, стало невыносимо. Ему страстно не терпелось увидеть, как мать примет письмо, то, что придет в день рождения и сообщит ей о тысяче фунтов.

Теперь, если только в доме не было гостей, Поль садился за стол вместе с родителями — он уже вышел из-под опеки няни. Почти каждый день мать ездила в город. Оказалось, ей прекрасно удаются эскизы тканей и мехов, и она тайком работала в студии своей подруги, та была главной художницей у ведущих модельеров. Мать Поля рисовала для газетных реклам фигуры дам в мехах, в шелковых платьях с блестками. Ее подруга зарабатывала в год несколько тысяч фунтов, а мать Поля — всего несколько сотен и, конечно, снова была недовольна. Ей так хотелось быть хоть в чем-нибудь первой, но никак не удавалось, даже в рисунках для рекламы.

Утром в свой день рождения мать Поля спустилась к завтраку. Мальчик не сводил с нее глаз, пока она просматривала почту. Он знал, как выглядит письмо адвоката. Мать читала это письмо, и лицо ее каменело. А затем приняло холодное, решительное выражение. Она спрятала письмо под остальные письма и ни словом о нем не обмолвилась.

— Мама, у тебя сегодня в почте не было ничего приятного? — спросил Поль.

— Ничего стоящего, — холодно, рассеянно ответила мать.

И, не прибавив ни слова, уехала в город.

А днем появился дядя Оскар. Он рассказал, что его сестра долго беседовала с адвокатом — выясняла, нельзя ли получить все пять тысяч сразу, ей надо расплатиться с долгами.

— Как же нам быть, дядя? — спросил Поль.

— Как ты решишь, так и будет, сынок.

— Пусть берет все! Мы еще раздобудем, — решил мальчик.

— Что, малыш, лучше одна птичка в руках, чем две в кустах?

— Я обязательно угадаю на «общенациональных», или «линкольнширских», или на «дерби». Обязательно угадаю, хотя бы на одних,— заверил Поль.

Итак, дядя Оскар подписал бумаги, и мать Поля получила все пять тысяч фунтов. И тут произошло нечто удивительное. Голоса в доме словно обезумели, хор лягушек в весенний вечер, да и только. Разумеется, в доме появилась новая мебель, а к Полю стали ходить учителя. И будущей осенью он действительно поступал в Итон, школу, которую кончал его отец. Зимой в доме всегда были цветы, и расцвела та роскошь, к которой была приучена мать Поля. И все же из-за веток мимозы и цветов миндаля, из-за груды переливающихся диванных подушек голоса в доме заливались и вопили: «Нужны деньги! Нужны деньги! Теперь, те-е-перь нужно еще больше денег! Еще больше! Еще больше!»

Поль приходил в ужас. Он изучал в это время с домашними учителями латынь и греческий. Но самые напряженные часы он проводил теперь с Бассетом. Прошли общенациональные скачки, Поль не был «уверен» и проиграл сто фунтов. Близилось лето, он мучительно ждал «Линкольна». Но и на «Линкольне» он не был «уверен» и проиграл пятьдесят фунтов. Мальчик бродил отрешенный, взор его блуждал, казалось, в нем вот-вот что-то взорвется.

— Брось! Не стоит так волноваться!— уговаривал его Оскар.

Но мальчик, похоже, и не слышал, что говорил ему дядя.

— Я должен угадать на «дерби»! Я должен угадать на «дерби»!— твердил Поль, и его огромные синие глаза светились безумным блеском.

Мать заметила, что с мальчиком творится что-то неладное.

— Тебе надо поехать к морю. К чему эти ожидания? Лучше поехать к морю. Да, пожалуй, так будет лучше,— сказала она, озабоченно глядя на сына и чувствуя непривычную тяжесть на сердце.

Мальчик устремил на нее блуждающий взгляд.

— Я никак не могу уехать до начала «дерби», мама! — вскричал он. — Никак не могу.

— Но почему? — Когда она кому-либо возражала, голос ее был тверд. — Почему? Ты же сможешь приехать на «дерби» с дядей Оскаром, если все дело в этом. Нет никакой нужды ждать здесь. И к тому же ты, по-моему, слишком много думаешь о скачках. Это дурной знак. В моей семье многие были игроками, когда ты вырастешь, поймешь, сколько это нам принесло несчастья. Ты уж мне поверь. И если ты не пообещаешь мне быть благоразумным — поехать к морю и забыть о скачках, придется просить дядю Оскара не говорить с тобой больше о них и рассчитать Бассета. Ты же комок нервов!

— Я сделаю все, что захочешь, мама, только не отсылай меня отсюда до конца «дерби».

— Откуда не отсылать? Из нашего дома?

— Да, — ответил Поль, не отводя взгляда.

— Но почему, странный ты мальчик, откуда вдруг такая привязанность к этому дому? Вот уж не думала, что ты его любишь.

Поль молча, пристально смотрел на мать. У него была тайна тайн, которую он не поверял даже Бассету и дяде Оскару.

Мать постояла в грустном раздумье, потом сказала:

— Что ж, раз не хочешь, можешь не ехать к морю до конца «дерби». Но обещай не доводить себя до нервного расстройства, обещай, что не будешь так много думать о скачках и всяких там результатах, как ты их называешь.

— Нет, — задумчиво откликнулся мальчик. — Я не буду о них много думать. Ты не волнуйся. Я бы не стал на твоём месте волноваться, мама.

— Интересно, что бы мы стали делать, — сказала мать, — будь ты на моем месте, а я — на твоём.

— Но тебе не надо волноваться, мама, поверь мне, — повторил мальчик.

— Как я хотела бы поверить в это! — сказала она устало.

— Это так, поверь. Я хочу сказать, ты должна поверить, что не надо волноваться.

— Должна? Что ж, посмотрим.

Тайной тайн Поля был его деревянный конь, тот, у которого не было клички. С тех пор, как мальчик вышел из-под опеки няни и гувернантки, он перенес коня наверх в свою комнату.

— Право, ты слишком большой для коня-качалки!— увещевала Поля мать.

— Понимаешь, мама, пока у меня нет настоящего коня, пусть будет хоть какой-нибудь ненастоящий,— схитрил мальчик.

— Он тебе нужен для компании?— рассмеялась мать.

— Да! Он очень хороший, и мне всегда с ним весело.

И вот этот конь с облупившимися боками застыл горделиво в спальне Поля.

До начала «дерби» остались считанные дни, и мальчик становился все возбужденней. Он едва держался на ногах, взгляд его блуждал, он почти не слышал, когда к нему обращались. А его мать то и дело охватывали необъяснимые приступы тревоги. По временам тревога становилась почти нестерпимой. Женщине хотелось броситься к сыну, убедить его, что ему ничто не угрожает.

За два дня до «дерби» мать была на званом вечере в городе, и там ее вдруг снова охватила тревога за сына, ее первенца; сердце сжалось, и она едва могла говорить. Она попыталась бороться с этим сильным, неодолимым чувством, потому что верила в здравый смысл. Но это оказалось выше ее сил. Ей уже было не до танцев, и она спустилась вниз позвонить домой. Гувернантка была безмерно удивлена и встревожена ночным звонком.

— Мисс Уилмот, с детьми все в порядке?

— Разумеется.

— А Поль? Как он?

— Когда ложился спать, все было прекрасно. Подняться посмотреть?

— Нет!— сказала мать Поля решительно.— Не надо! Не надо его беспокоить. Все в порядке. Идите ложитесь. Мы скоро вернемся.

Ей не хотелось нарушать уединение сына.

— Хорошо,— ответила гувернантка.

Около часа ночи родители Поля подъехали к дому. В доме царила тишина. Мать Поля прошла к себе в комнату и сбросила белую меховую накидку. В тот вечер она велела служанке не дожидаться ее. Она слышала, как муж внизу смешивает виски с содовой.

Волнение ее нарастало; крадучись она поднялась наверх к комнате сына. Бесшумно прошла по коридору. Какой-то слабый звук. Что это?

Она застыла возле двери и прислушалась. Станный, резкий, но негромкий звук. Сердце ее замерло. Неумолчный, настойчивый шум.словно от сильных прерывистых движений. Что это? Господи, что это? Она должна знать. Она узнает этот звук. Такой знакомый...

Но что же это? Она не могла понять, что это. А звук повторялся и повторялся, как наваждение.

Холодея от волнения и страха, мать осторожно повернула ручку двери. В комнате было темно. Только возле окна что-то вздымалось и опускалось. Она застыла в ужасе и изумлении.

А потом резко включила свет и увидела: сын в своей зеленой пижаме сидел на коне-качалке и бешено раскачивался. Резкий свет осветил мальчика, погоняющего деревянного коня, и в проеме двери — его мать, светловолосую, в бледно-зеленом прозрачном платье.

— Поль!— воскликнула она.— Что ты делаешь?

— Это Малабар!— Голос мальчика звучал непривычно сильно.— Это Малабар!

На мгновенье Поль остановился, устремив на мать дикий, бессмысленный взор. И тут же с грохотом упал на пол, а она, вдруг мучительно ощутив себя матерью, бросилась к нему.

Но мальчик уже потерял сознание и долго потом лежал в забытьи. Он метался и говорил, говорил, а мать, окаменевшая, сидела подле него.

— Малабар! Это Малабар! Бассет, Бассет, я знаю! Это Малабар!

Так кричал ребенок и пытался подняться и снова пришпорить того, кто вдохновлял его на ясновидение.

— Что значит Малабар?— с холодеющим сердцем спросила мать.

— Не знаю,— отозвался отец, лицо его словно окаменело.

— Что такое Малабар?— спросила она своего брата Оскара.

— Это лошадь, она участвует в «дерби».

И вопреки своей воле, Оскар рассказал обо всем Бассету и сам поставил тысячу фунтов на Малабара, при ставке четырнадцать к одному.

Третий день болезни стал самым важным: ждали перемен. А мальчик все метался и метался. Он не спал, но и не приходил в сознание; глаза его сияли, словно два синих кристалла. Мать сидела рядом и чувствовала, что сердце ее и в самом деле превращается в камень.

Вечером не пришел дядя Оскар, зато прислал записку Бассет: он просил разрешения зайти только на минуту, только на одну минуту. Такое непрошеное вмешательство вызвало поначалу у матери Поля гнев, но, поразмыслив, она согласилась. Мальчику не становилось лучше. Может, Бассету удастся вывести его из забытья.

Садовник, приземистый парень с темными усиками и колкими темными глазками, на цыпочках вошел в комнату; дотронувшись до воображаемой кепки, поклонился матери Поля и боязливо двинулся к кровати, не сводя блестящих маленьких глаз с умирающего ребенка.

— Мастер Поль!— зашептал он.— Мастер Поль! Малабар пришел первым, наша взяла, чистая победа. Я сделал, как вы мне сказали. Вы выиграли больше семидесяти тысяч фунтов, так оно и есть, теперь у вас больше восьмидесяти тысяч. Малабар пришел первым, мастер Поль.

— Малабар! Малабар! Мама, я же говорил Малабар, правда? Я же говорил? Как ты думаешь, мама, я везучий? Я ведь знал про Малабара, правда? Больше восьмидесяти

тысяч фунтов! Я ведь знал, верно, я ведь знал? Малабар пришел первым, наша взяла. Если мне удастся обрести уверенность, я говорю тебе, Бассет, и тогда ты можешь ставить сколько угодно. Бассет, ты поставил на все свои деньги?

— Я поставил тысячу, мастер Поль.

— Я раньше не говорил тебе, мама: если я скачу на коне и добираюсь туда, я совершенно уверен... совершенно! Мама, я тебе уже говорил? Я везучий!

— Нет, не говорил,— отозвалась мать.

Ночью мальчик умер.

Он уже был мертв, а в ушах матери звучал голос брата:

— Бог мой, Эстер, на твое счастье и несчастье нашего бедного мальчугана, у тебя теперь целых восемьдесят тысяч. Бедный наш мальчик, бедный наш мальчик, может, это и к лучшему, что он ушел из жизни, которая вынуждает ребенка скакать на деревянной лошадке, чтобы угадать победителя.

Дэвид Герберт Лоуренс

Заметки

В пространных анналах английской литературы едва ли много найдется эпизодов, столь удивительных, столь интересных и столь сложных, как жизнь и творчество Дэвида Герберта Лоуренса.

Тридцать лет прошло со времени его смерти*, а споры по-прежнему продолжают, несмотря на тот очевидный факт, что Лоуренса больше читают и шире переводят, чем любого другого английского писателя двадцатого века. Помню, когда я опубликовал первую обстоятельную биографию Лоуренса, эпиграфом к ней стояли слова Свифта: «Истинный гений приходит в мир, и сразу можно судить о его появлении по тому, как глупцы ополчаются против него».

Лоуренс не имел ничего, кроме таланта. Он был рабочим, сыном шахтера и обладал характерной для трудового человека зоркостью, от которой не ускользают лживость и глупость буржуазии. Ему была также свойственна безрассудно благородная привычка открыто выражать свое презрение. Таким образом, в «общественном» мнении о Лоуренсе неприязнь, которую всякая посредственность имеет обыкновение питать к таланту, сплеталась с желчной классовой ненавистью, «бессильной злобой высшего класса к представителем низшего», как верно сказал об этом Дэвид Гарнет**.

Особенный гнев Лоуренс вызывал у тех, кто считал себя жертвой его сатиры. Иные буржуа с непомерным тщеслави-

* Очерк написан в 50-е годы, публикуется с сокращениями.

** Д. Гарнет — потомственный литератор, принадлежал к семье Гарнетов, сыгравших заметную роль в английской литературе XX века, на русский язык переведены его романы «Женщина-лисица» (1922) и «Человек в зоопарке» (1924).

ем считали, будто они — истинные джентльмены, а Лоуренс — плебей.

Я припоминаю такого рода злобствующие нападки потому, что они во многом способствовали созданию легенды о мрачном, завистливом, неуживчивом, язвительном Лоуренсе-святоше, который, обладая будто бы всеми этими качествами, призывал к половой распущенности, превознося ее до небес. В этой легенде нет места остроумному, смешливому, разговорчивому, вдохновенному Лоуренсу с его страстной тягой к жизни и исключительной способностью дарить свое жизненное каждому, кто сталкивался с ним. «Все, к чему только не прикасался он,— вспоминает его жена,— обретало красоту первозданного бытия».

Иствуд, где родился Д. Г. Лоуренс, находится неподалеку от тех мест, где некогда простирался Шервудский лес. Здесь же рядом — Ньюстедское аббатство, дом лорда Байрона, великого поэта, который вынужден был покинуть родину, гонимый пуританской злобой. По соседству с Ньюстедом, однако ближе к Иствуду стоит Энслей, дом, где жила Мэри Чэворт — юношеская любовь Байрона. И в силу странного совпадения в пределах тех же владений в маленькой деревушке был домик Джесси Чэмберс — первой любви Лоуренса. Но во времена Лоуренса Иствуд не отличался ничем романтическим.

Отец писателя Артур Джон Лоуренс был совершенно необразованным, однако приятным на вид шахтером, старшим в своем забое. Он был, кроме того, отличным танцором и редким рассказчиком. Он любил свой труд, любил цветы и животных. Однако отличался чрезмерной склонностью к кутежам, имел пристрастие к крепкому пиву, не считал нужным ничем себя сдерживать и был набожен не более, чем требовали того законы его среды. Он изъяснялся на местном жаргоне, «благородного языка» не знал и, пожалуй, даже знать не хотел.

В Ноттингеме этот шахтер встретился с Лидией Бердсолл. Большие противоположности друг другу трудно себе представить. Она происходила из обедневшей буржуазной семьи,

в которой жили предания о прошлых фамильных достоинствах. Дэвид был четвертым ребенком в семье. Он появился на свет 11 сентября 1885 года. От рождения это был болезненный, повышенно восприимчивый мальчик, отличавшийся вместе с тем исключительной веселостью и способностью заражать ею окружающих. Жители Иствуда помнят его совсем младенцем в коляске и помнят, как мать его была убеждена, что сын ее не проживет и трех месяцев. В двухнедельном возрасте он едва не умер от бронхита.

С ранних лет Лоуренс страдал слабой грудной клеткой, был расположен к туберкулезу, который в те времена свирепствовал в шахтерских поселках.

Значительным, если не самым значительным событием для Лоуренса в пору его юности было, несомненно, знакомство с семьей Чэмберсов и несчастная любовь к Джесси Чэмберс. Мистер Чэмберс был фермером и жил вместе с семьей в своем хозяйстве, носившем странное название Хэггс*. Ферма Хэггс находилась как раз на границе поместья Энслей, где Байрон так несчастливо расстался с Мэри Чэворт.

С пятнадцати и примерно до двадцати лет Лоуренс постоянно бывал у Чэмберсов, делил с семьей ее обеды и ужины, помогал по дому, работал в поле вместе с мистером Чэмберсом и его сыновьями и часто проводил время с Джесси. Они болтали обо всем на свете, вместе читали, иногда предметом их разговора становились серьезные вещи. Лоуренс помогал Джесси готовить школьные уроки. За несколько месяцев до смерти Лоуренс писал Дэвиду Чэмберсу с острова Порт-Кросс: «Многое забываю, но Хэггс, дорогое мне, никогда. *Son tempi passati, cari miei! Quanto cari non saprete mai!*** — я не могу выразить по-английски, как много для меня все это значило и как это по-прежнему волнует меня. Потому что, где бы я ни был, я все тот же Берт, который

* Хэггс — вероятно, происходит от «хеджес» — «изгородь» и означает отгороженное место в лесу. (*Примечание Р. Олдингтона.*)

** Ушедшие времена, дорогие мои! И не знаешь, до чего вы дороги! (итал.).

с радостью стремится в Хэггс».

Печататься Лоуренс начал с легкой руки Джесси Чэмберс. Прежде чем покинуть Иствуд и отправиться в Кройдон, пригород Лондона, чтобы работать там учителем, Лоуренс послал некоторые свои литературные опыты одному лондонскому журналисту. Тот даже не потрудился прочесть присланное, и все это в нетронутом виде было отправлено обратным адресом его женой. Лоуренс был настолько подавлен небрежением, что дал себе зарок никогда не делать попыток печататься. Однако Джесси, которая глубоко верила в его способности, отправила его ранние стихи и один рассказ Форду Мэдоксу Хюфферу*, первому редактору «Английского обозрения». После некоторого промедления — рукописи были посланы в июне, ответ пришел в августе — Хюффер написал Лоуренсу осторожное письмо, где говорилось, что у автора есть талант и что его просят зайти. В результате в ноябре того же года (1909) Хюффер опубликовал в «Английском обозрении» пять стихотворений Лоуренса.

В декабре 1909 года Лоуренс по рекомендации Хюффера представил издателю Хейнеману рукопись «Белого павлина». После долгих колебаний Хейнеман принял роман, однако напечатан он был сначала в Нью-Йорке, а затем с тех же матриц в Лондоне. Книга имела скромный успех и вышла через некоторое время вторым изданием. Она вызвала всего один-два благожелательных отзыва, и в дальнейшем Лоуренсу пришлось ждать еще десять лет, прежде чем этот роман был переиздан.

«Белый павлин» полон воспоминаний юности. Экземпляр романа издатель направил матери Лоуренса. Сохранилась

* Ф. М. Хюффер (1873—1939), взявший псевдоним Форд Мэдокс Форд, оказал многим начинающим, в том числе Хемингуэю и самому Олдингтону, поддержку. О том, как был «открыт» Лоуренс, Форд Мэдокс Форд рассказал в книге воспоминаний. Однажды вечером он сидел в редакции «Английского обозрения», усталый после целого дня чтения новых рукописей. Он решил посмотреть еще один рассказ и, прочитав несколько первых строк, отложил рукопись в корзинку с надписью «Принять». «Только прирожденный писатель умеет вот так, с помощью немногих слов, создать картину» — было мгновенное впечатление. Рассказ принадлежал Лоуренсу.

фотография, на которой она, сидя в кресле, укутавшись в платок, рассматривает книгу сына. Если Лоуренс ожидал одобрения матери, то он глубоко ошибался. Возможно, она была слишком близка к смерти*, а вероятнее всего, ее пуританизм не в силах был принять книгу, которая теперь выглядит столь невинной, а тогда казалась «новаторской» и «дерзкой» даже тем, кто привык самих себя считать «новаторами». Лоуренс, со своей стороны, полагал, что мать не отвергла его книги потому, что была убеждена в полной неспособности столь малозначительной персоны, какой ей представлялся сын, создать нечто достойное внимания.

В январе 1912 года Лоуренс с начала и до конца переписал некогда им набросанный роман «Нарушитель», и, по его собственному мнению, книга значительно улучшилась.

«Нарушитель» не пользуется вниманием у исследователей творчества Лоуренса. Он не дает достаточно богатых возможностей для модной ныне биографической манеры толкования, в которой педантизм и догматика сочетаются с лихостью американской журналистики. Между тем один из лучших знатоков Лоуренса также считает стиль этого романа «тягучим и скучным». Мне это представляется глубоко неверным. Книга написана легко, почти весело, в ней есть ощущение радости, охватившей человека, который выдержал смертельную болезнь и возвращается к жизни.

Эта книга, мне кажется, во многом предвосхищает «Любовника леди Чэтерлей». Только «Нарушитель» — произведение гораздо более юное, целомудренное и поэтическое, в нем нет горечи, надлома, нет дидактической сексуальной проповеди, в нем бьется и живет присущее Лоуренсу чувство красоты и плотской страсти.

Лоуренс, как и многие другие из его поколения, мечтал путешествовать и повидать мир. Его особенно привлекала Германия, отчасти потому, что у него имелись там родствен-

* К этому времени у Лидии Лоуренс была неожиданно обнаружена злокачественная опухоль. Болезнь быстро прогрессировала, и в 1910 году мать Лоуренса скончалась. Писатель трагически переживал ее смерть.

ники по матери, отчасти потому, что в 1912 году Германия была à la mode* среди британцев, и, наконец, в силу искреннего интереса к немецкой культуре. Лоуренс полагал с чрезмерным оптимизмом, пожалуй, что ему удастся, пользуясь дипломом и опытом учителя, получить место преподавателя в небольшом немецком университете. За советом и поддержкой Лоуренс обратился к Эрнесту Уикли, ноттингемскому профессору.

Именно к профессору Уикли следовало обратиться в Ноттингеме с подобным делом. Во-первых, он учился в Германии, во-вторых, поддерживал отношения с немецким ученым миром и, в-третьих, был женат на очаровательной немецкой женщине Фриде фон Рихтхофен, которая к 1912 году была красивой молодой матроной с тремя детьми.

Лоуренс и Фрида, как известно, полюбили друг друга и бежали в Мец, где отец Фриды праздновал свой юбилей, как кадровый офицер. Их и без того неблагоприятная идиллия в Меце была окончательно нарушена после того, как Лоуренса и Фриду арестовали по подозрению в шпионаже. Они бродили неподалеку от войскового расположения и наткнулись на караул. Особое подозрение у часовых вызвал Лоуренс. Они приняли его за переодетого английского офицера. Два года спустя после этого события я впервые увидел Лоуренса, и в свою очередь мне показалось, будто он напоминает чем-то британского солдата.

Пользуясь влиянием отца, Фрида добилась снятия ареста. Лоуренсу на время пришлось одному покинуть Мец. Он уехал в Геннеф-на-Рейне к родственникам матери. Ожидая поезда при пересадке на маленькой станции по дороге в Геннеф, Лоуренс написал стихи, которые означали его разрыв с прошлым — прощай, Иствуд, прощай, прах покойной матери, прощай, Джесси, учительство, литературная сутолока враждующих группировок! Он шел навстречу новому, которое начиналось с блужданий и бедности.

Наиболее значительным событием этого периода было завершение «Сыновей и любовников», третьего после «Бело-

* в моде (франц.).

го павлина» и «Нарушителя» романа Лоуренса, которым была определена его репутация как писателя. Жизнеспособность, значительность этого романа определяются загадочной, живой, своеобразной личностью писателя, которая наполняет собой всю книгу и владеет нашим воображением даже в большей степени, чем та трагическая история, которую стремится поведать нам автор. В самом деле, должно быть нечто от «бессмертного гения» в таланте писателя, который, взяв обстановку столь обыденную, какая окружала его в Иствуде, характеры, лишённые блеска, каковыми были члены его собственного семейства и семейства из Хэггса, наконец, эпизоды весьма незначительные, сделал из всего этого повествование, мастерское по своей живости и увлекательности.

В апреле — сентябре 1913 года в Баварии, куда Лоуренс переехал с Фридой из Италии, он начал работать над романами «Радуга» и «Пропавшая девушка». Затем они переехали в Англию. К этому времени роман «Сыновья и любовники», хотя он и не пользовался особым спросом и не вызвал особенно восхищенных отзывов, принес тем не менее Лоуренсу некоторую известность в среде, которую в Англии принято по таинственным причинам называть «читающей публикой». Мы можем судить об этом по тем знакомствам, которые Лоуренс за время этого приезда успел завязать на своей пуританской родине, несмотря на скандал, произведенный его историей с Фридой. Лоуренс познакомился с Эдуардом Маршем, секретарем У. Черчилля. Он сошелся с Джоном Мидлтоном Маррэем и его женой Кэтрин Мэнсфилд*. Лоуренс приобрел знакомых даже в лице Герберта и Синтии Асквит, сына и невестки тогдашнего премьер-министра. «Лоуренс определенно начал входить в моду», — вспоминает Дж. М. Маррэй. И в самом деле, подумайте, что значило для сына шахтера в ту эпоху социального высокомерия оказать-

* Дж. М. Маррэй (1889—1957) — критик, в 1931 году выпустил книгу о Д. Г. Лоуренсе «Сын женщины»; К. Мэнсфилд (1888—1923) — писательница-новеллистка, стремилась продолжать традиции Диккенса, увлекалась Чеховым. Рассказы Мэнсфилд переводились на русский язык.

ся на дружеской ноге с ближайшей родней премьер-министра. И все же дальнейший творческий и жизненный путь Лоуренса был весьма тяжелым; ему — как и многим другим английским писателям! — пришлось обречь себя на добровольное изгнание. Кичливая посредственность, педанты и собственные заблуждения принесли Лоуренсу много зла.

Зиму 1913 года было решено провести в Италии. Фрида уехала первой, чтобы посетить своих родителей, а Лоуренс намеревался отправиться пешком — через Швейцарию. Встретиться они договорились в Милане. Свое путешествие Лоуренс описал в двух очерках — «Итальянцы-изгнанники» и «Обратный путь».

Важная сторона содержания этих очерков заключается в отчаянном отрицании индустриализма.

«Жизнь заключается ныне в том, — пишет Лоуренс, — чтобы закабалить себя на каторжной работе, прокладывая дороги, копать в шахтах или копать, трудиться на железных дорогах, заниматься бесцельным, бессмысленным трудом. Самая настоящая кабала — без цели, разве лишь затем, чтобы заработать. Итальянские матросы гнут спину целыми днями, и так всю жизнь они заняты выполнением тяжелого скотского труда. И это мореплаватели, прославленные на весь мир... Будто все социальные устои рушатся, и человек погрязает в собственном ничтожестве... Дороги, железнодорожные пути прокладываются, шахты, копи разрабатываются, но весь уклад жизни, уклад социальный, медленно разрушается и гибнет, гниет, являя собой устрашающее зрелище. Кажется, что мы так и останемся, опутанные сетью дорог и железнодорожных путей, окруженные заводами, и хаос поглотит все это...»

«Радуга», пожалуй, самый длинный и, уж конечно, наиболее масштабный из романов Лоуренса. Стоил он ему бесконечных тревог и занял много времени. Начал он его, кажется, питая намерения куда более смутные, чем у него обыкновенно возникали при работе над книгой. Лоуренс никогда не строил план произведения заранее и не стремился облечь его в искусственную «форму», подобно Генри Джеймсу и

его высокомерным подражателям, которые вместе с ним пытались будто бы следовать в этом Флоберу. Лоуренс работал, в значительно большей степени следуя интуиции и мгновенному порыву. Для начала ему было достаточно наметить тему, характеры, которые развивались по мере того, как он писал, и по мере того, как оживала вся книга, обретая органичную для себя форму, куда более определенную, чем ее искусственно созданный суррогат. Однако Лоуренс упустил, вероятно, из виду тот факт, что его первые и наиболее успешные романы были целиком построены на автобиографическом материале. Видимо, жанр автобиографического романа был наиболее подходящим для столь самоуглубленной и восприимчивой личности, какой был Лоуренс. Автобиографический элемент есть и в «Радуге», однако в этом романе заметно также стремление создать нечто более объемное и эпическое, чем до тех пор удавалось Лоуренсу.

Временами Лоуренсом овладевало желание бросить все, стать бродягой, освободиться от тягот цивилизации и отправиться пешком в дальний путь. Он пустился было бродяжничать, однако вскоре вернулся, и они двинулись в Англию. Фрида — поездом, а Лоуренс — пешком. Это была его последняя дальняя прогулка через Альпы — Швейцарию — во Францию. Они встретились в Лондоне, где и состоялось их официальное бракосочетание.

Июль 1914 года был сложным моментом для бракосочетания англичанина и немки. Однако Лоуренс, как и большая часть английской «интеллигенции», не мог поверить, будто война, о которой столько говорили и к которой так долго готовились, вот-вот начнется.

Вечером 30 июля 1914 года я впервые встретился с Лоуренсом на небольшом обеде поэтов, который давала на Пиккадилли Эми Лоуэлл*. Я сидел в стороне ото всех, у открытого окна, и смотрел, как на Пиккадилли газетчики вывешивают плакаты, используя для этого газетные столбы. В зале шли разговоры, я заметил появившийся плакат: «Британская армия мобилизуется». А мы все еще верили, что это «для ма-

* Эми Лоуэлл (1874—1925) — американская поэтесса.

невров», «ради предосторожности». Европейская война, особенно между Англией и Германией, казалась «невероятной». Во всяком случае, Лоуренс настолько не придавал значения дурным известиям, что 31 июля 1914 года отправился в путешествие по Уэстморленду в сопровождении трех друзей.

Не успели они достаточно пройти, как неподалеку от Бэрроу-ин-Фернесс их застала весть о начале мировой трагедии. В Бэрроу они видели ополченцев, отправляющихся на фронт, и женщин, которые кричали вслед солдатам: «Убивайте их».

В декабре 1914 года вышел сборник рассказов Лоуренса, названный в соответствии с обстановкой «Прусский офицер». Книга успеха не имела, впрочем, в то время ничто, кроме военной пропаганды, успехом не пользовалось. А сборник Лоуренса от этого был далек. Два лучших рассказа в нем касались военной темы и были написаны на материале личных впечатлений Лоуренса от знакомства с прусской женщиной в пору его пребывания в Меце.

Фанатические приверженцы Лоуренса пытались утверждать, будто Лоуренс душой страдал за все страдающее человечество. На самом деле он, как довольно порядочное число людей в те времена, отлично понимал губительную бессмысленность всей авантюры, преступную корыстность политиков, военных промышленников, бизнесменов, которым все это было выгодно, и потому не хотел стать их покорной жертвой. Впрочем, когда Лоуренса наконец призвали, он тут же был освобожден от воинской службы по состоянию здоровья.

Вскоре произошла личная катастрофа Лоуренса. В июле 1914 года он подписал договор с издателем Мэтьюеном на публикацию романа «Радуга». По этому договору роман был еще раз переписан и достиг размера 185 000 слов. В сентябре 1915 года роман вышел в свет. Появились первые и особенно враждебные рецензии на «Радугу». Затем Лоуренс был привлечен к суду за непристойность. Обвинение это было основано на отрывке в несколько строк, которые теперь читатель, пожалуй, и не заметит в романе объемом в пятьсот

страниц. Кроме того, в последнем варианте «Радуги» появились антивоенные выпады, что, правда, на суде не фигурировало, но могло дать повод информационной службе подозревать Лоуренса в намерении «нанести ущерб мобилизации». По решению суда Лоуренс был признан непотребным автором, книга его изъята, что привело писателя к полной нищете.

Были сделаны некоторые попытки изменить приговор. Лоуренсу советовали подать встречный иск журналистам за ложное обвинение, но что мог поделаться писатель, лишенный денежных средств...

Тревоги военного времени и процесс по поводу «Радуги» тяжело отразились на здоровье Лоуренса. Однако, несмотря ни на что, он продолжал работать. Он завершил «Сумерки в Италии», отделявал старые стихи, составившие сборник «Влюбленные», начал статью о Мелвилле* и другие исследования по американской литературе.

Закон о всеобщей воинской повинности был принят парламентом и в 1916 году вошел в действие. Лоуренсу вместе с людьми его возраста было предписано явиться на освидетельствование. Чувство фатальной неизбежности овладело им, он писал одному из своих друзей: «Я пойду и приму свой жребий. Если я должен стать солдатом, я стану им — та-ра-та-та-та!» Но, разумеется, он из-за своих легких не был пропущен. И это было совсем неплохо, ибо война заставила бы его послушать нечто более серьезное, чем бодрый треск барабанов.

Лоуренса призывали в армию не однажды, но всякий раз он оказывался непригодным по здоровью. Его болезненное состояние усугубила развившаяся у него мания преследования.

В то время считалось, что центр немецкого шпионажа находится в Англии, причем информация из него в Германию поступает будто бы через Соединенные Штаты. В обстановке военной истерии Лоуренс неизбежно должен был оказать-

* Герман Мелвилл (1819—1891) — крупный американский романист, автор «Моби Дика».

ся под подозрением и, насколько я знаю, не освобожден от него до сих пор. К тому же Лоуренс имел тогда неосторожность добиваться заграничного паспорта в Америку.

За Лоуренсом велась слежка, у него производили обыски, несколько раз его вызывали в полицию. Наконец, ему было вручено официальное предписание покинуть местожительство в Бекшире. 11 сентября 1918 года — в день своего рождения — Лоуренс был снова призван в армию и на этот раз оказался мобилизован. Однако он не успел попасть на фронт, так как в ноябре был заключен мир.

Понадобился еще довольно значительный срок, прежде чем Лоуренс и Фрида получили разрешение на выезд и вынужденное внутреннее отчуждение Лоуренс смог сменить на добровольное изгнание.

По случайному совпадению я оказался среди тех, кто встречал Лоуренса в Лондоне накануне его окончательного отъезда. Помню, я провожал его взглядом по мере того, как он спускался в метро, и мной овладело странное чувство, что я его вижу в последний раз.

Представление о том, как глубоко переживал Лоуренс свой разрыв с родиной, дает отрывок из романа «Пропавшая девушка», в котором описывается отъезд героини: «Там далеко-далеко за сиянием солнца скрывалась Англия. Англия — за чертою вод, заметная лишь пепельно-серыми, мертво-серыми скалами и блестками снега на горных склонах. Англия, словно длинное, пепельно-серое надгробие, медленно опускалась куда-то вниз. Солнечный свет будто бы избегал ее, и она оставалась померкшей, длинной, пепельно-серой, мертвой, с блестками снега, как складками савана. То была Англия!»

Итак, он был проклят, изгнан и доведен до голодной бедности не только злобой врагов, но и самим государством, силу которого эти враги использовали против Лоуренса.

В 1920—1922 годах появились некоторые признаки улучшения материального благосостояния Лоуренса. В его записной книжке этого периода сохранились пометки о договор-

ных обязательствах и уплате гонорара. Правда, средства эти шли Лоуренсу не от изданий в Англии, а в континентальной Европе и в Америке.

Его роман «Влюбленные женщины» вызвал негодующее волнение. Один низкопробный журналист, скрываясь под псевдонимом Джон Буль, писал, что этот роман представляет собой «мерзкое изображение греховной любви, способной вредно повлиять на молодежь... Полиции следует запретить эту книгу». В довершение всего Лоуренс получил письмо от своего делового агента, который извещал его о том, что роман «Жезл Аарона» не может быть издан, поскольку он «полон личных выпадов».

1922—1925 годы, за исключением короткого визита в Англию зимой 1923/24 года, Лоуренс провел в Мексике. Путешествие по Мексике дало ему материал для одного из важнейших его романов, «Пернатый змей», и книги путевых очерков «Утро Мексики».

Между тем Фриде надоела их бродячая и неустроенная жизнь, и она настояла на переезде в Нью-Йорк. Вскоре она уехала в Англию — навестить детей. Лоуренс, предоставленный сам себе, наведывался в Буффало, в Чикаго и, наконец, в Лос-Анджелес к своим друзьям — датским художникам. Потом они с одним из художников вернулись в Мексику.

22 ноября 1923 года Лоуренс сел на пароход, отправлявшийся из Веракруса в Англию. Четыре года прошло с тех пор, как Лоуренс, стоя на палубе, с тоской и страхом глядел на остающиеся позади серые скалы Англии. Теперь он возвращался:

«Четыре года тому назад я смотрел, как пропадает мертвенно-серый берег Кента. И вот четыре года позади, и передо мной у самого горизонта догорает на западе закат, как кровавая искорка в глазу огромного тускнеющего неба, слабый отблеск — привет мне. То показалась Англия».

В 1928 году мы были вместе с Лоуренсом на Порт-Кроссе — одном из островов у Лазурного берега Франции. Мне довелось наблюдать, как обрушивались на Лоуренса потоки

грязи, невежества, глупости и грубостей после издания «Любовника леди Чэтерлей». Я и сам уже знал к тому времени, что значит возбудить неприязнь английских журналистов и интеллектуалов. Но злоба, которая охватила их на этот раз, даже меня повергла в изумление. Это стоило Лоуренсу нового обострения туберкулеза, что, безусловно, обрадовало этих тартюфов.

Два месяца, проведенные с Лоуренсом на Порт-Кроссе, дали мне ясно понять, как тяжела его болезнь. Я спал в комнате рядом с ним, и каждую ночь меня будил его ужасный кашель. Тем не менее он продолжал писать. Он работал над сборником статей и над книгой стихов, которая была издана посмертно. В 1929 году Лоуренс отправился в Париж, там его настиг настолько сильный приступ болезни, что повсеместно распространились слухи о его близкой смерти.

Лоуренс вернулся в Италию, где жил вместе с Олдосом Хаксли и его женой, потом на короткое время был отвезен в Баден-Баден, где один врач лечил его от глухоты, а другой — от чахотки. Близость конца стала очевидна самому Лоуренсу. Он писал в это время стихи, среди которых выделяется стихотворение «Баварские генцианы»:

Дайте цветок мне, пусть будет факелом...

В Баварии наступила зима, и Лоуренса перевезли на юг, в Бандоль. Окна в комнате Лоуренса не завешивались портьерами на ночь: его мучила бессонница, и он мог смотреть на звезды.

Из Англии приехал доктор и советовал Фриде срочно везти его в санаторий в Ванс, на юг Франции. Там ему стало так плохо, что Фрида перевезла его на отдельную виллу. Вечером второго марта 1930 года Лоуренс скончался.

Содержание

- 5 *Николай Пальцев. Феникс из Ноттингема*
- 16 *Запах хризантем. Перевод Ю. Жуковой*
- 38 *Крестины. Перевод Ю. Жуковой*
- 49 *Тень в розовом саду. Перевод М. Кореневой*
- 65 *Прусский офицер. Перевод М. Кореневой*
- 91 *Англия, моя Англия...* Перевод М. Кан*
- 130 *Самсон и Далила. Перевод М. Кан*
- 149 *Дочь лошаdnика. Перевод М. Кан*
- 169 *Солнце. Перевод М. Кореневой*
- 190 *Рубеж. Перевод И. Багрова*
- 211 *Вещи. Перевод М. Кан*
- 223 *Победитель на деревянной лошаdке.
Перевод Е. Шварц*
- 241 *Ричард Олдингтон. Дэвид Герберт Лоуренс. Заметки.
Перевод Д. Урнова*

Лоуренс Д. Г.

Л81 Дочь лошаdnика: Рассказы/Пер. с англ.
Сост. и предисл. Николая Пальцева.— М.:
Известия, 1985.—256 с. (Библиотека жур-
нала «Иностранная литература»)

Публикация рассказов известного английского писателя, признанного мастера художественной прозы Дэвида Герберта Лоуренса приурочена к 100-летию со дня его рождения. Его проза отразила основные идейно-социальные конфликты и духовную атмосферу первой половины XX века.

Л $\frac{4703000000-038}{074(02)-85}$ 79—85

ББК 84. 4Вл.
И (Англ)

ДЭВИД ГЕРБЕРТ ЛОУРЕНС
ДОЧЬ ЛОШАДНИКА

Ответственный за выпуск *В. Перехватов*

Редактор *А. Николаевская*

Художественный редактор *С. Мухин*

Технический редактор *Г. Голосовская*

Корректор *Л. Шмелева*

ИБ № 936

Сдано в набор 25.04.84. Подписано в печать 12.09.84.
Формат 70×100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура
«Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,4. Уч.-изд. л.
12,54. Тираж 50 000 экз. Зак. № 429. Цена 1 р. 40 к.

Издательство «Известия» Советов народных депутатов
СССР». 103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при
Государственном комитете СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли. 143200, Можайск,
ул. Мира, 93.



Дэвид Герберт Лоуренс

(1885—1930) —

видный английский писатель, автор десяти романов, нескольких повестей, более полусотни рассказов, ряда стихотворных циклов, пьес, книг путевых заметок, эссе.

Четыре романа — "Сыновья и любовники" (1913), "Радуга" (1915), "Влюбленные женщины" (1920), "Любовник леди Чэтерлей" (1928) — принесли ему мировую известность. Смелость творческого поиска,

демократичность и антибуржуазность писателя проявились прежде всего в рассказах этого признанного мастера "малого жанра". Ярче всего новаторство Лоуренса-новеллиста сказалось в цикле его "ноттингемских новелл", рисующих жизнь шахтеров.

Все углублявшийся со временем социальный пессимизм привел писателя к проповеди "естественного человека", к поэтизации частных, интимных сторон жизни. Но как бы то ни было, страстное неприятие ханжеской викторианской морали и бездуховности капиталистического общества, тонкий психологизм делают творческое наследие этого сложного писателя одним из ярких явлений современной западноевропейской литературы.

Лучшие рассказы писателя включены в настоящий сборник, приуроченный к столетию со дня рождения.